НЁМАН

5/2018
МАЙ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Сергей ТРАХИМЁНОК. Бог любит Одессу. *Повесть* 3
Владимир КАРИЗНА. Вновь надеждой повеет. *Стихи.*
Перевод с белорусского А. Тявловского 54
Максим ИВАНОВ. Призрак фуги. *Повесть* 58
Ганад ЧАРКАЗЯН. Чаргави. *Стихи.* Перевод с курдского В. Липневича 78
Эльвира ВАШКЕВИЧ. Четыре жизни Бореньки Элентоха. *Рассказ* 82
Роза СТАНКЕВИЧ. Признание. *Стихи* 93

«Всемирная литература» в «Нёмане»

Джо АЛЕКС. В бесшумном полете гналась я за ним. *Повесть.*
Перевод с польского Р. Святополк-Мирского при участии В. Кукуни 97
Елена ЧИЖЕВСКАЯ. Добро и зло: абстракция или реальность? 144

Документы. Записки. Воспоминания

«Последние дни все Вы мне снитесь…» *Письма Миколы Сурначева к семье с фронта.* Вступительная статья и подготовка к публикации В. Жибуля 161

Культурный мир

Надежда УСОВА. Забытый классик. *Воспоминания о Е. Е. Моисеенко* 169
Сергей МОИСЕЕНКО. О Евсее Моисеенко — моем дяде... 173

Литературное обозрение

С точки зрения рецензента
Александр БЕРЕЗКО. Возвращение к забытым традициям литературоведения 183
Глеб ВАНКЕВИЧ. Юмор и сатира: талантливо 187

Напоследок

Память
Светлана КРЯЖЕВА. На пути к подвигу 189

Авторы номера 192

Учредители: Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Заместитель директора – главный редактор
Алексей Иванович ЧЕРОТА

Адрес редакции

Юридический адрес: 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.
e-mail: info@zvyazda.minsk.by

Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Тел.: главного редактора — 325-85-25, заместителя главного редактора — 319-79-85;
отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 304-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Подписные индексы:

*74968 — индивидуальный; 00235 — индивидуальный льготный для учителей;
749682 — ведомственный; 00728 — ведомственный льготный.*

Свидетельство о государственной регистрации средства массовой информации
№ 11 от 10.12.2012, выданное Министерством информации Республики Беларусь

Издатель
Редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Директор – главный редактор
Павел Яковлевич СУХОРУКОВ

Технический редактор, компьютерная верстка: *С. И. Староверова*
Компьютерный набор: *Е. Г. Кахновская*
Стильредактор: *Н. А. Пархимович*

Подписано в печать 15.05.2018. Формат $70 \times 108^{1}/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,80. Уч.-изд. л. 16,80. Тираж 1340. Заказ

Республиканское унитарное предприятие «СтройМедиаПроект». ЛП 02330/71 от 23.01.2014,
ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, Минск.

К сведению авторов

*Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.*

16 +

Сергей ТРАХИМЁНОК

Бог любит Одессу

Повесть

Олесь

Олесь вышел из здания по улице Владимирская, 33 и пошел направо в сторону Софии.

Отец стоял на углу и с интересом рассматривал серый камень, которым было облицовано здание и его колонны.

— Ты как первый раз все это видишь, — сказал Олесь после приветствия.

— В некотором смысле да. Когда я тут работал, было не до этого, — ответил отец.

Он был в коричневом костюме, брюках с манжетами и почему-то белой летней шляпе.

— Поговорим здесь? — спросил Олесь.

— Нет, пойдем прогуляемся, — ответил отец.

Олесь хотел перейти улицу, но отец его остановил.

— Мы не пойдем к Софии, мы пойдем к Богдану[1].

— А я думал, ты поведешь меня к скверу, где сделал маме предложение.

Отец промолчал. Олесь понял, что переборщил с остротой.

Они перешли улицу, постояли немного у памятника Богдану Хмельницкому. Затем двинулись к Михайловскому собору.

Отец молчал, молчал и Олесь.

Миновали собор и вышли на Владимирскую горку.

— Хотел показать тебе Киев, — сказал отец, — но за деревьями его плохо видно.

— Он хорошо виден отсюда только поздней осенью, когда листва окончательно опадет.

— Да, да, — оживился отец, — ты и это помнишь?

— Нет, — ответил Олесь, — просто я тут сейчас чаще бываю, чем ты. Ты любил водить меня в детстве в беседку.

— Вот туда мы и идем, посидим, поговорим.

Они подошли к беседке.

— Закрой глаза, — сказал отец.

— Зачем?

— Потом скажу.

Олесь закрыл глаза.

— Сколько там ступенек?

— Пять, — немного подумав, ответил Олесь.

---

[1] Памятник Богдану Хмельницкому.

— Шесть, — произнес отец, — раньше ты всегда их считал.

— Па, это было давно, когда я учился считать и считал все подряд.

— Да, но я думал, что ты помнишь. У тебя должна быть фотографическая память.

— Это байки о том, что у разведчиков фотографическая память. На самом деле все иначе. Человеческая память избирательна, она запоминает то, что нужно для выживания или когда ты разумом вобьешь в нее то, что считаешь нужным вбить. У нас был препод, он мог мгновенно актуализировать память всех в аудитории простым обещанием принять завтра зачет по той теме, которую мы сегодня разбираем на семинаре. И у всех память мгновенно улучшалась…

Они уселись на лавку.

— Догадываешься, зачем я тебя сюда привел?

— Да.

— А не хочешь спросить меня, почему секретная миссия, что тебе поручается, стала мне известна?

— Нет.

— Почему?

— Потому, что ты сам мне об этом скажешь.

В это время к беседке подошла группа иностранцев, переводчица рассказывала им о Крещении Руси, время от времени указывая вниз на видневшуюся среди листвы спину Владимира Крестителя.

— Китайцы, — констатировал отец.

— Тебе лучше знать, я, в отличие от тебя, не могу отличить китайца от корейца или японца.

— Нам не дадут поговорить, — сказал отец и поднялся со скамейки, — пойдем.

Они прошли вдоль перил Владимирской горки и стали спускаться вниз к бывшему музею Ленина.

— Ты знаешь, как называлось это здание в советские времена? — спросил отец.

— Да, киевским тортом.

— Правильно.

— Отец, перестань меня экзаменовать. Я уже понимаю, что ты знаешь о моей командировке, хотя она законспирирована, как мне сказали начальники, на три раза.

Участок Крещатика до улицы Учительской они прошли молча. Свернули на Банковую.

— Мы идем в резиденцию? — спросил Олесь.

— Нет, к домику с химерами.

— Почему к нему?

— Сейчас поймешь.

— Да я и так все понимаю, ты обеспокоен моей командировкой, но не придавай ей большого значения. Это командировка даже не за кордон, а в пределах Украины. Так стоит ли водить меня по местам твоей боевой славы, чтобы съездить на неделю-полторы в некий город и вернуться.

— Самое поразительное, что я отставник, не имеющий возможности входить в здание СБУ, знаю, в чем твое задание и куда ты направляешься. Тебя это не удивляет?

— Не бери в голову, это задание учебное.

— Э, не скажи, конечно, и в советские времена такие штучки делали, но

о них далее бюро обкома партии информация не выходила. Причем в любом случае, и если удавалось провести операцию, и если не удавалось. Хотя такое случалось довольно редко, все же в тайной деятельности одиночки работают эффективнее, чем система.

— Что же изменилось на сегодня?

— Многое. Если раньше те, кто выигрывал, получали благодарности, а те, кто проигрывал, их просто не получали, то теперь игры идут реальные. На носу выборы. И акция, которую ты считаешь учебной, может быть использована одной стороной против другой. И я не хотел бы, чтобы тебе свернули там шею, несмотря на твои разряды по каратэ.

— Ты полагаешь…

— Именно так, я полагаю, что тебя уже сдали с потрохами и в Одессе ждут, чтобы взять под белые ручки, а если будешь артачиться, еще и уроют.

— Каким образом?

— Дадут обрезком трубы по загривку, жить будешь, но со службой придется расстаться.

— И ты не даешь мне шанса?

Но отец словно не слышал его иронии.

— Но еще хуже, если ты сделаешь это и не сможешь быстро уйти. Ребята могут и похоронить тебя. Причем не своими руками, а руками одесских жуков.

— Батя, ты преувеличиваешь.

— Нет, скорее всего, преуменьшаю, поскольку там игра идет на большие деньги.

— Но я-то к ним никакого отношения не имею.

— Это ты так считаешь.

— Хорошо, пусть будет так. И что же мне делать?

— Выполнять поставленную задачу, но с определенным процентом корректировки. Во-первых, ты поедешь в Одессу не из Киева, а из другого места.

— Какого?

— Такого даже я не должен буду знать. Лучше всего, чтобы ты въехал на Украину, тьфу, в Украину, из-за границы. Во-вторых, установочные данные, под которыми ты выступаешь, конечно, уже засвечены, я подготовил тебе паспорт на другую фамилию. И наконец, объект для диверсии выберешь сам.

— Отец, мне намекают…

— Сын, полагаю, что у твоего руководства хватило ума не ориентировать тебя на Черноморское морское пароходство, которого уже полтора десятка лет не существует.

— Нет, отец, объект диверсии мне уже определен.

— Плохо, очень плохо.

— Почему?

— Потому, что наши конспирологические заморочки сводятся этим на нет.

— Да, но у меня будет некая фора, если я приму твою тактику. Плюс ты дал мне другие документы… Так? Тогда нужно …

— Что нужно, ты сейчас поймешь сам. Посмотри вверх, что ты видишь?

— Химер…

— Химера, это то, что сочетает в себе несочетаемое. С одной стороны, все качества этих тварей есть у других тварей божьих, но у химер они гипертрофированы и…

— Отец, я недавно слушал лекции одного неоязычника. Так он говорил о древнем письменном языке, из которого появились и латиница, и кириллица.

— А какая связь между химерами и древним языком?

— Самая прямая. Графика первой буквы «А» обозначает строение мира, его дуализм. Дуализм всех без исключения сущностей бытия. Мир—война, день—ночь, белое—черное. А вот деньги не имеют признаков объективной сущности. У денег нет положительной Сущности, они являются сами по себе, сами в себе, значит, это есть порождение человеческого сознания, и не более того. А порождение человеческого сознания — химера. Ибо то, что не имеет противоположной Сущности, отсутствует во всей Вселенной.

— Где ты нахватался этой мистики?

— Отец, если мистика поможет выжить, в том числе твоему сыну, почему ты против? Скажи лучше, как мама?

— Она, как и ты, впала в мистику, еще в институте она начинала писать стихи, а теперь это к ней вернулось.

Отец вытащил из кармана несколько свернутых вчетверо листов бумаги, развернул и прочитал:

О здравствуй, грусть! Тебя ли в чистом поле
Над рожью легкий ветер расплескал,
И розовый закат разлил румянца вволю
И тихо в ля миноре зазвучал.

Вечерняя звезда блеснет слезою светлой…
Под старою сосною меж хлебов
Я жду тебя в свиданья час заветный
В сплетенном для тебя венке из васильков.

— Как тебе? — спросил отец.

— Па, я не силен в поэзии, но, по-моему, она влюбилась.

— Вот и у меня такое ощущение. Возьми их…

Отец снова сложил листы вчетверо и протянул Олесю.

Олесь сунул бумаги в карман брюк.

— К ней не зайдешь? — спросил отец.

— Нет, чем торжественнее прощание, тем больше шансов провалиться.

— Может, ты и прав. Напоследок тебе небольшой подарок, сим-карта. В критический момент дай мне знать, где ты находишься, или просто вставь ее и инициируй. Я буду тебе позванивать. Постоянно. И когда дозвонюсь, пойму, что у тебя какие-то проблемы. Иначе бы ты ее не вставил в телефон. И еще одно. В Одессе недалеко от моря живет мой друг.

— Он тоже бывший сотрудник?

— Нет. Ранее он работал в пединституте. Сейчас на пенсии, собирает материал для книги. Больше слушай его, чем сам говори. Он старик словоохотливый, и хотя не наш коллега, но во время войны был ястребком, то есть ловил диверсантов. Возможно, тебе что-нибудь из его разговоров и пригодится.

Топаз

Борис не был здесь четверть века, с того времени как пытался поступить в Одесский электротехнический институт связи. В то время институт находился на улице Красной Армии. Если вуз сохранился, то улица, наверное, уже переименована. Институт носил имя создателя радио Попова. Это он помнил

хорошо, во-первых, потому, что другого такого в России не было, а во-вторых, такую же фамилию имел его друг и товарищ по факту тех неудачных экзаменов Витя, разумеется, Попов.

Какое-то время он переписывался с Витей, но с распадом СССР друг перестал отвечать на письма.

Борис вышел из вагона последним, постоял на перроне и направился на привокзальную площадь.

Было жарко, хотя чему удивляться, ведь это Одесса.

Борис набрал номер, который ему дали в Новосибирске, но абонент молчал.

«Ни фига себе, — подумал он, — а что делать?»

— Начальник, — обратился к нему один из таксистов, — такси к вашим услугам.

«Может, съездить на улицу Красной Армии?» — подумал Борис, но тут же отогнал эту мысль. Ностальгия всегда связана с приятными воспоминаниями, а неприятные отторгаются памятью.

— Улица Тенистая, — сказал Борис водителю такси, усевшись на заднее сиденье машины.

Машина сорвалась с места и тут же резко затормозила: по пешеходному переходу на красный свет неторопливо шла собака.

Водитель чертыхнулся, а потом добавил в сердцах:

— В Одессе даже собаки не соблюдают ПДД.

Борис никак не отреагировал на эту реплику, понимая, что находится в Одессе, а в ней даже таксисты играют роль одесситов.

— В Одессе впервые? — спросил водитель.

— Нет, — ответил Борис.

Водитель замолчал, а Борис стал вспоминать свой последний день в Одессе.

В тот день он успел завалить последний экзамен, забрать документы и обнаружить в своем кармане последние пятьдесят копеек.

Взять билет на эту сумму до Киева, где у него жила тетка, которая, собственно говоря, и рекомендовала ему поступать в ОЭИ, не было и речи. И он пошел болтаться по городу. На Дерибасовской зашел в пивную под названием «Гамбринус».

Он помнил дубовые столы и лавки без спинок, весьма специфический запах, поскольку под некоторыми столами был желобок, по которому текла вода, и можно было тут же отлить в него то, что ты только что влил в себя.

Ассортимент пива был небольшим: «Жигулевское» и «Рижское».

Он взял кружку и устроился на свободное место.

Первый же глоток освежил его и опьянил. Он вспомнил, что весь день ничего не ел. И зверский аппетит проснулся в молодом организме.

— Не занято? — спросил его мужик средних лет, от которого пахло водкой.

— Свободно.

Мужик выпил кружку пива и вдруг предложил:

— А давай я тебя угощу.

— А давай, — ответил он, удивляясь, как легко согласился на добровольное угощение.

Выпили по кружке, и мужик, уже не спрашивая Бориса, заказал две порции пельменей.

Съели пельмени.

Куда-то далеко ушли от Бориса и проваленный экзамен, и отсутствие денег на обратную дорогу.

А мужик долго смотрел на Бориса, а потом вдруг сказал:

— Слушай. Не убивай меня.

— Хорошо, — так же спокойно ответил он, — не буду.

— Точно не будешь?

— Точно.

— Тогда пойдем ко мне, — сказал мужик, — я тут недалеко живу, у меня жена и ребенок. Жена варит уху. Ты любишь уху?

— Люблю.

— Тогда идем.

И они пошли к нему в дом.

По дороге Борис спросил:

— Ты кто?

— Моряк, — ответил мужик, — я из рейса вернулся, сразу домой, пока жена готовит уху, решил в пивную заглянуть и тебя встретил. Ты рад?

— Рад, — искренне ответил Борис.

— Я тоже, — сказал мужик, и как показалось Борису, тоже совершенно искренне.

— Как тебя зовут? — спросил Борис.

— Анатолий, но для тебя просто Толя.

Они пришли в старый одесский двор, где у моряка Толи была маленькая квартира, в которой его трепетно ждала маленькая рыжеволосая женщина и ребенок трех лет, которого звали по-взрослому Бронислав.

Ребенок крепко стоял на ногах и ходил по комнате, посматривая вверх на незнакомых ему мужчин, и время от времени обнимал за ногу мать, произнося одну и ту же фразу:

— Моя мама…

— Валя, — сказал женщине Анатолий, — это мой друг Борис, он не одессит, но великодушно согласился… не трогать меня.

Женщина в ответ на данную реплику даже бровью не повела, а тут же бросилась усаживать Бориса за стол, который уже был сервирован на трех человек. Видимо, заскоки Толика ей были привычны, а может, это была какая-то непонятная игра взрослых людей, один из которых вернулся после многомесячного плавания, а другой несказанно ему рад, готов простить все его неадекватности.

Они выпили еще и стали хлебать уху.

Самое удивительное, что Борис не чувствовал опьянения, то ли выпил он не так много, то ли закуска была мощная.

— Еще по одной? — спросил Толик.

Борис кивнул головой.

Выпили еще по стопке, и вдруг Бориса прорвало.

Он вдруг заплакал и уткнулся лбом в плечо Толика.

Толик и Валентина бросились его успокаивать и делали это так искренне, так доброжелательно, что даже маленький Бронислав подошел к Борису и обнял его ноги.

Отплакав, Борис рассказа Толику о том, как он попал в Одессу, как сдавал экзамены, как провалил последний, как остался без копейки денег и не может уехать в Киев.

И тогда Толян, его жена и даже трехлетний Бронислав засуетились, засобирались, схватили Бориса за руку и повели на вокзал.

Они шли по улице: впереди Валентина с Брониславом на руках, а сзади Борис, которого держал под руку Анатолий.

Огромные очереди у касс привели Бориса в уныние. Но случилось чудо, Толик, минуя всех, подошел к кассе. Он предъявил какой-то документ и взял билет до Киева.

— Что он им показал? — спросил Борис Валентину.

— Паспорт моряка, — ответила та.

— И подействовало?

— Как видишь, — ответила Валентина.

Толик, который, отходя от кассы, успел обняться с доброй дюжиной одесситов и рассказать, что у его друга Бори проблемы и их нужно решить, наконец, добрался до Бориса и Валентины. А потом он жену, сына, Бориса и эту добрую дюжину знакомых и случайных людей повел в привокзальный ресторан.

Увидев Толика, две официантки сдвинули три стола, за которые, нет, не сели, а стали все приглашенные Толиком, а сам Толик произнес напыщенную речь о том, что его друг Боря попал в беду. Но в беду он попал в Одессе, а в Одессе друзей в беде не бросают.

Нужно сказать правду, после речи Толика все приглашенные, выпив по стопке и бросив в рот несколько ломтиков сыра или колбасы, покинули ресторанный зал, а Валентина и Толик, уже сидя за отдельным столом, продолжали потчевать гостя Одессы Бориса.

Объявили посадку на поезд, а троица с каким-то усердием и почти неистовством все напихивала Бориса одесскими яствами. Металлический голос диктора объявил, что до отправления остается пять минут, но ничего не изменилось.

И только когда объявили отправление, они вдруг рванулись на перрон, толкая впереди себя Бориса...

— Начальник, начальник, — водитель дергал Бориса за рукав, — приехали, с тебя сто сорок гривен.

Борис позвонил в дверь квартиры Попова. Открыл сам хозяин.

— Виктор Попов? — спросил Борис на всякий случай.

— Привет, — ответил тот, кто открыл дверь, как будто они расстались неделю назад, — а я тебя заждался.

Хозяин взял из рук гостя чемодан, сунул ему огромное полотенце и отправил принимать душ, что было нелишне, поскольку и на улице, и в комнате было душно.

После душа гостя пригласили за стол, где его ждали несколько видов салата и мясная нарезка.

— Это для тебя, — сказал хозяин, — я, брат, стал вегетарианцем.

— Ты, брат, совсем не изменился, — сказал Борис, — только волосы стали седыми.

— Ну, пока не седыми, а расцветки соль-с-перцем, седина у меня еще впереди, так, во всяком случае, говорит моя жена.

— Ты женат?

— А тебя это удивляет?

— В какой-то степени. Я, брат, после геофизфака все время в экспедициях, и женщины как-то ко мне не прилипали.

— Совсем, что ли?

— Были, конечно, но так, чтобы дело до ЗАГСа дошло, нет.

— Геофизикам мало платили?

— Почему ты так решил?

— Потому что женщинам плевать на то, в экспедиции ты или дома, в плавании или нет, важно, чтобы зарплату вовремя отдавал.

— Да? А я об этом как-то не думал.

— Потому ты и не женат.

— Да хватит о женах, тем более что их не было. Ты-то как?

— Да у меня, брат, все хорошо, на третьем курсе женился я на своей одногруппнице. Потом мы закончили институт связи и ушли мастерами в разные организации, но она сделала карьеру, а я так и остался в рядовых инженерах. У нее в подчинении сейчас триста рабочих…

— Понятно…

— А к нам ты отдыхать? Если отдыхать, то нужно куда-нибудь подальше, хотя бы в Ильичевск.

— Мне нужно быть здесь. Хочу сделать Одессе деловое предложение, предложить то, отчего невозможно отказаться.

— Говоришь как мафиози.

— Правильно, я как раз и ищу мафиози.

— Чем я могу помочь?

— Сведи меня с одним из одесских авторитетов.

— Нет. Ты уедешь, а мне в Одессе жить.

— Вот те раз, ты думаешь, что я могу тебя каким-то образом подставить?

— Ничего я не думаю, просто в дела, которые не понимаю, я не лезу.

— Ну тогда сведи меня с теми, кто мог бы свести.

— И этого делать не буду по той же причине.

— Хорошо, тогда просто расскажи мне, кто тут у вас самый крутой?

— Таких в Одессе нет. Пахан Одессы существует в воображении экзальтированных подростков, да и то не одесситов.

— А как же песня «Пахан Одессы Еська-инвалид», помнишь, мы пели ее под гитару в общаге «Поповки»?

— Он существует только песнях.

— И все же, ну не может любое человеческое сообщество быть без пахана. Оно, как стадо баранов, должно иметь вожака.

— Ну конечно, должно, и наверное, имеет, но я этим заниматься не буду. А теперь давай-ка выпьем, потому что я, хоть и вегетарианец, но не трезвенник. Идет?

— Как скажешь.

Хозяин поднял свой бокал так, чтобы была видна игра лучей солнца на стекле и вино окрасилось в более яркий цвет.

— Почти рубин, — сказал он.

Борис вздрогнул, но нашелся и произнес:

— Предпочитаю изумруды.

— Суум квиквэ.

— Что, что?

— «Каждому свое» на латыни.

— А ты знаешь латынь?

— Пришлось учить, брат, я по второму образованию юрист. И работаю юрисконсультом у своей жены.

— Теперь понятно, почему ты не хочешь…

— Прекрасно, если понятно… Давай по второй и больше никогда к этому возвращаться не будем. Помни, Одесса шуток не любит и ошибок не прощает.

Выпили по второй, а потом и по третьей.

— А зачем тебе наши авторитеты? — спросил Попов.

— Хочу взять их в долю.

— А вот это напрасно, они входят в долю только со своими, все остальные для них, как и двести лет назад, фраера. Ты для них не больше, чем экзотический зверек, с которого можно содрать шкурку. Что за предложение ты собираешься им сделать?

— Приобрести партию драгоценных камней.

— Шутник, а остановишься у меня?

— Нет, не хочу подвергать тебя опасности, я забронировал номер в отеле «Дерибас»… Закажи мне такси с твоего телефона…

— Надеюсь, камни не с тобой?

— Ну что ты, дорогой Витя, они у меня в надежном месте… в камере хранения на одесском вокзале.

— Шутник.

Олесь

Олесь появился на квартире Виктора Сильвестровича вечером, проведя весь день на пляже.

Хозяин встретил его радушно, пояснил, что живет один. Правда, время от времени его навещает дочь, чтобы убрать квартиру. Тут же указал Олесю место, где тот будет спать, повел в ванную, показал, как пользоваться душем, и оставил гостя в ванной одного, выдав два полотенца.

— Синее для тела, а серое — для ног, — пояснил он.

Олесь принял душ и хотел было растереться полотенцами, но понял, что не сможет. Южное солнце сделало свое дело. Особенно чувствителен был ожог на плечах.

Олесь вышел из ванной в шортах.

Хозяин квартиры, увидев красноту, запричитал. Открыл холодильник, достал баночку сметаны и стал мазать плечи Олеся. Сразу стало легче…

Окончив манипуляции со сметаной, Виктор Сильвестрович усадил Олеся за стол, на котором стояли две большие чашки с салатами из крабовых палочек и иных морепродуктов и салат из овощей. На двух тарелках лежало по огромному, с детскую лопатку, шницелю, посередине располагался штоф с компотом.

— У меня есть сухое, — сказал хозяин, — но я не пью, зарок дал: пока книгу не окончу, ни капли… А тебе нельзя: зудиться кожа будет после ожога.

Еду поглощали молча.

Олесь был голоден, а хозяин, видимо, не привык вести светские разговоры во время приема пищи.

Когда расправились со вторым, Виктор Сильвестрович сказал:

— Иди отдохни в другую комнату, а я посуду помою, и мы с тобой поговорим.

Олесь перешел в другую комнату, где на кушетке ему была расстелена постель. Но не улегся на нее, боясь испачкать простынь не впитавшейся в тело сметаной, а присел на краешек.

Виктор Сильвестрович появился спустя четверть часа. Он мгновенно оценил обстановку, чертыхнулся, вышел из комнаты и вернулся со старой простыней. Ловким движением обернул ее вокруг торса гостя и порекомендовал лечь.

Олесь растянулся на кушетке, а хозяин сел рядом на табурет. И только тут Олесь заметил в его руках папку.

— Вот ты, как мне сказал твой батька, борешься с диверсантами.

«Твою дивизию, — подумал Олесь, — вот это влип. А что если этот словоохотливый дед расскажет соседям о том, что к нему в гости…»

— Не переживай, — словно услышал его дед, — я об этом узнал не вчера, а год назад.

«Слава Богу, — подумал Олесь, — не придется шифроваться».

— Виктор Сильвестрович, — прервал его Олесь, — но здесь я на отдыхе, приехал позагорать, покидать удочку…

— Так ты рыбак? А где твоя удочка? Так не бывает, чтобы рыбак приехал на рыбалку и не привез с собой хотя бы пару своих удочек…

— Виктор Сильвестрович, ну забыл я дома удочки…

— Хорошо, забыл, а на какую рыбу собираешься рыбачить?

— На днестровскую.

— То есть, на пресноводную? А ты уже ловил пресноводных? На что они клюют?

Олесь наморщил лоб, словно пытался вспомнить.

— Виктор Сильвестрович, не знаю, на что она клюет, но непременно узнаю. Когда окажусь рядом с Днестром.

— Поздно будет, — сказал старик, — своей некомпетентностью ты вызовешь удивление, а если тебя будут искать, то подозрение.

— Ладно, сдаюсь, готов выслушать вас…

— Правильно, я тебя не буду долго мурыжить… В Днестре ловят сазана, карася, плотву, тарань, а также щуку и судака. Знаешь, чем первые три отличаются от последних двух? Последние хищники, а значит, диапазон средств, на которые их можно ловить, иной. Их можно ловить в том числе и на мясо первых. Но я предпочел бы, чтобы ты купил блесну. А карась, сазан и плотва предпочитают червя, опарыш и пареную кукурузу. В качестве прикормки используют все виды каш. Понял?

— Понял.

— Ну и лады, что думаешь делать завтра?

— Поеду куда-нибудь купить удочку, а потом на пляж… Или лучше это сделать на Привозе?

— Нет, Привоз теперь не тот. Его почти переделали в какие-то бутики.

Съезди на седьмой километр.

В семь ноль-ноль Виктор Сильвестрович разбудил Олеся.

— Подъем, боец, — сказал он, — сбегай искупайся, но до девяти вернись, а то снова сгоришь.

Олесь по привычке стал искать спортивный костюм.

Увидев это, старик сказал:

— Ты в Аркадии, шорты и майка, это все, что тебе нужно. Вот вторые ключи, сунь их в карман шортов. Придешь, завтрак на столе в кухне, что не съешь, помести в холодильник. До центра доберешься на трамвае, а там пересядешь на автобус 522 и доберешься до седьмого километра.

Олесь потянулся.

— На рынок в самую жару?

— Там необычный рынок, он больше похож на город, построенный из морских контейнеров. Когда грабили морское пароходство, эти контейнеры оказались никому не нужны. И их продавали по тысяче долларов за штуку. А потом из них и построили торговые ряды. Весьма удобно. Ставишь контейнер на контейнер, нижний служит магазином, а верхний складом. А если натянуть между ними брезент или, как говорят мои студенты, — тент, то в

самую большую жару там не только не жарко, но даже прохладно, поскольку брезент дает тень, а выстроенные рядами контейнеры усиливают сквознячок. Все, до вечера.

Олесь натянул шорты, взял в руки пакет с полотенцем и майкой и вышел на лестничную клетку. Дверь за ним захлопнулась. Он подождал немного, а потом вставил ключ в замочную скважину. Замок был старый и разболтанный, но открыть дверь удалось сразу.

В коридоре Олесь увидел удивленное лицо Виктора Сильвестровича.

— Проверка инструмента, — сказал Олесь и снова закрыл дверь.

Людей на пляже было еще немного. Он искупался, вышел из воды и улегся на полотенце. Искупался еще раз и пошел к своему жилищу. Дома он переоделся в спортивные брюки, майку, взял в руки барсетку с деньгами и вышел к трамвайной остановке.

Через полтора часа он оказался на седьмом километре.

Рынок был почти современным, и только инвалид, у входа певший «Раскинулось море широко», был фрагментом из фильма о послевоенных годах Одессы.

Очень хотелось пить, чему способствовало напоминание инвалида, хрипевшего вслед Олесю:

— Окончив кидать, он напился воды,
Воды опресненной, не чистой...

Пришлось взять газированной воды в литровой пластмассовой бутылке и тут же выдуть половину.

То ли от выпитой воды, то ли от сквозняка, но скоро он почувствовал себя хорошо и стал не торопясь исследовать улочки контейнерного города, присматриваясь и к продавцам, и к покупателям.

Уже через несколько минут на рынке он стал понимать рыночный одесский язык. Вот, стоит продавец-турок, подходит к нему женщина и, указывая пальцем на товар, спрашивает по-одесски мягко:

— Щё стоит?

— Семьдесят гривен, — отвечает продавец.

— А так, щёб купить?

— Шестьдесят…

Был будний день, и на рынке было свободно. Правда, в некоторых местах, между контейнерами располагались картонные и деревянные ящики, и это создавало проблемы, но в основном для продающих, а не покупающих.

Точку, в которой продавали телескопические удочки, он нашел быстро, а выбирал товар долго. Скорее, не выбирал, а слушал расхваливание товара продавцом… Информация, которую он получал, должна была вписаться в то, что на сленге разведки называется легендой…

Расплатившись, Олесь сунул сверток с удилищем под мышку и направился к выходу. Но остановился возле контейнера, где продавали униформы. Чего только там не было — от комбинезонов с надписью «Беспека», до вполне солидных брюк и курток, больше похожих на полицейское обмундирование в Штатах.

— Есть ваши размеры, — сказал продавец.

— Возможно, я загляну к вам на днях, — ответил на это Олесь, — как вас найти?

— По номеру, — ответил продавец и дал ему визитку.

Выйдя из контейнерного городка, он снова почувствовал дикую жару и завернул в вареничную. На счастье, там работал кондиционер.

Олесь расположился за дальним столиком, дождался официанта, заказал себе полторы порции вареников с картошкой и бокал холодного клюквенного морса. Людей было немного, и официант быстро выполнил заказ.

Прямо перед входом была огромная реклама: «Такси с мобильного 838».

Расправившись с варениками, Олесь потягивал холодный морс и смотрел на остановку 522-го автобуса. Интервал его движения был ровно четверть часа. За пять минут до прибытия очередного рейса он расплатился и вышел на улицу, став свидетелем сценки, которая могла произойти только в Одессе.

Автобус уже подошел к остановке, а некая дама не позволяла пройти к нему невысокому щуплому мужчине.

— Женщина, — заорал мужчина, — вы плывете, как пароход, за вами не пройти!

— Поговори мне, без зубов останешься, — почти ласково ответила дама.

— При чем тут мои зубы? — спросил мужчина.

— А при чем тут моя корма? — ответила дама.

Топаз

И во время учебы в НГУ, и после того как он окончил факультет геофизики, Борис любил работать в поле.

Однажды рабочим к нему в партию пришел немолодой уже зек. Фамилия его была Ачиков, звали Прошей, но все в партии знали, что Проша откликается на погоняло Чилиндра.

Чилиндра прилично играл в шахматы, и так как шахматистом в партии был только Борис, частенько сидел с ним за шахматной доской.

Но то ли играть молча ему было впадлу, то ли он хотел как-то выделиться из среды рабочих своей необычностью, во время игры он рассказывал Борису о жизни в зоне и на свободе.

Потом пути их разошлись, Чилиндра осел в Н-ске, каким-то образом выбил себе пенсию по состоянию здоровья. А Борис продолжал мотаться по Сибири, пока не грянула перестройка, не развалился Советский Союз, похоронив под своими обломками многие изыскательские проекты и оставив геологов и геофизиков без копейки денег.

Но за те несколько месяцев общения во время работы и шахматных партий Борис узнал об Анчикове и его жизни больше, чем о нем знали все опера колоний, где ему приходилось отбывать срок.

— Знаешь, как я приобрел свое погоняло? — говорил Чилиндра, расставляя фигуры на доске.

— Что приобрел?

— Погоняло.

— Кличку, что ли?

— Нет, — как неразумному дитяти, объяснял Ачиков, — клички имеют собаки, шныри, а уважающие себя люди имеют либо погоняло, либо псевдо. В детстве я путал ц и ч. И говорил не цилиндр, а чилиндр, и шпана мгновенно приклеила мне сие.

— И не обидно?

— Не-а. Погоняло — это как марка.

— Ну, какая это марка, был тут у нас в окрестностях Красноярска авторитет Тузик, какая это марка.

— Э, не скажи, — говорил Ачиков, пряча за спиной две шахматные фигуры, — в какой руке берешь?

— В правой.

— Играешь белыми, — продолжал он, — у воров мир стоит на других понятиях. И все, что в мире обычных людей ценится, там таковым не является. Вот ты, например, угол открываешь ключом…

— Что открываю? — спрашивал Борис, думая, какое начало ему разыграть.

— Угол, по-вашему чемодан, — а вор, который у тебя это закрутил, по-вашему, украл, обязан замки сорвать. Поэтому и погоняла у воров с позиций обычных людей смешные, но в этом и есть глубокий смысл, авторитетный вор не боится смешных, с позиций обычных людей, псевдо.

Чилиндра всю свою сознательную жизнь воровал, но не считал себя вором-профессионалом.

— Я не блатной, — говорил он, вкладывая в этот сленговый термин одному ему известное значение.

Он восхищал других рабочих партии тем, что почти наизусть знал Уголовный кодекс Российской Федерации. И семь раз был на экспертизе в Институте имени Сербского. Причем трижды его признавали вменяемым, а четыре раза невменяемым.

Как система самообучаемая, он просек то, что необходимо психиатрам, чтобы признать его невменяемым. Четвертый раз в Сербского он попал с большим шрамом на шее и рассуждениями, что видит будущее, о котором ему говорят двухметровые прозрачные личности. Попытка суицида плюс ясновидение убедили врачей в том, что перед ними психически больной человек.

В партиях Борис видел немало людей, отбывавших срок наказания, или тех, кто демонстративно относил себя, как говаривал Ачиков, к преступному миру. Почти все они были психопатами. А Чилиндра-Ачиков был на удивление уравновешенным человеком. Правда, иногда он «включал дурака», но это были внешние проявления, внутренне он всегда себя контролировал не хуже любого йога.

Но нормальный человек должен кого-то любить, а кого-то ненавидеть. Ачиков ненавидел паспортистов, людей, которые сделали его вором.

— Откинулся я первый раз, — говорил он Борису, переставляя фигуру на доске, — и решил с воровством завязать. Пришел прописываться. А дело было в Питере. А паспортист на меня посмотрел и говорит: ты еще на работу не устроился? Я отвечаю: нет.

— Так вот, когда устроишься, сразу ко мне или моему коллеге из района, где ты будешь работать. Понял?

Чего ж тут непонятного. Я на предприятия, а там мне говорят: а ты еще не прописался?

— Нет, — отвечаю.

— Ну, как только пропишешься, так сразу к нам, мы тебя на работу и возьмем.

Я снова к паспортисту, говорю: все заметано, берут меня на работу, прописывайте. А он мне: где документ, что тебя взяли? Дернулся я еще раз туда-сюда, вижу, разводят меня. Тогда я взял и купил специальный клей.

— Зачем?

— А ты хочешь узнать, зачем? Намазал я этим клеем себе лоб, приклеил справку об освобождении, горячим утюгом провел, чтобы крепко въелась, и стал гулять по Невскому.

— И чем это закончилось?

— Статьей за хулиганство, новым сроком. Но после этого я уже к паспортистам никогда не ходил.

Чилиндру Борис разыскал через справочное, значит, все же ходил Ачиков на поклон к нелюбимым паспортистам.

На удивление, Ачиков встретил его так, будто давно ждал.

— А, начальник, — произнес он, открыв дверь квартиры, — входи. Чем обязан?

— Дело есть на миллион долларов, — пошутил Борис.

— Заходи, поговорим, — ответил Ачиков, — серьезные дела на пороге не решаются и с порога не начинаются.

Ачиков проводил его на кухню и стал готовить чай.

Борис обратил внимание, что в квартире необычно чисто.

— Женился? — спросил он у хозяина квартиры.

— Приходит женщина, — уклончиво ответил тот, — тебе «настоящий» или «купец»?

— У тебя «купец» как «настоящий», если я помню.

— Ну, тут ты, начальник, не прав, какой бы крепкий ни был «купец», он всегда заваривается, а настоящий варится. Тут, как говорят в Одессе, две большие разницы.

— А ты когда-нибудь был в Одессе?

— Нет. А почему спросил?

— Потому что базар, как ты говорил ранее, пойдет за Одессу.

— Базар, говоришь, ну ладно.

— Значит, в Одессе ты не был, но сориентировать меня по Одессе можешь?

— Сориентировать могу, тут сложностей особых нет, люди, они всегда и везде люди, хучь в Н-ске, хучь в Одессе. Правда, как ты когда-то говорил, со своей спецификой.

— А ты помнишь, что я говорил?

— Ну ты же помнишь.

— Я другое дело, у меня хорошая память.

— Ну а мне все надо было помнить. Все в жизни могло пригодиться. Вот ты ко мне пришел не чаи распивать, так? Значит, я тебе пригодился, а отсюда я — человек нужный тебе, сокращенно — нужник. Как тебе мой юмор?

— Нормально, но где-то я это уже слышал.

— Да, разумеется, все эти афоризмы существуют не один десяток лет, просто одни их слышат впервые и восхищаются неожиданным поворотом мысли, а другие знают их давно и используют для того, чтобы произвести нужный эффект. Итак, что тебе нужно в этой Одессе?

Они закончили чайную «церемонию» и перешли в «зал», единственную в квартире комнату.

— Вот видишь, — сказал Ачиков, — все в жизни когда-нибудь может пригодиться. Я не буду корчить из себя законника или авторитета. Я не был ни тем, ни другим и только сейчас понимаю, что был исследователем того мира, о котором ты говоришь. Пришли другие времена, и тех отношений уже нет, хотя кое-что в качестве реликта осталось. Может, тебе и повезет, если будешь использовать то, о чем я тебе скажу.

— Но это резервный вариант, — возразил Борис, — на всякий случай.

— Случаи бывают всякие, — сыронизировал Ачиков, — и скорее всего, твой основной вариант там не прокатит.

— Почему?

— Кинуть лоха теперь в доблесть.

— А я лох?

— Да не только ты. Вот ты приехал туда с некими предложениями или предъявой и затеял базар с теми, кто там живет, кто принадлежит к какой-то кодле блатной или не блатной, не столь важно. За ними кодла, а за тобой никого. Возникает желание кинуть тебя, ведь это будет стоить недорого, да и отвечать потом не перед кем. Ты для них корова, которую они могут подоить. А если молоко кончится, прирезать…

— Но пока я даю молоко, меня буду беречь?

— Да, но никаких обязательств перед тобой у них нет. И слово они держат только с равными себе, всех остальных…

— Понял, кинуть не впадлу… И как мне вести себя с ними?

— С достоинством. Как ты вел себя в партии.

— Ну, в партии я был начальником.

— И здесь будь начальником, ты не просишь у них денег, ты деловой, который приехал с интересным предложением.

Ачиков немного подумал, а потом произнес:

— Тут я, пожалуй, загнул, у деловых, в отличие от блатных, другая философия, и ты к ней никакого отношения не имеешь, а это чувствуется. Ты должен быть самим собой, как бы тебе ни хотелось мимикрировать, чтобы проще решать твои задачи.

— Ты стал говорить, как профессор в вузе.

— Не поверишь, но я устроился вахтером в одном из корпусов НЭТИ.

— Ты пошел в вертухаи?

— Это не впадлу, если не служишь тому, кого охраняешь…

— Понял, понял, а устроился, например, чтобы узнать систему охраны…

— Да, или продолжить изучение среды… Так вот, почему ты не деловой? Типичный деловой — это цеховик семидесятых-восьмидесятых годов. Ему уже нужно было расширять не только производство, но и сбыт. И его уже охомутали бандиты.

— Ты хотел сказать — воры.

— Нет, в таких понятиях я никогда не ошибаюсь, воры того времени не связывались с цеховиками. Точнее, не принимали предложений пришлых мира того взять их под контроль. Тогда бандиты, а в них пошли и перековавшиеся воры, и спортсмены, и просто быки с улицы, взяли цеховиков под крыло.

— Ты мне ответь конкретно: почему я не смогу сойти за делового?

— Потому что ты не деловой.

— Поясни на примере, через абстракции я этого понять почему-то не могу.

— Пожалуйста, на примере. Помнишь, пришел в партию некий бык по кличке Коряга. Начал пальцы веером топырить, но ты его раскусил.

— Так он был понтач, это за версту было видно.

— Вот видишь, ты его раскусил, несмотря на то, что он был настоящий бык и от наколок синий.

Борис вспомним Корягу и порадовался, что к тому времени, как Коряга где-то в экспедиции навешал лапши на уши кадровикам и был принят на работу, он уже кое-что понимал в жизни и в людях. И оценивал последних не по внешним данным и тому, как они себя подают, а по тому внутреннему состоянию, устойчивости и уверенности, которые свидетельствуют об их месте в той или иной человеческой иерархии.

— Но я тебе расскажу случай еще более интересный, — сказал Ачиков. — Как-то еще в Краслаге пришел в зону вор, выдававший себя за законника. Его приняли, оказали уважение, но через неделю зарезали. Причем то, что он не мог быть авторитетом, блатные поняли с первого дня.

— Он вел себя не так, как они?

— Нет, он многое делал так, как они. Но он закрывал за собой двери, чего вор его уровня делать не должен.

— Надо же, на какой мелочи засыпался.

— Это не мелочь. Я все это тебе рассказывал для того, чтобы ты не вздумал там распальцовкой заниматься, обещать много и строить из себя делового. Ты тот, кто ты есть на самом деле. И в этом стойле ты непоколебим. Ты инженер-изобретатель, и не больше. Понял?

— Понял, чего уж тут не понять.

— Ну вот и все, я тут потормошу кое-кого, и через пару-тройку дней ты ко мне подходи, будем думать, с чем тебя отправить в Одессу. И главное, не тушуйся, везде есть люди, — произнес почти торжественно Чилиндра, вкладывая в слово «люди» только ему понятный смысл.

Олесь

Старший оперуполномоченный УСБУ в Одесской области капитан Старостенко третьи сутки безвылазно сидел в Беляевке. Неделю назад его вызвал начальник отдела и долго объяснял ему суть задачи.

Выходило, что там, в Киеве, их коллегам нечего делать. И они решили запустить в Беляевку диверсанта, который должен провести диверсию на очистительном комплексе, снабжавшем Одессу питьевой водой.

— Но в Беляевке целое отделение сотрудников, — возразил Старостенко.

— Им лучше этого не поручать, — сказал начальник, — их показная активность спугнет диверсанта.

— Но они лучше знают обстановку, у них свой актив.

— Поедешь туда заранее и сколотишь свой актив.

— А не перехлестнемся мы с местными?

— Не перехлестнемся, да и дело несложное. Там, в Киеве, одни пытаются показать, что мы здесь ничего не делаем, а вторые благоволят нам. Так вот вторые сообщили приметы диверсанта и его установочные данные. Дело чести при такой форе его взять или хотя бы не дать ему возможности провести «диверсию».

— А почему именно Беляевка?

— Там эта станция, по советской терминологии «объект, уязвимый в диверсионном отношении», если гипотетически отравить в ней воду, то отравится вся Одесса, а это шум на весь мир. Наши начальники полетят, политики приобретут капитал, а те, кто управляет так называемыми финансовыми потоками, потеряют возможность ими управлять. А это для них смерти подобно.

Старостенко был достаточно опытным опером, чтобы не понимать, что сам он, оказавшись на «чужой поляне», становится мишенью для своих коллег. Но приказ есть приказ…

— Да, — сказал начальник, — парню этому под тридцать, он каратист, родился в Киеве, учился в политехе, фамилию, имя, отчество узнаешь позже… Перед самым отъездом.

— Почему не сейчас?

— Конспирация, — ответил начальник.

Прежде чем уехать в Беляевку, Старостенко установил контакт с кассирами автобусной станции. Он понимал, что диверсант может приехать на такси, но прежде чем совершить диверсию, ему нужно изучить оперативную обстановку. Ничего не поделаешь, хотя Старостенко и пришел служить в органы в девяностые, у него и у предполагаемого диверсанта были еще общие учителя.

Кассиры заложили в память компьютеров фамилию, имя, отчество предполагаемого диверсанта, и Старостенко со спокойной совестью уехал из Одессы.

Раскинув свою небольшую сеть, Старостенко, как паук, стал следить за тем, не раздастся ли колокольчик, свидетельствующий о том, что некто, весьма похожий на диверсанта, в нее попал.

Сам он поселился на Маяках, раз в день выходил на рынок и пил кофе в кафе, что через дорогу от рынка.

Вот и сегодня он не спеша прошелся по торговым рядам, купил кусок соленого сала с прожилками мяса на вечер.

Внимательно, словно собирался покупать, постоял у связок соленой и вяленой рыбы.

Старостенко был истинным одесситом и не любил пресноводную рыбу. В ней много мелких костей. То ли дело все, что более пары килограммов и выловлено в море. К такой рыбе больше подходит название «мясо-рыбы», как у Хемингуэя в повести «Старик и море».

Обойдя рынок и перемигнувшись с двумя продавцами овощей, Старостенко направился к выходу. Там он немного постоял у тазов, в которых шевелились зеленые с коричневатым оттенком раки. Представил, как они краснеют, варясь в кипятке, и прошествовал в кафе, не преминув подмигнуть бабе Одарке, которая продавала неподалеку от входа на рынок шерстяные варежки и носки.

Заказывая кофе у барной стойки, он вопросительно посмотрел на бармена. Тот отрицательно покачал головой.

Усевшись с чашкой кофе за дальний столик, Старостенко стал смотреть в окно, но периферийным зрением изучал компанию местных полууголовников, которая в традициях девяностых почти все время проводила в кафе. Компания была одета так, как уже не одевались уважающие себя представители криминального сообщества. На каждом были спортивные брюки синего цвета и белые майки с короткими рукавами.

В этой компании на восемь человек всегда имелись две-три девицы, причем, если парни были одни и те же, то девицы — каждый день разные.

Время от времени кто-либо из компании обращал внимание на мужика, который уже третий день почти в одно и то же время заходит в кафе выпить кофе. Но ни у кого из них не появлялось желания проверить чужака на вшивость. Во-первых, потому, что мужик вел себя очень уверенно, а за таким всегда стоит тот, кто может создать проблемы окружающим. А кому нужны проблемы? Во-вторых, мужик был значительно старше местной шпаны, и следовательно, не был конкурентом.

Правда, сегодня компания вела себя более шумно, чем вчера. Наверное, выпили больше обычного.

— А че ты, — петушился один из них. Скорее всего, лидер, поскольку мог позволить себе говорить с остальными, выпятив вперед нижнюю челюсть, — а че ты…

— Я ниче, — отвечал ему «собеседник», — а ты че?

— Я-то ниче, а вот ты мне предъявы делаешь!

— Да не делаю я тебе предъяв…

Столь содержательный «базар» продолжался уже несколько минут, но уйти так просто было нельзя, — если компания почувствует, что создает кому-то душевный дискомфорт, она обратит внимание на него как на возможный объект травли. Здесь все как в животном мире. В качестве жертвы или объекта нападения выбирают не первого попавшегося или самого близкого, а того, кто больше других боится стаи.

Тот, который был лидером, всегда почему-то сидел спиной к выходу из кафе. Сегодня все было наоборот. Парень был крепок, широк в кости, его надбровные дуги создавали ему вид панчера[1]. По некой полубандитской моде он был брит, а на голове его было небольшое родимое пятно.

— Да хватит тебе, Горби, — вмешался в «разговор» парень, сидящий справа от лидера, — он и не думал тебе делать предъявы. Где ты, а где он?

Тот, кого назвали Горби, снизил агрессивность и сел на стул.

— А-а, — протянул он неопределенно, — наливай…

Пробыв в заведении четверть часа, Старостенко поднялся со стула, вышел из кафе и пешком направился на квартиру, предвкушая послеобеденный сон, вечернее купание и ужин, который он приготовит на чугунной сковороде из яиц с салом.

Самое удивительное было то, что Олесь появился на рынке в Маяках спустя полчаса после Старостенко.

Он, так же как и опер, походил по торговым рядам, посмотрел на шевелящихся раков, отклонил предложение их купить, но спросил у продавца:

— А где можно снять квартиру на несколько суток?

Продавец кивком головы показал на старушку, которая продавала вязаные носки.

— Баба Одарка, она все знает…

Баба Одарка действительно знала все, за десять гривен дала полный расклад свободных квартир и комнат, пояснив:

— Комната менее удобно, но более безопасно. А то у Вальки Спиридоненко клиент снял квартиру и уехал на рыбалку с ночевкой, а потом приезжает — ни вещей, ни денег.

Взяв у бабы Одарки три адреса, Олесь решил заглянуть в кафе.

Он зашел туда и понял, что сделал это зря. За одним из столов сидела пьяная компания, которая сразу обратила внимание на чужака. Олесю ничего не оставалось делать, как пройти к барной стойке и спросить облегченный вариант «Кэмэла».

Разумеется, такого не оказалось, и он спокойно покинул кафе, чувствуя на себе неприязненные взгляды мужской половины пьяной компании.

Дойдя до первого дома, значащегося в адресах, Олесь вошел в калитку. И тут же ему навстречу рванулся огромный ком шерсти, на шее которого был ошейник, а голова изрыгала хрипы и лай, от которых кровь стыла в жилах. На крыльцо вышла хозяйка и так рявкнула на пса, что тот, поджав хвост, поплелся в будку.

— Баба Одарка кланялась вам, — нашелся Олесь

— Проходи, — сказала хозяйка. — Комнату смотреть будешь?

— Буду, — ответил Олесь,

[1] Панчер — боксер-нокаутер.

Хозяйка повела его по коридору, в которой по одну сторону было три одинаковых двери.

Она открыла одну из них. Обстановка в комнате была спартанской: железная кровать, тумбочка, шкаф, на котором стоял телевизор.

— Сто двадцать гривен за сутки, — сказал хозяйка. — Первый день могу накормить ужином, далее будешь готовить сам. Холодильник на улице, там же газовая плитка и стол. И там же душ, правда, летний, но вода в нем всегда горячая. А в жару это очень удобно.

— Как вас зовут? — спросил Олесь.

— Валентина.

— А, вы та самая Валентина, у которой жильца обокрали?

— Вот старая карга, — в сердцах произнесла Валентина, — три года прошло с тех пор, а она все о своем… Мы с тех пор замки поменяли и пса завели, так что к нам никто не сунется. А обстановка у нас спартанская, потому что к нам в основном рыбаки приезжают. Они вещи бросили — и на рыбалку. Никто даже телевизор не включает, не нужен он им.

— Хорошо, — согласился Олесь, — плачу за пять дней вперед. Понравится, останусь еще на три дня.

— А чего не больше?

— Отпуск у меня короткий.

— На ужин что приготовить?

— Суп с галушками, — пошутил Олесь

— Можно и суп, — ответила Валентина, не поняв или не приняв шутки,

— Что пьешь?

— Ничего, я трезвенник.

— Трезвенник — это хорошо. Проблем меньше… А то сколько ни предупреждай жильцов, что я женщина мужняя, стоит выпить граммов двести — забывают.

— Я не забуду.

Олесь разделся, влез в шорты и, взяв полотенце, вышел во двор в дверь, противоположную той, что вела на крыльцо. Где-то там за стеной залаял было пес, но сделал это как-то неуверенно, видимо, окрик хозяйки здорово на него подействовал.

В той части двора, о которой говорила Валентина, было довольно уютно. Под навесом стояли холодильник и газовая плита. В неком подобии беседки, увитой плющом, был стол, вокруг которого стояло несколько табуреток. Чуть в стороне — душ, похожий на маленький парник, так как стены его были покрыты полиэтиленовой пленкой, почти прозрачной. То есть, через нее можно было смутно видеть, что в душе находится кто-то. Но рассмотреть конкретно его формы не представлялось возможным.

Вода в душе была в прямом смысле горячей, однако Олесь знал, что после такого душа возникнет приятное чувство прохлады. Он вернулся в комнату, улегся на кровать и стал подводить итоги первой половины первого дня в Беляевке.

На месте своих коллег, которые, безусловно, ждут его здесь, он поступил бы так же. То есть, создал позиции, прежде всего на автостанции, местах общего пользования, магазинах и рынке.

Безусловно, договорился бы с бабой Одаркой.

И нет сомнения, что его уже взяли на крючок, что, собственно, и было нужно. Ибо надеяться на то, что он может проникнуть в Беляевку незамеченным, было смешно.

Единственно, что пока не стыковалось, это…

В дверь комнаты тихо постучали. Олесь вскочил с кровати и пошел открывать.

В коридоре стояла Валентина.

— Совсем замоталась, — сказала она, — нужен твой паспорт.

— Конечно, — ответил Олесь, вернулся, достал из барсетки паспорт и передал его хозяйке.

— Вечером верну, — сказал она и удалилась.

А Олесь снова завалился на кровать.

Все стало на свои места. Последний штрих, которого он так ждал, был только что сделан.

«А вот вам всем хрен! — подумал Олесь. — Молодец, папаня, нашел возможность достать мне паспорт с другими установочными данными, пусть поломают голову, контрразведчики».

Неожиданно для себя Олесь уснул и проснулся ровно в семь вечера. Он поднялся с кровати, умылся, прополоскал рот и вышел в ту часть двора, где была кухонька и стол в беседке, увитой плющом.

Хозяйка стояла за плитой, на сковороде у нее что-то скворчало.

— А где остальные жильцы? — спросил Олесь.

— На рыбалке, — ответила Валентина.

— А где муж?

— На смене, — сказал хозяйка. — Он тебе зачем?

— И точно, зачем он мне, — сказал Олесь.

А хозяйка между тем стала носить на стол все, что было у нее на плите. Сковороду с жареной говядиной, салаты из огурцов и помидоров раздельно, хлеб, нарезанный крупными ломтями, сочную редиску с хвостиками на пластмассовой тарелке. А потом на столе появился графинчик с красноватой наливкой.

Олесь вопросительно посмотрел на хозяйку.

— Это всего лишь наливка, — сказал она, — даже не настойка. Так что ты можешь смело выпить, ее все трезвенники пьют.

Наливка была очень приятной, Олесь похвалил хозяйку. Она тут же налила ему вторую стопку, но он от нее отказался и стал жадно есть мясо, с хрустом заедая его редиской, помидорами и огурцами.

— А где вы работаете? — спросил Олесь.

— На станции.

— Автобусной?

— Очистительной, — сказал Валентина. — Я завтра с утра на работу, так что ты будешь закрывать не только комнату, но и дом, и калитку.

И Валентина вручила гостю еще два ключа.

Топаз

Казимир Сигизмундович Семенович родился в городе Витебске, с отличием окончил там среднюю школу и поехал в Ленинград, где поступил в Университет на геолого-физико-химический факультет. По окончании его он получил распределение в Одессу, где был филиал Океанографического института. И сколько ни удивлялся Казимир логике распределителей, поскольку в океанографию, как правило, шли выпускники гидрогеологического факультета, в Одессу он уехал с радостью.

К распаду Советского Союза он был заместителем заведующего лабораторией. Но рухнул Союз, независимая Украина сократила финансирование института. И Казимир Сигизмундович оказался на мели. Однако он не пропал, напротив, новый спрос на его профессиональные возможности сделал его почти единственным в Одессе специалистом профессии, которая имела название — геммология.

Именно к нему сегодня утром звонил бывший коллега по Океанографическому институту и просил принять его с экзотическим напарником.

Семенович к приходу гостей побрился и переоделся.

И когда раздался звонок в дверь он, благоухая туалетной водой, пошел открывать.

На пороге стоял крепкий парень лет двадцати пяти в белых брюках и белой полурукавке, а сзади него его бывший коллега Владик Самсонов, который строил Семеновичу глазки, давая понять, чтобы тот ничему не удивлялся. А удивиться стоило бы.

На парне не было живого места. Он был буквально синим от наколок. Пальцы синели перстнями, на предплечьях красовались акулы и львы, из отворота рубашки торчал крест купола церкви, а шею оплетала змея, чем-то похожая на ту, что изображают на эмблемах военных медицинской службы. Сбоку, видимо, от плеча до уха синела паутина.

Понимая замешательство Казимира, Владик представил гостя:

— Дмитрий…

Но гость, внутренне не согласившись с этим, протянул Казимиру руку и произнес:

— Митроха.

— Казимир Сигизмундович, — ответил Семенович и пригласил гостей в квартиру

На журнальном столике стояла бутылка коньяка. Хозяин предложил гостям по рюмочке. Владик с радостью согласился, а Митроха спросил Семеновича:

— А ты?

— Я на работе не пью, — был ответ.

— Тогда и мы не будем, — сказал Митроха к явному неудовольствию Владика.

— Не будем крутить вола, — сказал Митроха и уселся на стул возле журнального столика, затем вынул из нагрудного кармана некий камешек, завернутый в бумажную салфетку.

— Что это? — спросил он у Казимира.

— Изумруд.

— От слова изумительный, — сказал Митроха,

— Нет, русское название изумруда происходит от персидского зуммуруд. С позиций науки это разновидность минерала берилла — силиката бериллия и алюминия. С позиций ювелиров — ювелирный камень высшего класса, темно-зеленые образцы его ценятся дороже алмаза.

— Дороже алмаза, — повторил Митроха и сказал Владику: — Это запиши.

Владик с готовностью полез в барсетку, вытащил лист бумаги и записал то, о чем ему только что сказал Митроха.

— С позиций Духа, — продолжал Казимир, — изумруд — один из камней, связанных с высшей религией, с Высшим Духом. Камень связан с энергиями Вулкана и Прозерпины.

Митроха непонимающе посмотрел на Владика, но тот нашелся:

— Приносит счастье, — пояснил он.

— Да, приносит счастье, — подтвердил Семенович, — но только чистому человеку, пусть даже неграмотному. И даже наоборот, изумруд не способствует накоплению информации и не способствует счастью людей умных и образованных. Этот камень хорош людям интуиции, раскрывающим тайные процессы, для медиумов, спиритов, для людей, связанных с тайнами иного мира.

На эту сентенцию Митроха поиграл желваками, но ничего не сказал.

А Семеновича понесло, он вскочил со стула и стал говорить, расхаживая по комнате, как по студенческой аудитории.

— Изумруд относится к категории камней, передающихся по наследству. Действовать он начинает не сразу. Он дарует помощь человеку, поддержку, прояснение запутанных ситуаций. Но здесь, опять же, нужно быть человеком чистым, не иметь дурных помыслов, а иначе вы ничего не получите или получите душевную болезнь.

Семенович взглянул на Митроху, тот после слов о болезни окаменел.

А Семенович уже не мог остановиться. Он сел на своего конька и не видел ни Владика, ни Митрохи, перед ним была аудитория благодарных слушателей.

— К наиболее выдающимся относят пять отборных камней — «испанские», или «перуанские» изумруды, которые Фернандо Кортес подарил своей невесте, племяннице герцога Бехарского, и тем самым смертельно обидел королеву Испании Изабеллу, мечтавшую заполучить их. Эти камни были утеряны в 1541 году.

Все пять камней имели различную и причудливую форму. Один из них представлял собой колокол с прекрасной жемчужиной. Второй имел форму розы, а третий — рога. Четвертому была придана форма рыбы с глазами из золота. Пятый — наиболее ценный и наиболее замечательный — имел форму кубка с ножкой из золота; край чаши также был сделан из золота. В древние времена изумруды добывались преимущественно в Египте, на копях Клеопатры. Драгоценные камни из этого рудника оседали в сокровищницах богатейших правителей Древнего мира.

Тут лектор увидел тоску в глазах Митрохи и понял, что уклонился от той цели, которая интересовала гостей.

— Природные изумруды высокого качества очень редки и поэтому оцениваются из расчета около 10 000 фунтов стерлингов за карат и даже дороже.

При этих словах Митроха оживился и потребовал, чтобы Владик записал сказанное.

— Потом на калькуляторе посчитаем, — добавил он.

Семенович взял со столика камень и подержал его в руках.

— В настоящее время, — сказал он, — в мире разработано несколько технологий получения искусственных изумрудов, отличить которые от натуральных камней для любителя весьма сложно.

— Зачем нам это? — спросил Митроха.

— Затем, что ценятся только природные изумруды.

— А, тогда конечно, — произнес Митроха.

— И первый признак, по которому можно определить, что это природный камень, его холодность. Почувствуете холод в руках от камня и не ошибетесь.

Митроха и Владик одновременно протянули руки к камню. Но Семенович сказал:

— Камень не синтетический, но почему-то не такой холодный, как надо.

— А может, потому, что сегодня очень жарко? — спросил Владик.

— Может быть, может быть, — повторил Семенович и полез в шкаф за микроскопом.

— А это зачем? — спросил Митроха

— Природные камни имеют расколы и трещины, они созревают сотнями лет, а на синтетических таких трещин нет.

Семенович прильнул к окуляру микроскопа.

— Ну? — почти одновременно спросили Владик и Митроха.

— Есть, — сказал Семенович, — и самое удивительное, что он не прозрачен, и линии, которые отмечает увеличительное стекло, не совсем параллельны. Это признак естественного роста этой разновидности берилла. Но самое главное — поместить его в стакан с водой.

— И… — выдохнул Владик.

Но Семенович не слышал его. Он ушел на кухню и вернулся в комнату со стаканом воды, небрежно бросил в стакан изумруд и прикрыл сосуд рукой.

— Так вот, если опустить изумруд в воду и посмотреть на стакан сверху, то искусственный изумруд даст красный оттенок.

Митроха и Владик вскочили со стульев и склонились над стаканом. Семенович медленно убрал руку, и все увидели, что красноватого оттенка нет.

Прозвище Топаз Борис получил вскоре после того, как поступил в НГУ. Уже тогда он заинтересовался драгоценными камнями, хотя это и не входило в основной профиль его подготовки. Из трех лидеров драгоценных камней он интуитивно выделил изумруд: алмаз не интересовал его бесцветностью, а рубин вызывал тяжелые чувства, которые сравнимы с предчувствием конфликтов с другими людьми.

Болезнь эта пришла к Борису внезапно, во время первого посещения музея Института геофизики в Новосибирске. Когда его сокурсники восхищались размерами золотых самородков, заключенных в прозрачные ящики-кассеты, он был заворожен камнями.

И даже шутка, о которой знают все посещавшие музей новосибирцы и гости столицы Сибири, не тронула его.

Звучала она так. Рассматривая самородки золота, посетители всегда задавали вопрос: сколько стоит? И у экскурсоводов всегда был один и тот же ответ: десять лет колонии строгого режима.

Ответ с позиций юриспруденции, безусловно, безграмотный, но для обывателя весьма информативный.

Впоследствии жизнь и практика оторвали Бориса от объекта его интереса. После окончания универа он попал служить в армию в качестве офицера-двухгодичника. Правда, служил недалеко от Новосибирска. Как говорили тогда, в огородах, в Пашино, был замкомроты в стройбате. Ну а потом наступило время, которое позже стали называть безвременьем.

И в это безвременье Борис занялся разработкой технологии выращивания искусственных бериллов.

Прежде чем перейти к практике, Борис решил изучить уже имеющиеся способы выращивания изумрудов. Разумеется, начал он с Чэтема, да на нем и остановился.

Кэрролл Ф. Чэтем из Сан-Франциско стал проводить свои эксперименты по выращиванию изумруда, когда учился в колледже в тридцатые годы прошлого столетия. Он нигде не патентовал свой метод, но его принципы были описаны в нескольких статьях в научных журналах послевоенного времени. Поскольку без этого был невозможен выход продукции на рынок.

Цикл выращивания кристаллов поначалу был довольно длительным, до года. И Чэтему удалось получить крупные изумруды: один кристалл весом в 203 г (1014 карат) был подарен Смитсоновскому институту в Вашингтоне, а другой весом 255 г (1275 карат) — Гарвардскому университету. Чэтему же принадлежит некое новшество в ускорении выращивания кристаллов. Если растить их не в неподвижном растворе, а при перемешивании жидкости, то процедура уменьшалась в несколько раз.

«Ничего странного, — подумал тогда Борис, — так и должно быть».

Чэтем, описывая свои изумруды, называл их «культурными» вместо общепринятого термина «синтетические», но федеральная торговая комиссия США отклонила такой термин. И изумруды, созданные Чэтемом, стали называться и продаваться под маркой «изумруд, созданный Чэтемом».

«Прекрасно, — продумал тогда Борис, — а мои изумруды будут называться… Да какая разница, как они будут называться. Я создам такой изумруд, который никак не будет называться, потому что будет как природный».

И начал эксперименты с так называемым питательным раствором для выращивания кристаллов. Исследовав все составляющие части, которые природа использует для выращивания изумрудов: бор, висмут, свинец, литий, никель, натрий, калий, молибден, вольфрам, ванадий, хром, фтор, кислород и воду, — он сравнил их соотношение, которое согласно статьям ряда исследователей на западе было в «синтетических» изумрудах.

Однако это ничего ему не дало.

И тут он увидел, как один из его бывших коллег соорудил на даче устройство, отпугивающее крыс и кротов.

— Но оно воздействует и на людей, — сказал ему Борис.

— Конечно, оно воздействует на все растворы, на все жидкости. Поэтому я включаю его, когда уезжаю, в город. А крысы и бомжи не в счет.

— Да ты садист, батенька.

— Есть немного. Я ведь сажу на даче растения не для крыс и кротов.

— Понятно.

— А как ты додумался до этого?

— А помнишь, теплофизики в Академгородке проводили эксперименты по разрушению бетонных фортификационных сооружений…

— А-а, — молнией пронеслось в мозгу у Бориса… и он перевел разговор на другую тему.

После этого все стало на свои места. Нужно было лишь проэкспериментировать воздействие на «питательный раствор» различных видов разрушительных излучений. Что должно было не только в несколько раз увеличить скорость выращивания кристаллов, но и создать новое их качество, как надеялся Борис, приближенное к природным.

Уже тогда он понял, чем отличается природный процесс от искусственного. В природе нет правильности, линейности, симметричности и соразмерности. Поэтому ее невозможно повторить, и приблизиться к ней можно только нарушив все принципы выращивания искусственных изумрудов. Но без этих принципов нет технического движения. Как разорвать этот круг, он тогда не знал.

Для работы нужна была экспериментальная база. И Борис пошел на поклон к денежным людям.

Толя Курлов был одним из таковых. Борис выбрал его по двум причинам. Толя не относился ни к бандитам, ни к спортсменам и в свое время учился в Новосибирском универе. Посему найти с ним общий язык было проще, чем с другими.

Однако к началу нового столетия Толя был уже коммерсантом до мозга костей. Он выслушал Бориса и спросил:

— Сколько мы получим на выходе?

— Я могу сказать, сколько мы затратим, — ответил Борис, — то есть рассчитать стоимость оборудования, аренды участка, электроэнергии, оплаты рабочим…

— Мне это не подходит, — сказал Толя.

Борис поднялся со стула и направился к двери.

— Что думаешь делать дальше? — спросил его Курлов.

— Искать другого партнера.

— Партнера, говоришь, — произнес Курлов, — да не найдешь ты партнера, разве что спонсора… ну ладно, ищи…

Однако с партнерами дело шло туго. Борис не мог доверить никому свою святую тайну, а именно то, как он может создать искусственный берилл, почти похожий на природный.

И тут Борису позвонил Заборток.

— Привет, Топаз, — сказал он, — ты не оставил своих бредовых идей по выращиванию…

— Не оставил, — ответил Борис.

— Надо встретиться, — сказал Заборток.

— Давай встретимся, — ответил Борис, — где?

— В Академгородке в Доме ученых.

— Я туда не вхож, так как не остепенен.

— Но я-то остепенен, а ты будешь со мной. Лады?

Борис ехал в Академгородок и думал о том, что с Забортком его судьба развела в восьмидесятые. После окончания вуза их обоих пригласили, а проще сказать, вызвали в военкомат Советского района и сказали, чтобы они ждали повесток.

Но Заборток увернулся от призыва, так как за него заступился его научный руководитель.

С тех пор судьба их развела, они никогда и нигде не встречались, даже на встречах выпускников…

Заборток ждал его у входа в Дом ученых.

Он провел Бориса в ресторан и, как ни странно, заявил, что ужин будет за его счет.

— Догадываешься, почему?

— Нет, — искренне ответил Борис.

— Ты Толе Курлову понравился, я, конечно, в твои заморочки не верю, но если он захотел тебя спонсировать, его дело.

— Так это он поручил тебе некую экспертизу моих идей?

— Он попросил меня за определенную плату проконтролировать смету расходов на твои эксперименты.

— А-а, понятно.

— Ну вот и чудненько. Я тут порылся в публикациях по твоей теме, и знаешь, что нашел?

— Есть исследования по выращиванию изумруда из раствора в расплаве, но не для получения драгоценных камней, а для использования в лазерах для микроволновой связи. Обнаружено, что в этих целях с успехом можно применить большое число плавней[1].

---

[1] Вещество, используемое для заполнения пор обжигаемой массы.

— Понимаешь, к чему я?

— Да, это создает иллюзию природного процесса.

— Так вот, если попробовать использовать плавни вольфрамата лития, молибдата свинца, вольфрамата свинца и пятиокиси ванадия, то…

— То может возникнуть структура, приближенная…

— Молодец, но все это я даю тебе безвозмездно, то есть даром… Давай еще по одной и разбегаемся, дел много.

— А как же смета?

— Не в ресторане же ее составлять. Набросай чего-нибудь и приходи ко мне в лабораторию…

После этого все закрутилось так, что только успевай поворачиваться.

В одном из заброшенных помещений бывшего оловозавода Борис разместил свой экспериментальный участок. Нанял охрану и одного технолога, который должен был отслеживать последовательность операций.

Но на третий день экспериментов к нему нагрянул ОМОН. Пришлось месяц отписываться, что участок не лаборатория для производства наркотиков.

На этот случай Курлов прислал ему своего начальника службы безопасности и в традициях первого отдела залегендировал производство. Теперь в документах оно значилось «Экспериментальным участком по производству оловопокрытия для корпусов элитных автомобилей».

Так продолжалось два года, и Борис вдруг понял, почему были правы Заборток и Курлов. Потенциал его участка для опытов было мал. Чтобы получить результат, нужно было либо увеличить количество таких участков в несколько раз, либо ждать десятилетия, чтобы нужный результат все же появился.

И тут случилось непредвиденное.

Измотанный работой по двадцать часов в сутки, Борис решил отдохнуть. Он купил путевку в Белокуриху и уехал на целых двадцать дней.

Вернувшись, он ужаснулся. Оказывается, в эти дни были отключения электроэнергии, но его технолога на работе не оказалось, так как тот ушел в тяжелый запой. Охрана честно несла службу, но она не понимала тонкостей процесса.

Технолога Борис уволил. Курлову сказал, что эксперимент с очередной партией провалился. А тот намекнул ему, что пришли трудные времена и финансирование, видимо, придется свернуть.

Борис огорчился, но в меру. Прекратив подачу энергии на «тормошение» «питательного раствора» он слил его и увидел россыпь довольно крупных кристаллов с удивительно нежным зеленым цветом.

Как настоящий геммолог, он выждал некоторое время и взялся исследовать полученные кристаллы всеми известными способами.

Результаты его поразили, совершенно случайно эти веерные отключения создали ситуацию, при которой воздействие на рост кристаллов было таким же случайным, как и в природе, но в сочетании с высокочастотным «тормошением» более быстрым.

Борис занялся расчетами, чтобы повторить эксперимент, но потом понял, что такого рода случайностей больше не будет.

Он поблагодарил Курлова и Забортка за оказанное ему содействие, оставил оборудование спонсору и на какое-то время притих. Однако зуд проверки результата заставил Бориса отдать пару кристаллов на экспертизу.

И, видимо, в Н-ске нашлись люди, которые внимательно следили за подобными вещами. Они соотнесли его работу на участке по производству оловопокрытия и «наехали» на Бориса.

Предъява была конкретной.

— Добыл кристаллы на нашей территории, плати, — сказал ему невысокий шплинт.

Но Борис тоже был не лыком шит.

— Кого представляешь?— спросил он.

— Карлагу.

— Вот с ним и буду говорить.

На удивление, Карлага не заставил себя долго ждать. Он пришел к Борису на квартиру один, то есть, оставив охрану на улице.

— Предъяву получил? — начал он без долгих вступлений.

— Да, — ответил Борис, — но требуются некоторые уточнения.

— Ты делаешь изумруды и торгуешь ими на нашей территории, — плати.

— Я уже их не делаю, — сказал Борис, — мощностей, которые у меня были, не хватает. Но у меня действительно удачной была последняя партия…

— Это я знаю, — сказал Карлага.

— Я могу ее отдать тебе, — сказал Борис.

— Нашел дурака, я консультировался со специалистами. Ее не продашь…

— Ну, сейчас не продашь, а завтра…

— Век бандита короток, — сказал как отрезал Карлага. — Ты мне должен. Плати… Даю тебе на раздумья три дня.

— Хорошо. Однако у меня есть условие. Кто меня сдал? И дело по камням я буду вести только с тобой.

— Сдал тебя твой технолог, а дело ты действительно будешь иметь только со мной.

Вот тогда-то Борис и отправился к Чилиндре.

Олесь

Олесь проснулся рано и слышал, как во дворе хлопочет хозяйка, но выходить не стал. Дождался, пока она уйдет на работу. Затем принял душ, побрился, взял удочку и вышел из дома.

Пес, увидев его, полаял для приличия и замолк.

Конечно, Олесь не стал искать места, где местные рыбаки копают червя.

В его пакете был десяток блесен, от традиционных металлических до современных синтетических, весьма похожих на настоящую рыбку.

Он самостоятельно вышел на берег водоема, выбрал нетопкое место. Разобрал удочку, прицепил блесенку и стал кидать. Поначалу это у него плохо получалось. Но как человек координированный, вскоре приловчился бросать довольно далеко и уже с неким наслаждением вращал катушку удилища.

Прошел час, другой. Но в пакете не появилось ни одной рыбки.

— Пришел невод с морскою травою, — произнес Олесь вслух и стал собирать удочку.

Было уже довольно жарко.

Он зашел в магазин купил хлеба, рыбных консервов, пару помидоров, сыра и вернулся домой.

Пес встретил его почти дружелюбно.

Олесь открыл дверь в свою комнату и проверил, на месте ли контрольная соринка.

Соринка была там, где он ее оставил. Значит, в его вещах никто не копался. Немного подумав, Олесь положил наверх вещей стихи матери. Потом взял полотенце и пошел в душ. Вода в баке еще не нагрелась и была приятной и освежающей.

Потом он одновременно позавтракал и пообедал. Поместив остатки пищи в холодильник, вернулся в свою комнату. Завесил окно одеялом, и в комнате стало прохладно.

Итак, он «объявил» окружению, что пробудет здесь пять дней, а если понравится, то и все восемь, если за ним уже установлено наблюдение, то наблюдатели некоторое время будут сомневаться, он ли разыскиваемый диверсант. Ведь кураторы из Киева сообщили другие данные. И параллельно с работой по нему его коллеги будут отслеживать того, кто должен прибыть под указанными установочными данными.

А значит, нужно себя проявить так, чтобы у ловцов диверсантов почти не осталось сомнений. Почти, потому что сомнения должны быть, иначе на него будут брошены все силы и средства. Одиночка имеет преимущества до тех пор, пока он не установлен, или у тех, кто его ищет, есть сомнения в том, что именно он объект розыска.

Значит, нужно обострять обстановку. Олесь вспомнил весь вчерашний день и пришел к выводу, что это можно сделать только в одном месте.

На часах было начало третьего. Нужно было как-то убить время.

Он достал из сумки стихи матери и стал читать их.

Хотела дождь — и тихий дождик капал.
Каштанов свечи теплились во мгле,
Из окон лился свет, пушистых елей лапы
Прозрачный бисер рассыпали по траве.

Под музыку дождя я слушаю иную —
Слиянья двух сердец мелодию в тиши.
В мгновении — вся жизнь,
И вечностью дышу я…
Ты только разомкнуть объятья не спеши.

Он читал дальше и, к своему удивлению, не видел за строчками мать.

Стихи были написаны некой юной девочкой. То ли благодаря отцовскому воспитанию он не знал ее вообще. То ли она стала другой совсем недавно, и поэтому они с отцом разошлись.

До вечера он еще дважды ходил в душ. Перед вторым разом поработал на растяжку и даже провел бой с тенью.

В белых брюках и такой же ослепительно белой майке он вышел из дома и направился на рынок. Поболтавшись там без дела, зашел в кафе, демонстративно заказал себе бокал сока грейпфрута и стал рассматривать девиц в компании, лидером которой был Горби.

В кафе кроме завсегдатаев было еще несколько человек, среди которых выделялся мужик в майке под тельняшку и огромной золотой цепью на шее. Его спутница была вполне нормальной девицей, на ней даже не было косметики. И если все другие посетители испытывали определенный дискомфорт от агрессивности, исходящей от компании Горби, то эта пара чувствовала себя как дома.

На этот раз Горби расположился как обычно, спиной ко входу, и не видел Олеся, но паренек, сидевший напротив него, тут же доложил, что в кафе появился чужак. Однако Горби не сразу переключился на чужака, он вел разговор с одним из своих приятелей в том же духе, что и вчера…

— А че ты, че?

Приятель пытался оправдаться, но говорил тихо, как и положено вассалу.

— И все? — заключил Горби.

И только после этого Горби обернулся и осмотрел зал.

Появление чужака, да еще заказавшего себе сока, не могло пройти незамеченным.

Горби, как настоящий вожак стаи, тут же принял вызов.

Но сразу ввязываться в конфликт самому было не по статусу, и он послал к Олесю одного из своих приятелей-шестерок.

Тот подсел за столик к чужаку.

— Откуда, здоровяк? — спросил он Олеся.

— Из Киева, — ответил Олесь.

— Плати дань, раз из Киева.

— Кому? — спросил Олесь.

— Ему, — шестерка указал пальцем на Горби.

— Годится, — ответил Олесь, — скажи, чтоб вышел за кафе…

Шестерка поднялся со стула и вернулся к Горби. И хотя разговор между Олесем и шестеркой проходил вполголоса, все присутствующие в кафе понимали, о чем шла речь и каким будет продолжение. Некоторые с сочувствием смотрели на Олеся.

Горби демонстративно поднялся со своего стула и двинулся к выходу из кафе, за ним потянулась вся его кодла, за исключением трех девиц, которые остались сидеть за двумя сдвинутыми столиками, причем они вели себя так, как будто все происходящее их не касалось.

Олесь пошел следом.

За зданием кафе Олеся уже ждало каре из приятелей Горби. В центре его стоял сам вожак. Олесь медленно подходил к нему, понимая, что долго возиться с ним нельзя, кто-то из приятелей может нанести удар сзади. Но Горби сам помог ему. Он сделал зверскую рожу и после такой психической атаки бросился на Олеся. Если такого бугая поймать в нужной точке, то здесь, как и при столкновении двух встречных автомобилей, происходит сложение скоростей и сил. Прямой удар в голову на какое-то мгновение остановил и ошеломил нападающего. Однако Олесь не стал ждать, пока Горби опустится на землю, два боковых в голову окончательно добили противника. Горби опустился на землю, и было понятно, что он в глубоком нокауте.

Олесь резко повернулся к одному из приятелей Горби.

— Быстро вызвал «скорую», — сказал он, — его еще можно спасти.

После этого он оглядел присутствующих, словно выбирая, кого бить следующим. Но те сориентировались правильно, переключив все внимание на лежащего на земле Горби.

Олесь оставил кодлу реанимировать своего лидера и вернулся в кафе.

Его появление вызвало оживление. Девицы за столиком Горби мгновенно вспорхнули и побежали к выходу.

Остальные посетители смотрели на него, и в глазах их было удивление и восхищение.

Олесь уселся за свой столик, допил сок, оставил на столе несколько гривен и только потом покинул питейное заведение культурного отдыха жителей поселка Маяки...

Капитан Старостенко предыдущую ночь почти не спал.

Тот парень, которому сдала квартиру Валентина по наводке бабы Одарки, оказался каратистом.

Это было понятно и козе… После того как он вырубил местного придурка и племянника хозяина кафе по кличке Горби, многое стало на свои места. Многое, но не все.

Босс, с которым Старостенко говорил по телефону, не разделял его уверенности.

— Ну и что, что он каратист, сейчас куда ни плюнь одни каратисты и специалисты по боям без правил.

— Дак и возраст совпадает…

— И это не показатель, у того другие установочные данные, ты полагаешь, что наши друзья из Киева могли ошибиться?

— Ну всякое может быть.

— Может, но не в этом случае. И чего ты хочешь?

— Пришлите двух отошников, я организую ему поездку на озеро, а они проведут мероприятие.

— Но тогда тебе придется выходить на местных?

— Выйду, объясню это тем, что в поле зрения попал тип, похожий на объект розыска, и он приехал в Беляевку порыбачить.

— Ну давай, что еще?

— Звонок начальнику местного отделения о том, что мне нужна помощь.

— Хорошо, уже делаю.

После разговора с начальством Старостенко пошел к коллегам из местного отделения СБУ и заявил, что объект розыска в возрасте чуть менее тридцати лет приехал сюда на рыбалку, а поскольку человек этот осторожный, весь возможный компромат он возит с собой. Но есть вещи, которые с собой не унесешь. И…

— Все понятно, — ответили ему коллеги…

— Отлично, — сказал Старостенко, — вот его приметы, его установочные данные, а я в Одессу, за специалистами.

Специалистов Старостенко привез только к утру.

Он разместил их в комнате для отдыха местного отделения СБУ. Дождался, пока сотрудники придут на работу. А надо сказать, что коллеги даром хлеб не ели. Они дали Старостенко полный расклад по объекту розыска.

Выходило, что объект остановился у некоей Валентины Спиридоненко, заплатил за пять суток и планировал остаться еще на трое, если ему тут понравится.

Отлично, — сказал на это Старостенко, — работаем по хозяйке.

Проводив Олеся на рыбалку, Валентина занялась уборкой дома, но зазвонил телефон.

— Спиридоненко? — спросил голос в трубке.— У вас спор с соседями по поводу границ вашего участка?

— Да.

— Подходите прямо сейчас в сельраду, может случиться так, что этот спор разрешим прямо здесь, а не в суде.

Звонок обрадовал Валентину, свара с соседями из-за забора, который они перенесли полгода назад, ее тяготила. Она быстро переоделась и вышла из дома.

Валентина шла по улице и даже не обратила внимания на стоящий в квартале от ее дома автомобиль с тонированными стеклами.

Сидевшие в машине Старостенко сотрудник местного СБУ и отошники проводили Валентину взглядом.

Они были заняты разглядыванием схемы расположения комнат в доме Спиридоненко.

Валентина пришла в сельраду, где прямо у входа ее встретил мужчина в приличном костюме. Лицо его показалось Валентине знакомым.

Мужчина долго слушал Валентину, вникая в суть ее тяжбы с соседями. А потом вообще отклонился от темы разговора

— Вы не сдаете комнаты приезжим? — спросил мужчина.

— Ну, если…

— А сейчас у вас есть кто-нибудь? Только не врать.

— Есть, — сказала Валентина, — из Киева молодой человек.

— В какой комнате он живет?

— В средней.

— А остальные свободны?

— Да, а зачем вам?

— А если ко мне приедут друзья на выходные из Одессы порыбачить, во сколько им это обойдется?

— Думаю, они не обидятся, — сказал Валентина.

— Буду иметь вас в виду, — сказал мужчина и вышел из комнаты.

Пока Валентина недоумевала по поводу вопросов, которые задавал ей мужчина, в машине, что стояла в квартале от ее дома, раздался звонок.

— Его комната средняя, — сообщил металлический голос из телефонной трубки.

— Там собака, — сказал коллега из местного отделения СБУ.

— Будем думать, — ответил отошник.

Отошники вышли из машины, подошли к дому Валентины, один из них мгновенно открыл отмычкой замок на воротах. И у возможных свидетелей этого проникновения не могло возникнуть и тени подозрения. Ведь Валентина сдавала комнаты приезжим и у тех могли быть ключи.

Как только отошники исчезли за калиткой, раздался яростный лай, который, однако, тут же затих.

Спецы зашли во второй дворик, отрыли двери коридорчика, а потом и средней комнаты.

На всю операцию у них ушло двадцать минут.

Вскоре они уже сидели в машине. Сотрудник местного отделения позвонил своему напарнику.

— Але, — сказал он, — мы закончили…

— Хорошо, — ответил тот.

Он нажал на кнопку «отбой» и обратился к Валентине:

— Что-то ваши соседи нас игнорируют, поэтому приношу вам свои извинения, хотели как лучше… Еще раз извините и нас, и их… В качестве компенсации я отвезу вас домой на машине, заодно и комнату посмотрим…

Валентина, которая разозлилась пустым вызовом в сельраду, успокоилась и согласилась. И через пятнадцать минут они были в доме Спиридоненко.

Там все было как прежде, за исключением того, что пес как обычно не бросился лаять на чужака, а только захрипел из будки. Но хозяйка не обратила на это внимания. Она показала гостю комнаты, назвала цену, и они расстались.

А в это время Старостенко звонил по спецсвязи в управление СБУ.

— Ну, — спросил его начальник, когда соединение произошло, — обнаружил у него в вещах что-то похожее на закладки?

— Нет, — ответил Старостенко.

— Ну вот видишь.

— А может, их и не должно быть.

— Должно, должно быть, — повысил голос начальник, — потому что именно этими муляжами доказывается то, что диверсант смог проникнуть на объект и прикрепить их там. У меня даже описание их появилось. В общем, так, кооперируйся с местными и поднимай все что можешь. Диверсия будет в ближайшие три дня.

— Почему три?

— Потому что у этого парня командировка на пять дней без дороги. Если у него не получится, то мы на коне, если получится… Но мы уже об этом говорили. Конечно, лучше всего, чтобы вы его взяли во время проникновения на объект с закладками. Тогда и задача будет решена, и дырку на кителе сверлить можно… Отбой.

Топаз

До Одессы Борис добрался без приключений, правда, спать приходилось вполглаза, там, в рундуке, лежала партия искусственных изумрудов, продав которые, можно было купить океанский танкер, разумеется, если продавать их по цене изумрудов природных.

Но нужный телефон сначала молчал, а потом абонент вообще его отключил, давая понять, что либо не может, либо не хочет говорить. И тогда Борис разыграл резервный вариант.

Саба должен был свести его с Сашей Дерибаном. А что если связаться с ним по-другому?

Он вложил записку Дерибану в бумажник и спровоцировал его кражу на рынке.

Осталось ждать.

Но прошло уже три дня, и никто не беспокоил его.

На четвертый день, возвратившись с утренней прогулки, Борис открыл дверь номера гостиницы «Черное море» и увидел там парня, который похозяйски расположился на диване. Парень был одет в белые брюки и полурукавку, из-под которой торчали его татуированные кисти и предплечья. Но самая любопытная наколка была у него на шее, в виде толстой паутины.

— Ты писал Дерибану? — спросил он вместо приветствия.

— Я, — ответил Борис.

— Откуда знаешь?

— Люди подсказали, как его найти.

— О чем хотел сказать?

— Скажу только ему.

— Да, в общем, и так понятно, собирайся и зелень захвати…

— Она в другом месте…

— Ну, как знаешь… Меня Митрохой зовут, поехали…

Ехать пришлось долго, правда, авто было снабжено кондиционером.

Выехали за пределы Одессы, подъехали к какому-то поселку, пахнуло прохладой моря. С лету заехали на какую-то дачу. Митроха галантно распахнул дверцу автомобиля и проводил Бориса внутрь большого строения, не то дачи, не то офиса, выстроенного по типу шале.

В огромном холле на белых кожаных диванах сидели двое. Кто был из них Дерибан, было понятно с первого взгляда по той устойчивости, которая просто излучала его фигура. Второй, наоборот, чувствовал себя не в своей тарелке, хотя и пытался держать марку и выглядеть спокойным.

Митроха кивнул Борису на противоположный диван, Борис сказал:
— Добрый день, — и уселся напротив хозяев.
— Ты кто? — бесцеремонно спросил его тот, в ком он видел Дерибана.
— Борис, — был ему ответ.
— А масть?
— Я в мастях не силен.
— Откуда Шарика знаешь?
— Братва в Н-ске подсказала.
— А братва каким боком?
— Опекала меня…
— Вот он, — Дерибан кивнул на второго, — крупный спец по камешкам, хочешь узнать, что он говорит?
— Хочу, я тоже спец не мелкий, — произнес Борис, — осознав роль второго.
— Как вам это удалось? — спросил второй.
— Что вы имеете в виду?
— Создать такой берилл.
— Его создала природа.
— Нет, он слишком правильный, чтобы не быть фальшивым.
— Вы хотели сказать синтетическим?
— Да.
— Какие параметры привели вас к мысли, что…
— Он слишком похож на природный.
— Хватит зубатиться, — сказал Дерибан, — чего ты хочешь? И почему вышел на меня?
— Братва в Н-ске полагает, что у тебя есть канал через границу в Измаиле.
— Это они из Н-ска увидели?
— Как они увидели, я не знаю, говорю то, что слышал.
— И что потом?
— Мы продаем тебе партию, ты переправляешь ее через границу, получаешь сверхприбыль.
— Сверхприбыль, — сказал Дерибан, — можно получить, если количество этапов до реализации за полную стоимость не больше трех, мы такой возможностью не располагаем.
— Очень жаль, — сказал Борис, — братва говорила о твоих уникальных возможностях проведения первого этапа. Он для тебя фактически бесплатен, а значит, и разница от вырученных денег будет значительной.
— Бесплатен, бесплатен, — пропел Дерибан. — Казик, иди во двор. Поговори с гостем, а мы тут перетрем эту тему.
Казик, а это был спец, с готовностью вскочил с дивана и жестом предложил Борису следовать за ним.
— Что скажешь? — произнес Дерибан, когда Борис и Казик ушли.
— Надо смотреть всю партию.
— А где она?
— Как говорит гость, в надежном месте.
— В Одессе есть такие места? Давай калькулятор, во сколько они дороже алмазов, он сказал?
— Десять тысяч фунтов стерлингов за карат.
— А этот камень?
— Примерно пять каратов.

— Умножай на пять.

— Пятьдесят тысяч.

— А фунт к зеленому, примерно один к полутора… Где-то тридцать три тысячи зеленых. А сколько у него таких камней?

— Больше двух сотен… Итого больше шести миллионов шестисот долларов.

— Не слабо…

— Но это если оценивать их как природные…

— Да понятно. Короче, сколько он хочет?

— Миллион.

— Даем триста тысяч, и это окончательная цена, но после проверки всей партии…

Пока Дерибан перетирал тему с Митрохой, Казик во дворе атаковал Бориса.

— Такую партию невозможно продать, — сказал он. Все камни, конечно, похожи на природные, но они очень похожи и друг на друга, а в природе так не бывает.

— Из этой ситуации есть элементарный выход — смешать их с природными камнями.

— Где взять такое количество?

— К чему все эти вопросы, я вам предлагаю бериллы по бросовой цене. Вы отказываетесь, я иду к другим покупателям. Но мне непонятна ваша логика, он слишком похож на природный, чтобы быть природным.

— Да чего уж тут не понять. Когда все очень похоже на природные, значит, они фальшивые, то есть искусственные.

В это время дверь коттеджа отворилась, и Митроха небрежно пальцем поманил внутрь строения Казика и Бориса.

Через минуту все четверо снова сидели на белых кожаных диванах.

— Мы тут посовещались, — сказал Дерибан, — и я решил: Казик смотрит всю партию и мы ее берем за триста тысяч зеленых.

— Ну хотя бы за пятьсот, — сказал Борис, — ведь столько было вложено.

— Больше не дадим, — сказал Дерибан…

— Мне надо подумать, — сказал Борис.

— Думай, — ответил Дерибан, — но не более суток…

Митроха привез Бориса в гостиницу «Черное море».

Они стали по лестнице подниматься в номер…

— Ты что, остаешься у меня? — спросил Борис.

— Ну да, Дерибан сказал, чтобы с твоей головы ни один волос не упал…

— Понятно, и спать ты будешь у меня в номере?

— Ну да, на диване, ты не беспокойся, у меня нормальная ориентация.

— Это радует… Слушай, а кто такой Шарик…

— Не поминай это имя всуе…

— Понял, а он сейчас в Одессе?

— Нет, он сейчас в Германии, но на киче…

Борис открыл ключом дверь номера и остолбенел: двери тумбочки, где находился небольшой металлический сейф, были открыты, а сам сейф взломан. Видимо, кто-то очень сильный загнал что-то вроде гвоздодера в щель между дверкой и корпусом и просто вывернул ее наизнанку…

— Твою мать! — выругался Борис.

— Да уж, — в той же тональности высказался Митроха.

— Что будем делать?

— А ты что, тут их хранил, что ли?

— Нет, но …

— Понятно, — сказал Митроха и набрал номер Дерибана.

Поговорив с шефом, он обратился к Борису.

— Где партия?

— В другой гостинице.

— На Дерибасовской? Едем.

Митроха заказал такси, и через полчаса они были на Дерибасовской, 27.

К удивлению обоих, в номере, который снял Борис, они застали такую же картину. Словно кто-то одним и тем же инструментом и тем же способом, как консервную банку, вскрыл оба гостиничных сейфа.

— Будь здесь, — сказал Митроха Борису, — а я смотаюсь к Дерибану.

— А как же волосы на моей голове?

— Сейчас они вне опасности. Ты лучше подумай, как тебе за сейф не платить…

Митроха ушел, а Борис спустился на первый этаж и сообщил администратору о том, что в его отсутствие кто-то побывал в номере.

— Не может быть, — сказал администратор и пошел с Борисом наверх.

Увидев раскуроченный сейф, он выругался и произнес:

— Давно у нас ничего подобного не было. У вас что-нибудь пропало?

— Да, заначка от жены.

Но администратор тоже не первый день работал.

— Звоним в полицию?

— Нет.

— Почему?

— Вскроется, что я такую заначку имел, — сказал Борис.

— Ценю ваш юмор, — сказал администратор.

— Мне, пожалуйста, расчет.

— Спускайтесь вниз…

К удивлению Бориса, внизу его встретил Митроха.

— Босс сказал, чтобы мы ехали к нему вдвоем.

Через час они снова были в коттедже, в офисе с диванами из белой кожи.

Дерибан сидел на своем месте, а напротив него расположился Казик и вдохновенно читал лекцию об изумрудах, плохо понимая, почему его вдруг вернули к Дерибану и почему у того проявился искренний интерес к зеленым бериллам.

— Инки высоко ценили изумруд. В Перу обожали большой изумруд в виде страусиного яйца под именем Богини Изумрудной и показывали его только в торжественные дни. Индейцы со всех сторон собирались, чтобы увидеть сей обожаемый ими камень, и приносили оному в дар мелкие изумруды, как дочерей этой богини. Испанцы по завладении Перу нашли все эти камни, но саму Богиню не нашли.

Судьба ее до сих пор неизвестна. Хотя есть предположение, что размер ее не мог превышать куриное яйцо, а при вторжении конкистадоров жрецы-инки разбили «Богиню Изумрудную», чтобы она не досталась врагам. Но и без того из Колумбии в Испанию было вывезено около 18 тысяч изумрудов разного ювелирного качества.

Дерибан, увидев Митроху и Бориса, указал им на диван. Казик, бросив взгляд на вошедших, продолжал:

— Самый большой в мире кристалл изумруда был найден в Колумбии в 1969 году и имел массу 7025 карат. Был, правда, еще и «Изумруд Коковина» —

сросток кристаллов, хранящийся в Минералогическом музее Российской академии наук, его масса более двух килограммов. Есть изумруд «Славный Уральский» массой до килограмма. В Британском музее естественной истории находится известный «Девонширский изумруд» массой 1383,95 карата. Но он колумбийского происхождения, просто в середине XIX века был подарен какому-то герцогу. А…

— Ну хорош, — прервал Казика Дерибан, — где партия?

Олесь

Следующий день начался для Олеся неожиданно. К нему приехал мужик, которого он видел вчера в кафе с девушкой.

Он без церемоний протянул Олесю руку и сказал:

— Коля, погоняло Канал, ты вчера сделал то, что хотел бы сделать каждый в поселке. Я и сестра приглашаем тебя на рыбалку.

Сестру Канала звали Нина, она работала смотрителем фондов в музее очистительной станции.

У Канала был свой катер, и они покатались по Днестру, посмотрели место забора днестровской воды на станции.

Причем Канал тут же стал рассказывать, что именно с этой стороны станцию не охраняют, поскольку всех, кто попытается туда проникнуть, придавит поток воды к сетке и он умрет от асфиксии.

Не веря своей удаче, Олесь попросился на экскурсию в музей.

— Нет проблем, сделаем это вечером, — сказала Нина.

Вечером автомобиль Канала привез их к проходной станции. Нина попросила Олеся подождать в машине, сходила на проходную и вернулась минут через пять.

— Сняла с сигнализации, — пояснила она.

— Мне вас ждать? — спросил водитель.

— Нет, — ответила Нина, — езжай домой, мы доберемся пешком.

Нина открыла дверь музея ключом и тут же закрыла ее изнутри.

— Тебе не нагорит? — спросил Олесь, который к концу дня перешел на ты и с Колей, и с Ниной.

— Нет, — сказал Нина, — мы иногда для особо важных гостей устраиваем экскурсии ночью. Это если днем они заняты, да и на улице неимоверная жара.

— В общем, ты уже понял, что в Одессе нет собственной воды и во второй половине девятнадцатого века по заказу Российского правительства англичане стали строить насосно-фильтровальную станцию в поселке Беляевка. Вот эта часть макета, — сказала Нина, — есть выстроенные англичанами фильтрационные сооружения и насосные, а это — построенные советскими строителями. Они мощнее, но менее эстетичны.

И Нина заученными фразами стала рассказывать о том, как росла мощность станции.

— В 1914 году станция давала Одессе 53 тысячи кубометров в сутки. В сорок первом протяженность Одесского водопровода составила 124 километра, а протяженность уличной водопроводной сети 445 километров. В пятидесятые годы…

— Нина, от твоих цифр у меня крыша едет. Ты лучше скажи, сейчас станция государственное предприятие или частное?

— Пять лет назад весь имущественный комплекс его был передан в аренду на сорок девять лет обществу с ограниченной ответственностью «Инфокс».

— И как это общество обеспечивает безопасность функционирования станции?

— Ну если с этих, то существует охрана, и на территорию станции посторонним вход воспрещен.

— Ясно, а как и где осуществляется сама очистка воды?

— Вот смотри на этот макет, — Нина коснулась указкой нескольких точек. — На станции около семидесяти фильтрационных установок. А сама фильтрация осуществляется путем прохода речной воды из Днестра через слои песка с добавлением реагентов коагулянтов. В последующем полученная чистая вода обеззараживается введением жидкого хлора.

— Господи, и здесь хлор, — делано возмутился Олесь.

— Это не тот хлор, о котором ты думаешь, его концентрация выдерживается на заданном уровне.

— А это что за манекены? — спросил Олесь.

— Это униформа работников станции. С передачей водоканала в частные руки фирма стала одевать работников в разные виды спецодежды. Это ремонтники, это эксплуатационники, а это охрана.

— Да, — произнес Олесь, — у охраны форма, как у американских полицейских.

— Что-то вроде, — ответила Нина, — просто начальник охраны у нас жил раньше в США.

— Ну, тогда все понятно, — сказал Олесь, — а что-то вроде рест-рум у вас есть?

— Есть, — ответила Нина, — я владею английским, вот мужское отделение, а рядом женское.

— Вы позволите, на десять минут? — спросил Олесь.

— Да, — ответила Нина.

Олесь зашел в мужскую комнату и прислушался. Как он и предполагал, Нина сделал то же самое, так как он услышал звук захлопнувшейся двери.

Олесь быстро вышел из комнаты, прошел к окнам, которые выходили на территорию станции, отодвинул щеколду, запирающую створку ставни. А чтобы окно случайно не открылось, засунул между рамой и ставней зубочистку, с удовлетворением отметив, что со стороны станции сигнализации на окнах нет.

Быстро вернувшись в мужскую комнату, Олесь дождался стука дверей женского отделения и тоже вышел в зал с экспонатами.

— У меня столько впечатлений за день, — сказал Олесь, — что я боюсь не уснуть сегодня ночью.

— Все будет с точностью до наоборот, — ответила Нина, — сейчас я провожу тебя до квартиры, и ты уснешь как убитый. Завтра я на работе, а послезавтра…

— Отличная идея, — сказал Олесь, — встречаемся послезавтра…

Зам. главы администрации Беляевского района был украинцем по рождению, но носил русскую фамилию Васильев. Однако по фамилии к нему никто не обращался, а звали его уважительно Аверьяном Семеновичем.

Был он из бывших военных, которые в девяносто втором решили оставить службу, потому что вокруг происходило что-то малопонятное. Военные, которых раньше называли «защитниками Родины», вдруг стали «паразитами на теле народа».

Васильев уволился в запас и вернулся к себе на родину в поселок Беляевку. Здесь он какое-то время работал тренером в ДСШ, а потом во время выборных кампаний показал себя хорошим организатором и уравновешенным человеком, что было немаловажно, особенно в начале девяностых, когда процент истериков, психопатов, а то и просто шизофреников, рвущихся во власть, зашкаливал.

Так Аверьян Семенович стал заведующим организационным отделом администрации, а потом и первым замом главы.

Каждый вечер, где-то около восьми вечера, он в своем кабинете подводил итоги дня и смотрел, что ему нужно сделать назавтра в первую очередь.

Вот и вчера ему позвонили из Института государственного управления и попросили ознакомить гостя из Москвы с процессом руководства районом, плюс показать ему достопримечательности Беляевки.

Ничего необычного, Аверьян Семенович занимался этим ранее неоднократно. Но…

Вчера в Беляевке случилось ЧП поселкового масштаба. Кто-то из приезжих поколотил Горбача.

А надо отметить, что Горбач, он же Горби, был местной достопримечательностью. Нельзя сказать, что он был полным отморозком. В детстве был вполне нормальным мальчишкой, если бы в начале девяностых к его отцу не приехал двоюродный брат из Херсона. Брата звали Шамиль, но фамилия у него была Таранян.

Такие несочетаемые имя и фамилия, казалось, не давали их носителю шансов на жизненный успех. Хотя, смотря что понимать под таковым.

Поначалу ничего не предвещало беды. Брат занялся коммерцией, но быстро прогорел. Тогда он попытался стать смотрящим от одесских жуков по Беляевке. Но и тут ему не хватило то ли куража, то ли некоего авторитета, которым все же должен был обладать смотрящий за той или иной территорией.

Однако, поварившись в криминале и рядом с криминалом, он приобрел нужные связи, купил кафе возле рынка и стал успешным ресторатором. Так, во всяком случае, он себя называл. Правда, злые языки утверждали, что весь его доход вовсе не из-за деликатесных блюд и вареных раков, которые в кафе подавали к пиву особо дорогим гостям, а от неких пожертвований, которые вносили в кассу кафе, а точнее, карман хозяина, карточные игроки, приезжавшие ночью из Одессы в Беляевку поиграть.

Что касается племянника по кличке Горби, то дядя сначала взял его на работу на должность официанта, но потом понял, что тот распугает всех нормальных посетителей, и перевел в администраторы. Горби весь день околачивался в одном из залов кафе. Иногда к нему приходили друзья и подруги, но сие не возбранялось, поскольку все платили за пиво и раков.

Такая жизнь развратила племянника, он стал чаще прикладываться к рюмке. Многие посетители жаловались на него дяде, но тот не обращал на это внимания, еще раз подтверждая предположение о том, что его доходы и некий имидж питейного заведения друг с другом не связаны.

А Горби опускался все ниже и ниже. И вот вчера какой-то заезжий парень, не понимая, что Горби — неприкасаемый, заехал ему по физиономии.

Аверьян Семенович уже знал об этом из разговоров поселковых. Ему также доложили, что в администрацию на всех парусах мчится сам Шамиль Таранян.

Васильев попросил попридержать его в приемной, а сам стал производить доразведкцу инцидента, чтобы быть вооруженным информацией о случив-

шемся перед возможным просителем. Первым делом он позвонил не в больницу и даже не в милицию, а своему племяннику Коле, одногодку Горбача.

— Коля, что там произошло вчера…

— В кафе, — не дослушав его, начал племянник, — дядя Аверьян, ты не поверишь... Какой-то заезжий парень вырубил Горбача.

— Да ну, и как это произошло?

— Тривиально, тот решил взять его на понт и схлопотал.

— Горбач пострадал?

— Не очень. Парень, судя про всему, мастер этого дела. Он Горбача сначала остановил прямым, а потом двумя шлепками ладонями окончательно отключил. Так что у того никаких повреждений, разве что мозги на место встали. А то он вообразил себя здесь вторым после Бога…

Потом Васильев позвонил в милицию и больницу. Картина складывалась вполне определенная. Он уже хотел было дать команду пригласить к нему Тараняна, как зазвонил телефон, который ранее называли вертушкой. Звонил начальник Беляевского отделения СБУ…

Во время разговора с ним открылась дверь и в кабинет заглянула секретарша. Васильев замахал руками, и она скрылась.

Поговорив с представителем СБУ замглавы администрации, отзвонился секретарше, и та пустила в кабинет посетителя.

Посетителем был чернявый, начавший лысеть мужчина неопределенной южной национальности, чрезвычайно экспансивный. Он с места в карьер начал быстро говорить, иллюстрируя сказанное такими же быстрыми жестами.

— Полнейший беспредел, Аверьян Семенович, приехали синие, затеяли бузу, избили племянника…

— Откуда приехали? — перебил его Васильев.

— Из Киева.

— И сколько их было?

— Дак кто их считал!

— Но у тебя там своя служба безопасности в лице твоего племяша и его кодлы.

— Так в том-то и дело. Они племяша вырубили. А кодла его разбежалась.

— А с племяшом-то что?

— Так в больнице он.

— И какой диагноз?

— Судя по тому, как его били, перелом челюсти и сотрясение мозга.

— Ну, второго у него быть не может.

— Почему?

— Шамиль, трудно сотрясти то, чего нет.

Таранян хотел возмутиться, но что-то его остановило. То, что у нормальных людей называется интуицией, а у блатных чуйкой, сработало. Уж очень необычно вел себя замглавы.

— Дак вот, слушай сюда, Шамиль, — произнес Васильев. — Мне звонили кое-откуда, плюс я сам позвонил в больницу. Нет у твоего племяша перелома челюсти, и сотрясения мозга тоже нет. Потому что парень этот вовсе не синий. И шлепнул он твоего племяша дважды ладонью больше для острастки. И парень этот чемпион Украины, и мог бы твоего администратора убить одним щелчком, но этого не сделал. А как ты думаешь, почему?

— Не знаю, — стушевался Таранян.

— Потому что прибыл сюда для проверки жалобы на твоего племянника из самого Киева. И что мне прикажешь сейчас делать? Вместе с твоим племяшом и тобой сесть в тюрьму?

— Почему в тюрьму? — выдавил из себя ошарашенный Таранян.

— Ну, а куда должен сесть замглавы администрации района, если он покрывает преступную деятельность человека, который терроризирует поселок.

Васильев вошел в раж.

— Ты что думаешь — взял Бога за бороду? И тебе все можно? Я тебе сколько раз говорил: уйми своего племяша, люди жалуются… Да, видно, жаловались в Одессу, а потом стали писать в Киев… И ты мне про синих не заливай, парень этот из органов, по всему видно. Понимаешь, чем все это пахнет?

— Да… — подавленно заключил Таранян.

— Ну, если понимаешь, готовь после обеда раков, приведу к тебе еще одного высокого гостя, может, как-нибудь и уладим косяк твоего племянника. Лады?

— Лады. А гость оттуда? — спросил хозяин кафе и неопределенно махнул рукой в небеса.

— Оттуда, оттуда. Я думаю, после твоих раков он размякнет, и я с ним поговорю… Ты только сам к нам не лезь…

— Ну, это понятно, — согласился Таранян.

Олесь

Олесь вернулся домой поздно. Валентина встретила его приветливо.

— Ну что, гуляка, — сказал она, — не остался на ночевку у Нинки?

— Как видите, — ответил Олесь.

— Ну-ну, — произнесла Валентина…

— А что пса не слышно?

— Да что-то захандрил он, надо ветеринара вызвать, — сказал Валентина, — весь день сидит в будке и хрипит.

Сообщение о хрипящем псе насторожило Олеся. Он открыл дверь и убедился, что контрольной соринки на месте нет. Не было ее и на сумке, где хранились его вещи.

Итак, в комнате были гости. Правда, это не обрадовало его, но и не огорчило. Все шло штатно, как сказал бы его отец. Скорее всего, гости искали подтверждения его причастности к тому человеку, что прибыл или прибудет из Киева, а для этого надо было найти у него в вещах закладки. Но тех не оказалось, значит, с него либо сняты подозрения, либо его будут разрабатывать дальше.

Однако самое интересное было в другом. Те, кто осматривал его вещи, положили в сумку стихи матери другой стороной.

«Надо же, — подумал Олесь, — матушка, сама того не ведая, мне помогла».

И он стал просматривать первый лист рукописи, и снова не почувствовал в строчках близкого человека. Но от прочитанного на него накатила грусть одиночества и оторванности от чего-то своего, родного, где-то существующего, но в данный момент недоступного.

Жемчужины событий,
Страстей своих любовных
Нанизываю густо
На яркой жизни нить.
Такое ожерелье
Вкруг шеи обовьется,
Что задохнуться можно
И… некого винить.

Олесь оторвался от текста, но в ушах по-прежнему звучало:

Жемчужины событий,
Страстей своих любовных…

Он разделся и, накинув на себя полотенце, в одних плавках и сланцах отправился в душ.

Вода в баке успела немного остыть и хорошо освежила тело.

Наспех вытершись полотенцем, он вернулся к себе в комнату и обнаружил там Валентину.

— Что-нибудь случилось? — спросил он.

— Нет, — ответила она, — но может случиться.

— Что же? — спросил Олесь, хотя мог бы и не спрашивать.

— Уведет тебя Нинка, — сказала Валентина и выключила свет в комнате.

— А как же муж? — спросил Олесь, ощутив в своих объятиях полное тело зрелой женщины.

— А никак, — ответила Валентина, — он существует для тех, кто мне не нравится.

— Жемчужины событий, страстей своих любовных… — произнес Олесь.

— Что-что? — не то сказала, не то простонала Валентина.

— Все-все, — ответил Олесь.

На следующий день он проснулся поздно. Принял душ, обнаружил на столе в беседке записку с перечислением того, что он должен съесть на завтрак, обязательно разогрев на газовой плите.

Завтрак был солидный. Олесь разделил его на две половины, все, что могло испортиться на жаре, отложил в пакет и оставил в холодильнике, остальное разогрел на плите и съел. День предстоял беспокойный, и нужны были калории в запас.

Потом повалялся на кровати, мысленно прокручивая все, что должен сделать.

Он долго не мог решить, что делать с ключами. Но, в конце концов, бросил их на столик в комнате, взял сумку и вышел из дома. Пес, видимо, отошел от вчерашнего усыпления и довольно грозно тявкнул на него из будки. Олесь вышел на улицу и заметил в сотне метров «опель-омегу». Машина тронулась вслед за ним.

Но он «не заметил» наблюдения.

На автостанции купил билет до Одессы. Сел на улице на скамейку под неким навесом и, чтобы убить время и показаться беспечным тем, кто за ним наблюдал, стал читать стихи, написанные матерью.

Вечерело… И сумрак сгущался…
Теплый вечер стоял у ворот,
Где-то звонко ребенок смеялся,
И свершился большой переход

В лето, солнечным ветром взмахнувшее
В даль степей и небес синеву,
Вишней, медом, ромашкой дохнувшее,
В детство разом нас всех окунувшее,
Рай позволив узреть наяву.

Однако ни в голову, ни в сердце стихи в этот раз не шли.

Олесь еле дождался автобуса, вошел в салон и заметил, что один из пассажиров опеля поспешил следом за ним.

Если он один, то от него легко будет оторваться в Одессе, а если там его ждет бригада наружки, уйти от нее трудно. Может, сойти чуть раньше? Но если все так серьезно, то за автобусом в Одессе уже будет идти машина с сотрудниками. Нет, надо ехать до Привоза, а там...

За время поездки человек из опеля ни разу не посмотрел в сторону Олеся. И это было правильно.

«Если он один, то должен проявить некую суетливость, чтобы меня не потерять в толпе на Привозе. Если не один, то ему нужно «передать» меня наружке, то есть, сделать что-то такое, чтобы тем было понятно, кого им вести дальше».

Перед самым Привозом человек из опеля стал звонить по телефону.

«А, все проще, сейчас он сообщит мои приметы, и таким образом отпадает необходимость в «передаче».

Автобус остановился на площадке. Олесь вышел из машины и медленно стал обходить сначала близлежащие бутики, потом те, что отстояли дальше, потом перешел на открытый рынок, где продавали овощи и фрукты.

Наружки он не чувствовал, и это было плохо. Значит, либо ее нет, либо его ведут профессионально. Оставалась надежда на тот прием, который он собирался применить. Когда-то его преподы говорили, что неожиданная смена ритма движения может на какое-то время дезориентировать тех, кто ведет за тобой наблюдение. Еще раз сделав круг по бутикам, Олесь быстро вернулся на овощной рынок, перерезал толпу покупателей, выскочил на улицу, поймал левака, влез в салон.

— Седьмой километр, — сказал он.

— Что-то сегодня все едут на седьмой, — сказал водила.

— Ну вот и мы туда же, — отозвался Олесь.

Левак довез Олеся до рынка на седьмом километре.

За время дороги они познакомились, и водила сказал, что он не профессиональный бомбила.

— А сколько бы ты взял за поездку в Беляевку? — спросил его Олесь.

— Ну, триста, может, чуть больше, — ответил водила.

— Плачу пятьсот, — сказал Олесь, — если ты меня вечером отвезешь туда и обратно…

— Лады, — сказал водила, — я ночью свободен.

— Вот и договорились, ты в 21 ноль-ноль подъезжаешь к ресторану «Аркадия», знаешь, где это?

— Обижаешь, начальник, — сказал парень, — я одессит…

— И я одессит, — сказал Олесь.

— А ты не одессит, — отреагировал парень, — ты слово «одессит» произносишь по-москальски твердо, почти как «э»…

— Надо же, — сказал Олесь, — какая наблюдательность…

На рынке Олесь помотался по рядам с тряпками, несколько раз проверился. Но хвостов за собой не обнаружил.

Тогда он завернул к контейнеру с униформами.

— А вот и я, — сказал продавцу.

— Давно ждем-с, — ответил тот и изобразил на лице такое радушие, после которого покупатель уже не мог уйти без покупки.

— Что предложить?

— А вот этот полицейский вариант.

— Прекрасный выбор, — сказал продавец. — Ваш размер?

— По-старому — пятьдесят четвертый.

Продавец почесал затылок.

— Сейчас прикинем на глаз, а там примерим.

Он поднялся на второй этаж и вернулся с тремя комплектами формы.

Начали примерку. Третий комплект был Олесю в самый раз.

— Прекрасно, — сказал продавец, — шевроны спороть?

— Не надо, я сам их спорю, — ответил Олесь. — Мне бы ремешок к брюкам, и желательно пошире.

— Просьба покупателя — закон. Щас сообразим, — продавец снова поднялся на второй этаж.

Он принес несколько широких ремней.

Олесь выбрал один из них, затянул его потуже и сразу почувствовал себя мобилизованным.

— Идет, — сказал он, — упакуйте.

Продавец ловко и быстро упаковал покупку.

— Да, — сказал Олесь, — мне бы еще непромокаемый мешок найти.

— Это не ко мне, — сказал продавец, — но такие есть у Коляна — соседний ряд, второй контейнер, привет ему от меня — и он все сделает в лучшем виде.

— А как назвать?

— Меня, что ли? — спросил продавец.

— Ну да.

— Скажи, от Коляна-униформиста.

— Оригинально.

— Ничего, брат, не попишешь, Одесса…

Купив у второго Коляна непромокаемый мешок, Олесь пошел к выходу и заглянул в так понравившуюся ему вареничную.

Кондиционер работал, было прохладно и приятно.

Заказав, как и в первый раз, порцию вареников с картошкой и пол-литра клюквенного морса, Олесь обратил внимание на рекламу: такси с мобильного 838.

Съев вареники и рассчитавшись с официантом, Олесь потягивал холодный морс и смотрел сквозь стеклянные двери кафе на улицу. Потом достал мобильник и заказал такси прямо к входу кафе.

Он видел, как такси подъехало, но выходить не торопился. Еще раз осмотрел присутствующих и только потом, оставив недопитую кружку, быстро вышел на улицу и сел в машину.

— Ресторан «Аркадия», — сказал он таксисту.

Была середина дня, и пробок в Одессе не было. Доехали быстро, Олесь рассчитался с таксистом, вышел из машины и направился в ресторан. Перед входом он оглянулся. Никто за ним не шел и даже не смотрел в его сторону. И тем не менее, он, войдя в ресторан, к удивлению обслуги, прошел через подсобку и кухню и вышел со стороны черного входа. Оттуда прошел к знакомой пятиэтажке и, открыв дверь ключом, оказался в квартире Виктора Сильвестровича.

Пока не было хозяина, он еще раз примерил униформу, вставил в шлевки пояс, отрезал от бельевой веревки, которая была в ванной у хозяина квартиры, приличный кусок и соорудил что-то вроде вещмешка. Затем он принял душ и завалился спать, хотя уснуть было трудно, некий мандраж перед предстоящей операцией будоражил кровь и не давал расслабиться.

И тем не менее, Олесю удалось выспаться до прихода хозяина квартиры.

Виктор Сильвестрович Олесю обрадовался, сказал, что звонил отец и интересовался, как у него дела.

Они поужинали, поговорили, хотя разговор не клеился.

Олесь попросил взять билет завтра на любой поезд, лишь бы он не шел на Киев. Виктор Сильвестрович обещал это сделать утром и оставить паспорт и билет на столе.

— Если я вас не дождусь, — сказал Олесь, — ключи от квартиры брошу в почтовый ящик.

— Хорошо, хорошо, — ответил Виктор Сильвестрович, — пусть будет так. Отцу от меня большой привет.

Топаз

— Какая партия? — не понял Казик.

— Партия, которую ты украл у него, — Дерибан показал пальцем на Бориса.

— Саша, я первый раз слышу о такой партии, — заныл Казик, — да может, и не было никакой партии… Может, он привез один камень.

— Была партия, была, Казя, лучший шнифер в Одессе день назад вскрыл его сейф в гостинице на Дерибасовской и подтвердил, что камни были там.

— Саша, ну, может, этот шнифер и взял камешки? А… зачем же ты их там оставил?

— Это было лучшее место их хранения до сегодняшнего дня.

— Ну так он и взял их, придя туда по второму разу, а чтобы на него не подумали, вскрыл его ломом.

— А откуда ты знаешь, как он его вскрыл…

— Да я не знаю, — заюлил Казимир, — я предположил…

— Да все ты знаешь, — произнес Дерибан.

— Саша, да откуда?

— Казя, — продолжал Дерибан, — ты знаешь даже, сколько стоит заказать человека в Одессе.

— Саша, ну откуда, да и что это за расценки?

— Казя, ты сейчас отсюда уйдешь, но я заплачу за тебя полторы тысячи баксов…

— Саша, я все понял, это Владик, он меня буквально изнасиловал…

— Его адрес?

— Микрорайон Котовского… у него там шикарная квартира. Он женат…

— Мне по хрену, на каком он женат…

— Ну, Саша, не скажи…

— Когда ты ему сказал фамилию? — Дерибан кивнул в сторону Бориса.

— Сразу после того, как за ним уехал Митроха.

Дерибан повернулся к Митрохе:

— А ты…

— Я думал, что это ему нужно, — произнес Митроха, — он мне стал

баки заливать, что нужно знать о продавце все, вдруг он не специалист, а мошенник…

— Мошенник, значит, ну-ну…

— Езжай за ним, — сказал Дерибан Митрохе, — и привези его сюда…

— Саша… — заскулил Казимир, — ты не знаешь, с кем связываешься…

— Заткнись! — заорал Дерибан. — С тобой я разберусь позже, в зависимости от того, как этот хрен вернет мне камни…

— Саша, ну если твой шнифер видел камни, что же ты этого лоха не кинул?

— За него люди просили, а я — человек, а не поц с Привоза.

Дерибан взял в руки мобильный телефон.

— Але, Владик Самсонов, если брал билет на вылет из Одессы, сразу мне…

Дерибан позвонил в колокольчик.

Появился двухметровый амбал.

— Дерибан кивнул в сторону Казимира.

— В кандей, до особого…

Амбал не стал подходить к геммологу, а только повернулся к нему и смерил его взглядом с головы до ног.

Казимир поднялся с дивана и поплелся к амбалу, как кролик к удаву. Амбал положил Казимиру руку на плечо сзади и повел из офиса.

— Ну, а мы по чайку, — произнес Дерибан. — Как там Чилиндра, еще не разучился «купца» заваривать?

Но попить чайку не удалось.

Дерибану позвонили. Он долго слушал, и его непроницаемое лицо стало еще более непроницаемым.

Отключившись от абонента, Дерибан некоторое время молчал, а потом позвонил в колокольчик. Появился амбал.

— Отпусти Казика, — сказал Дерибан, — и позвони Митрохе, скажи, чтоб возвращался, отбой…

Амбал ушел, а Дерибан долго смотрел на Бориса, а потом сказал:

— Везучий ты, Топаз.

— Почему? — вырвалось у Бориса.

— Потому, что удалось тебе сделать почти настоящие изумруды, это раз…

— А два?

— А два, не успели тебя замочить деловые, чтобы шпалой поперек рельсов положить…

— Это как?

— А вот так. Камни у них? У них. Ты им нужен?

— Нет.

— Вот и я о том же.

— Ничего не пойму, — сказал Борис, хотя внутренне похолодел…

— Ну, чтоб ты лучше понял, я тебе анекдотец расскажу. Приходит еврей в ЗАГС и просит сменить фамилию с Кацмана на Иванова. Ему меняют. Через месяц он приходит и просит сменить фамилию с Иванова на Самсонова.

— Это к чему?

— К тому, что твой Самсонов — это Кацман, и он улетел из Одессы несколько часов назад.

— Быстро. И как он прошел досмотр?

— Никак он его не проходил.

— Почему?

— Потому что улетел на личном самолете Гурвица.

— А кто такой Гурвиц?

— Святая простота, — произнес Дерибан. — Гурвиц — это человек, который имеет личный самолет, который стоит под парами в окрестностях Одессы.

— А почему он стоит под парами?

— А вдруг озверевший народ Одессы захочет погромить Гурвица.

— Ну, в Одессе с ее этнической толерантностью такое невозможно.

— В Одессе все возможно.

— Да-а, — неопределенно протянул Борис.

— А ты почему не спросишь меня, как Владик Самсонов оказался в самолете Гурвица?

— Да, как он там оказался?

— Он женат на племяннице Гурвица.

— Понятно, племянница позвонила дяде и сказала, что хочет полетать над Европой.

— Нет, племянница живет в Хайфе, она позвонила оттуда и сказала дяде, что срочно хочет видеть Владика.

— А…

— Ладно, много будешь знать, никогда не состаришься.

В офисе появился Казик, которого вел амбал.

— Ты зачем его привел сюда? — спросил Дерибан.

— Ты же сказал его освободить…

— Ну, освободил?

— Да.

— Тогда дай пинка на дорожку и все… Видеть его не могу…

— Саша, — запричитал Казимир, — бес попутал, но ты же деловой человек…

— Я деловой? — взревел Дерибан.

— Саша, я не в том смысле.

— А я в том…

— Саша, но ведь я тебе нужен, это же не последняя экспертиза, в Одессе нет второго такого геммолога… а за битого двух небитых дают…

— За битого, говоришь…

— Саша, я же не в прямом смысле, я ж тебя честно предупредил, что с Владиком лучше не связываться, там за Гурвицем, да ты лучше меня знаешь, кто стоит, кавказцы, Стоян.

— Ты рамсы не путай, надо говорить Стоян и только потом кавказцы.

— Ну, извини, Саша, мы же с тобой одесситы, а Бог любит Одессу…

— Ты, пся крев, к одесситам не примазывайся, — сказал Дерибан и махнул рукой амбалу.

Тот снова положил руку на плечо Казимиру и повел его из офиса…

Как только амбал и Казимир скрылись, в офисе появился Митроха.

— Возьми его паспорт, — сказал Дерибан, езжай на вокзал и купи билет на любой поезд подальше от Одессы. Потом возвращайся.

— Так, может, я его сразу захвачу, — сказал Митроха, — чтобы по жаре дважды не гонять.

— Я его сам провожу, — сказал Дерибан, — чтобы потом у братвы базара не было, а то подумают, что я с деловыми заодно. И по пути скажи Клаве, чтобы она нам обед принесла сюда.

Клава появилась минут через пять. Была она одета так, как одевались буфетчицы в пятидесятые годы: коричневое платьишко, белый фартучек и маленький белый накрахмаленный кокошник на голове.

В руках она держала карандаш и маленький блокнотик.

— Клава, — сказал Дерибан, — что-нибудь по собственному усмотрению, но чтобы гостю Одессы понравилось.

Олесь

В 21 ноль-ноль Олесь был у ресторана «Аркадия».

Парень-левак уже ждал его. Олесь сел на заднее сиденье.

— Ты чего в форме? — спросил водила.

— Потом скажу, — ответил Олесь.

— Потом так потом, но деньги вперед…

— Годится, — сказал Олесь, — но только половину.

— А что так?

— Вдруг ты меня не дождешься.

— А ты что, на дело?

— Что-то вроде этого, надо одного козла наказать, повадился к сестре двоюродной с претензиями ходить.

— А, — ответил водила, — а я думаю, чего ты так вырядился.

— Ты в Беляевке ориентируешься?

— Мало-мало.

— Отвезешь меня в Маяки, а потом подъедешь к автостанции и будешь там ждать, не рядом, а чуть дальше, в сторону Одессы.

— А почему?

— А потому, что тебя кто-нибудь перекупит…

— Да нет, мое слово кремень…

Олесь расстался с водителем около одиннадцати вечера и целый час добирался до водозабора. Там он разделся, сунул одежду и закладки в непромокаемый мешок, привязал все это к спине и вошел в воду.

Нина была совершенно права, утверждая, что с этой стороны станция не охраняется потому, что ни один человек не в силах справиться с давлением днестровской воды, которая прижмет его к сетке и не даст возможности двигаться. И это было действительно так, если человек полностью погружен в воду, но если он погружен только наполовину, то при хорошей физической подготовке у него появлялся шанс выжить. А если иметь крепкие руки скалолаза и цепляться за сетку поверх воды, шансы возрастали вдвое.

Невероятный шум воды заглушал все иные звуки. Олесь долго настраивался, он мысленно преодолевал преграду один раз, второй… А потом вошел в воду, его мгновенно закрутило и потащило к сетке. Он не стал сопротивляться, а использовал момент кручения, чтобы перед самой сеткой как можно выше выскочить из воды. И это ему удалось, торс его был на поверхности, а ноги прижаты к сетке чудовищным напором воды.

Придя в себя после первого этапа преодоления препятствия, он стал медленно подтягиваться на проржавевшей железной сетке, с радостью чувствуя, что ему это удается. Дальше все было проще. Перебирая руками, он добрался до первого столба, на котором крепилась сетка водозабора. Там он перепрыгнул на бетонную стену водоканала, однако поскользнулся и едва не сорвался внутрь потока. После этого он сел на стену и таким образом стал передвигаться дальше.

Спрыгнув на землю уже на территории станции, он почувствовал, что снес всю кожу с поверхности бедер, но времени на страдания не было. Олесь переоделся в форму охранника и выдвинулся к одному из четырех очистительных корпусов, там улегся в траву и стал наблюдать за территорией.

Спустя час он выявил два наблюдательных поста, которых, скорее всего, никогда не было на станции в обычное время, а установили их только сегодня. Смена их прошла в час ночи. Охранники по одному ушли в караульное помещение, а на их место пришли другие.

Олесь подождал, пока вновь заступившие привыкнут к обстановке вокруг поста, и ползком пробрался к двум насосным сооружениям, там он поставил две закладки, а третью, с сигнальной ракетой, прикрепил к стене здания, функционального назначения которого не вполне понял.

Оставалось дождаться смены временных постов.

Вот один из охранников поднялся с земли и двинулся к караульному помещению. Олесь встал с земли и так же, как первый, уверенно пошел в ту же сторону. Однако, дойдя до аллеи, которая вела к зданию администрации, свернул туда. Оставалось надеяться, что в темноте, да еще и в форме, его примут за охранника, который по каким-то делам движется к проходной станции.

Наверное, так и получилось. Ему удалось добраться до окна музея необнаруженным.

Олесь толкнул ставню внутрь и к радости своей обнаружил, что щеколда изнутри так и осталась открытой. Он влез в окно, сознавая, что ему повезло еще раз, потому что на внутренних окнах музея, выходивших на территорию станции, не было сигнализации, но она обязательно должна быть на окнах внешних. Иначе зачем бы Нина ходила вчера ее отключать.

Он посмотрел на часы. До нужного времени оставалось шесть минут. Сердце стучало так, что, казалось, его слышат все в радиусе ста метров.

Он еще раз посмотрел на часы, время истекло, но ничего не происходило. Просто так выбивать внешнее окно музея было крайне опасно. Рядом находилась проходная, а там была охрана.

Олесь подождал еще немного, и тут на территории станции что-то бухнуло, раздался свист, и территория осветилась ракетой синего цвета. Все на станции вдруг ожило, и даже находящиеся на проходной охранники выскочили из помещения и, видимо, закрыв проходную на ключ, бросились к месту, откуда взлетела ракета.

Олесь выждал еще минуту, схватил стул и одним ударом вышиб раму окна музея, тут же сработала сигнализация, но он уже выпрыгнул на улицу, в несколько прыжков преодолел освещенный перед въездом на станцию участок и скрылся в тени деревьев.

Добравшись до автостанции, Олесь спрятался в тени деревьев и осмотрелся. Все было как обычно. Тогда походкой гуляющего человека он прошел чуть дальше, где стояла машина парня-левака.

Тот спал на переднем сиденье. Олесь постучал ему в окно. Парень открыл глаза.

— Просыпайся, бомбила, — сказал ему Олесь, — гривны пришли…

В квартиру Виктора Сильвестровича Олесь пришел утром.

Перед этим он позвонил из телефона-автомата в Киев и доложил руководству о местах закладки и успешном завершении операции.

Потом завалился спать.

Проснувшись часа в два, он пообедал тем, что оказалось в холодильнике у Виктора Сильвестровича, и снова набрал номер телефона парня-левака.

Тот приехал в назначенное время к «Аркадии» и отвез Олеся на вокзал.

— Как сестра? — ехидно спросил водила, когда они расставались на привокзальной площади

— Нормально, — ответил Олесь.

— Ну-ну, — многозначительно ответил водила.

Уже садясь в поезд, Олесь вытащил старую симку из телефона и вставил ту, что дал ему отец.

В купе, в котором Олесь должен был ехать, уже разместились три мужика.

Олесь, Топаз, Савелий и Павел Алексеевич

Поезд мягко тронулся, и вскоре Одесса осталась за вагонными окнами. Все в купе словно ждали этого момента, заговорили шумно, с каким-то радостным надрывом.

— А давайте знакомиться, — сказал самый пожилой, — меня Павлом Алексеевичем зовут. Я геополитик.

— А давайте, — согласился Савелий, — я журналист.

— Я вижу, все мы не украинцы, — заметил Борис.

— Почему же, — сказал Олесь, — я украинец.

— Правильней было бы сказать, — заметил Савелий, — все мы не одесситы.

— Вот это точно, — произнес Борис, — разворачивая сверток, который дал ему Дерибан.

Там были две бутылки коньяка и аккуратно нарезанные, видимо, Клавдией, бутерброды.

— А давайте выпьем, — в тон Павлу Алексеевичу произнес Борис.

Олесь, поскольку был самым молодым, сходил за стаканами.

После того как выпили по второй, а потом и по третьей, все барьеры к общению были окончательно сняты.

— А я видел вас на пляже в районе Аркадии, — сказал Олесю Павел Алексеевич.

— В Аркадии я был, — сказал Олесь и перевел стрелки на другую тему, — у нас кончилось горючее, я, пожалуй, схожу в вагон-ресторан.

— Прекрасная идея, — сказал Савелий, — а мы как раз сбросим вам наши гривны, чтобы не увозить их завтра в Россию.

И все, кроме Олеся, стали выворачивать карманы и заглядывать в кошельки.

После того как третья бутылка была принесена и выпита, возник спор о том, что такое Одесса.

— Знаете, — сказал Олесь, — мне кажется, что в любом сообществе под влиянием многих факторов начинает доминировать некая центральная идея. Она объединяет это сообщество и отделяет его от других.

— На это трудно возразить, — сказал Павел Алексеевич, — просто такие факторы сложно выявить, чтобы видеть, что именно воздействует на то или иное человеческое сообщество, куда это сообщество идет и придет в будущем. И какие факторы, на ваш взгляд, молодой человек, сформировали идею Одессы?

— Очень простые. Когда-то Одессе было предоставлено исключительное положение. И фактор собственной исключительности с той поры пронизывает все сферы жизни и все социальные слои.

— Плюс фактор контрабанды, — поддержал Олеся Савелий. — Ведь товары после таможни становятся дороже везде, но не в Одессе.

— Ну да, — продолжил Олесь. — Отсюда небывалый рост состояния тех, кто на этом зарабатывал, а также всех, кто кормился вокруг тех, кто зарабатывал, и даже тех, кто паразитировал на тех, кто имел незаконно заработанное.

— Во-во, — сказал заплетающимся языком Борис, он выпил больше других, поскольку начал пить еще с Дерибаном. — Отсюда особое положение бандитов в Одессе. Они вроде как и не бандиты, а лишь те, кто просит поделиться незаконно заработанным.

— И в таком обществе, — торжественно произнес Савелий, — все начинает подчинятся этой идее. Это как общий поток, а те, кто не подчиняется, начинают испытывать давление этого сообщества.

— Совершенно верно, это как плыть или пытаться плыть против течения, — произнес Олесь, и у него заныли ободранные напором днестровской воды бедра и голени, — да-да, и если вообще идешь против течения, ты сначала лишаешься сил, а потом тебя либо ломает, либо уносит общим потоком.

— Друзья, — сказал Павел Алексеевич, который был старше всех в купе и чувствовал себя неким гуру, — мне почему-то кажется, что мы все тем или иным боком не вписались в некую одесскую доминанту.

— Почему? — удивился Борис.

— Потому что мы с вами обсуждаем то, что коренные одесситы никогда не обсуждают, а принимают как данность.

— Разумеется, ведь вы даже теперь произносите слово Одесса так, как произносят его в России. То есть, с твердым «е», почти «э». А это, как говорят в той же Одессе, две большие разницы, — сказал Савелий.

— Да какая разница, кто как что произносит, — возразил Борис, — важна с-суть…

— А вот сейчас мы эту суть сформулируем, — сказал Павел Алексеевич.

— Как? — спросил Борис и так резко качнулся, что чуть не упал на сидящего рядом Савелия.

— Весьма просто, — ответил Павел Алексеевич. — Жри сам и давай жрать другим.

— Фу, как не интеллигентно. Может, сказать проще: живи сам и давай жить другим? — поправил его Борис.

— Нет-нет, все гораздо тоньше, — сказал Савелий, картавя. — Давай жрать другим, чтобы тебя не сожрали, а потом уже жри сам. Это знаменитый еврейский принцип, который позволил им не только выжить в чужой, фактически русской среде, но и заразил всех прочих. А звучит он так: это Леве, это Боре, это Шиме, а это мне. В нем глубокий смысл. Прежде чем откушать самому, посмотри вокруг, сыто ли твое окружение. И ты избавишь себя от многих неприятностей.

Уснули часам к двенадцати. Все понимали, что выспаться им не удастся, но все это было ерундой по сравнению с тем, что могло их ожидать в Одессе.

Крепким сном спал Олесь. Он выполнил поставленную руководством задачу и успешно ушел после завершения «диверсии».

Спал Савелий, который в день похищения материалов сумел утром незаметно сбегать на почту, за бешеные деньги ксерокопировать материалы и отправить их в Москву.

В пьяном полусне метался на своей полке Борис.

Он не был огорчен тем, что произошло с ним в Одессе. Все сложилось как нельзя лучше, воровской телеграф доведет информацию о похищении камней до Карлаги, и тому ничего не останется, как снять претензии с Бориса.

Пройдет несколько лет, многих левобережных уже не будет в живых, поскольку век бандитов короток. Борис найдет способ продать заначенную часть той партии изумрудов, которые по своим параметрам не уступают природным.

И только Павел Алексеевич не спал.

В споре он участвовал формально, чтобы поддержать беседу попутчиков.

Он мог аргументированно разбить все доводы попутчиков относительно идей, на которых якобы стоит Одесса.

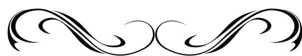
Идеи, о которых говорили Олесь и Савелий, лежат на поверхности.

Они, по сути дела, основа существования и выживания бытового уровня. Так формулирует свои парадигмы малое, пытаясь выжить в большом. На самом деле идея Одессы не в этом. Одесса возникла как временный форпост на пути «ужасающей поступи империи», как сказал когда-то гениальный малоросс Гоголь. Следующим городом на этом пути должен был стать Стамбул. Но империя задержалась на этой стороне Черного моря, и Одесса стала расти и развиваться под влиянием мощи, которую вливала в нее империя. И уж потом, на этой невидимой, но фундаментальной основе взросли Одесса бытовая, Одесса греческая, Одесса еврейская, Одесса криминальная и множество других маленьких одесс.

Развал СССР ликвидировал эту основу и ее составляющие. Из Одессы незаметно вынули стержень, на котором она стояла и на котором держались маленькие одессы.

И хотя на первый взгляд с девяностых ничего не изменилось, и даже, наоборот, эти одессы расцвели буйным цветом, однако расцвет этот — начало конца. Маленькие одессы допивают соки Одессы большой, значения которой так никто и не понял.

А именно эту Одессу любил Бог, потому что именно она должна была сыграть значительную роль в его планах. Но планы Бога недоступны человеческому пониманию.



Владимир КАРИЗНА

Вновь надеждой повеет

* * *

Бывают же на свете вечера,
Когда все необычное такое —
Как будто от настоя пряных трав
Душа счастливой полнится тоскою.
Бывают и такие вечера,
Что все буквально — будто палка в спицах:
И солнце — словно черная дыра,
Залетная,
как соловей,
зарница…
Ах, черт возьми!
Да мир же не кончается,
Ведь я-то не подбитый самолет,
Что чуть взлетит —
тут же опускается
В губительное марево болот!
Я и не скрипка, чтоб на мне играли
То грустный, то веселенький мотив.
Я не приемлю всякий негатив —
Но я не шут на сельском карнавале!

Я скрипачом хочу быть, а не скрипкой,
Хочу играть мелодии свои,
Чтоб радостно шалели соловьи,
Что шар земной вращается без скрипа.

Чтоб весь простор ту музыку ловил,
И пьяный гром смеялся переливами,
Чтоб люди были —
словно соловьи,
Чтоб люди были —
как весна —
счастливыми!

* * *

Все тропинки зима замела,
Небо снежное с полем свела,

Посиневший, погреться полез
В кучковатое облако лес.

Ни озер не видать, ни реки,
Ни краснеющих прутьев ракит.

Но гляди: подле сосен-сестриц
И зимой слышен голос синиц,
И родник под сугробом не спит —
Словно летом, бурлит и звенит…

Да и сердце порой ледяной
Бьется так, как когда-то весной!

Простая философия

Речка бьется о берег,
Да взобраться не может, —
Разрушает тот берег —
И мелеет сама.

Сказочная скрипка

Не думайте, что просто написать
Веснянку, чтобы сразу подхватили
Ее и пчелы, и веселый сад,
И на ночном услышали светиле.

Когда строка забьет живым ключом,
Тогда душа — не золотая рыбка,
А сказочная огненная скрипка,
Где сам поэт — не мастер, а смычок.

Утро на Нарочи

Неспакой за цябе, зямля мая,
За твой ураджай, спакойны сон,
За дрэва кожнае ў гаях,
За веснiх песень перазвон…

Максим ТАНК

Тут он ходил, творил
И часто на ночь
Раскладывал костер,
Чтоб день не гас.
Он —
        есть
                из родников бессчетных
Нарочь,
Что бьется в сердце
                                каждого из нас.

А чистота и глубина такие,
Что даже суховей
коль долетит,
И даже, может, большая стихия, —
Их ясности вовек не замутит.

Его строфа —
тропа
народной доли,
Что ни продать вовеки,
Ни купить.
Ах, как нам не хватает этой воли,
Что звонких рифм выстраивала нить!..

Вон лодка показалась —
не иначе,
С ночлежных тоней выплывает он.
И, сердце захлестнув
волной горячей,
Надежда бьется
с ветром в унисон.

И сосны загорелые,
и крики
Счастливых чаек
над водой летят.

Как маршальские звезды —
солнца блики
В колышащейся Нарочи блестят…

Бывшему коллеге

Говоришь:
«А кого тут коснулось?!»
Не доказать тебе,
Хоть бейся об стену
Лбом.
Да земля твоя
Перевернулась:
Ты был человеком,
А стал у доллара рабом.

Высота

Я знаю:
Мой час не пробил,
Но битва ведется всерьез.
Я в комнате —
словно в окопе,

Где нужно
Подняться в рост.

На самом
переднем крае,
Где пули,
как осы,
Звенят.
Тут слышно,
Как черные стаи
Свободу народов бомбят.

Мне слышно отсюда,
Как где-то,
От боли срываясь на крик,
В рыданьях
заходятся дети,
Сиротами ставшие вмиг.

Я слышу
Зимою и летом:
Не зная
ни ночи,
ни дня —
Ракеты,
ракеты,
Ракеты,
И все они —
На меня…

Мне мужества нужно немало.
Мне нужно,
Чтоб крепла рука.
И каждое слово стреляло,
Стояло в строфе,
Как чека.

Я знаю:
сдержу,
одолею,
Поднявшись в кромешном аду, —
Но сдать
Ни за что не посмею
Святую
Свою
Высоту!

Перевод с белорусского Андрея ТЯВЛОВСКОГО.

Максим ИВАНОВ

Призрак фуги

Повесть

1

В первый раз я влюбился студентом — но не в однокурсницу или девушку моих интересов, а в продавщицу на Комаровском рынке. Это была девушка сумасшедшей красоты — каждый раз, когда я подходил к торговому месту Аллы, у меня спина покрывалась потом и дрожал голос, а когда я решил, наконец, познакомиться, то и спросить ни о чем толком у нее не мог, не то чтобы пошутить (хотя нарочно сделал круг по Комаровке, репетируя фразы и настраивая голос на нужный тон). Она смотрела на меня, как на идиота, не понимая, чего я от нее хочу после того, как купил портмоне, — в то время как с каждой новой своей глупой фразой я влюблялся в нее все сильнее и безнадежнее. С тех пор ни она обо мне, ни я о ней не узнали ни на йоту больше, хотя однажды мы даже сходили в Ботанический сад, где я не нашел ничего лучшего, чем показывать ей фотографии, сделанные моим другом, начинающим фотографом, думая, что восторг перед его мастерством перекинется и на меня. Но глядя на эти фото с силуэтами костелов в сумерках, с огромными соснами, рухнувшими в реку, со взлетающими с воды лебедями, Алла только пожимала плечами и по-прежнему неподвижно смотрела в какую-то особенную даль, которая, казалось, никогда не выпадала из ее обзора. Я не унялся — и повез показывать ей замок Радзивиллов, о котором тогда, в девяностые годы, много говорили, но где мало кто бывал. Два часа мы тряслись в электричке, потом еще двадцать минут в ржавом автобусе до Несвижа, чтобы погулять по парку возле замка (в котором был санаторий), поесть взятых в дорогу бутербродов с вареной колбасой и выпить чаю из термоса в беседке на равелине. В этой беседке она и объявила мне, что у нее есть парень и что шансов у меня, в общем-то, никогда и не было.

Через две недели она уволилась с рынка, но в справочном бюро я узнал ее адрес и еще целых два года раз или два в месяц ездил к ее дому на улице Якубова. Всегда одним и тем же маршрутом в темное время суток подходил я к девятиэтажке, где она жила на первом этаже, и подолгу стоял под окнами, ожидая, что вот-вот промелькнет ее тень на кухне или в гостиной, — и раза два или три мне на самом деле показалось, что я видел ее, такую красивую, такую близкую, что у меня нечеловечески начинало щемить сердце. За этим-то щемлением я и ездил туда, потому что больше рассчитывать мне было не на что. Через два года я случайно увидел ее с парнем — это был какой-то полуборов-полубульдог, невысокий, с заплывшей жиром спиной, переходящей в затылок, с тяжелой челюстью и маленькими злыми глазками. В один миг я освободился от своего наваждения и тотчас же, как только ощутил вкус свобо-

ды, поклялся себе, что никогда в жизни больше не буду ни к кому и ни к чему привязан, не буду строить долгосрочных планов, ставить труднодостижимых целей, и вообще — не буду цепляться за эту жизнь настолько, чтобы было жалко когда-нибудь с нею расстаться. Я больше не склонялся былинкой перед малейшим порывом ветра, не усматривал зловещих знаков судьбы в каждой ничтожной мелочи. Долгие годы я вообще не влюблялся, хотя девушек менял как перчатки. Я просто жил как жилось, и прошло почти двадцать лет, прежде чем жизнь, с ее ожиданием счастья, любви и чудес, с желанием познавать, создавать, строить и восторгаться, вернулась для меня на прежние рельсы.

Женился я тогда, когда понял, что вновь родившееся во мне желание дышать полной грудью сильнее опасений того, что моя семейная жизнь повторит бессмысленное отбывание срока на земле моих родителей. Дача, телевизор, подъем на работу, магазин, рассада на подоконнике, домашние тапочки оставили в моей душе сотни несмываемых следов, заполненных зловонной жижей безысходности. Не было в моем детстве ничего наводящего бóльшую тоску, чем те минуты, когда, возвратившись из школы, в вечных осенне-зимних сумерках, заполнявших комнату, я включал единственный работавший тогда телевизионный канал, передававший позывные «Тэлестудыі “Ветразь”», и садился в кресло, не зная, к какому из ненавистных дел приступить в первую очередь. В холодильнике меня ждал обед, начинавшийся с супа харчо (почти всегда я тайно выливал его в унитаз), на письменном столе — домашнее задание, которое я никогда бы не делал, если бы не боязнь получить плохую оценку. Приходили с работы отец и мать — и тотчас появлялось какое-нибудь поручение по дому; не успевал оглянуться — наступал ужин, а за ним отбой, потому что наутро нужно было в полседьмого вставать в школу. И так год за годом. По сути, это все, что я запомнил из своей жизни с родителями в то время, когда она зависела от них, и разница между ними и мной виделась мне лишь в том, что если у меня еще был шанс уцепиться за выступы на стенах пропасти, в которую я летел со скоростью жизни, то у них, я подозревал, такого шанса не будет уже никогда, потому что существование, подобное моему, только на свой, взрослый манер, было выбрано ими добровольно и выглядело как главный этап их присутствия на земле.

Будущая моя жена работала учительницей математики, подрабатывая репетиторством, причем ко времени нашей встречи репетиторство уже отодвигало на второй план школу с ее бесконечными нагрузками, разнарядками, отчетами, дурами-завучами и маленькой зарплатой. Она была из тех вечно юных учительниц-практиканток, которые, сколько бы ни работали, никогда не превратятся в многоопытных мегер, испепеляющих класс ястребиным взглядом и подавляющих его начальственным ором. Ее большие светло-серые глаза, всегда словно искавшие поддержки в собеседнике, ее замедленные движения и тихие и одновременно отрывистые интонации в неожиданно высоком голосе, разумеется, не были оценены ни учениками, ни руководством школы. В первый раз мы встретились с Аленой в маленьком кафе напротив парка Янки Купалы, владелец которого устроил под высоким потолком дополнительный этаж. Сидя за игрушечным столиком у чердачного окна, глядя на промозглый пейзаж с плавающими в лужах огромными алыми листьями клена, мы проговорили с ней три или четыре часа, хотя единственное, что я запомнил из этой беседы, был ее взгляд, тогда еще такой непривычный, — вернее, то, что я увидел в этом взгляде, — робкое, свежее, сумеречное, скандинавское лето

ее души. Мы пошли через парк, то и дело останавливаясь и прижимаясь друг к другу. Никогда не забуду, как она в первый раз обняла меня там, в глубине парка, — ни одна женщина до этого не вкладывала в объятия столько сокровенного, какого-то ускользающего, волшебного смысла. Как по-настоящему прекрасная мелодия состоит не из одного только ладно скроенного мотива — в ней чувствуется и глубина подачи, и одухотворенность исполнения, а иногда и вся непостижимая ценность бытия, — так и образ Алены после нашей первой встречи наполнился для меня дополнительным, высшим смыслом, подсказывавшим, что передо мной не просто красивая женщина — передо мной моя жена.

Я загорелся каким-то маниакальным желанием сделать ее счастливой: ошеломлял ее своей нежностью, делал дорогие подарки, возил ее в такие места, в которых она давно и безнадежно мечтала побывать. Через полгода мы поженились, а еще через год у нас родились близнецы — Миша и Антон, — и с тех пор я уже не сомневался в том, стоит ли ценить эту жизнь. Как бы пафосно ни звучало, но, хотя я и раньше не отличался особенной склонностью к зверствам или подлости, после свадьбы и рождения детей характер мой стал мягче — я сделался строже к себе и одновременно снисходительнее к другим. Как мог я, например, наорать на сотрудницу из моего отдела, зная, что у нее двое детей и муж-неудачник, если завтра в ее положении могла оказаться моя жена? Когда у тебя появляются близкие, твоя ответственность перед ними порождает заинтересованность в справедливом течении дел во всем мире, потому что тебе самому в нем есть что терять. Мне казалось, что судьбы наших детей догоняют наши судьбы точно так же, как догоняют друг друга голоса в фуге, составляя вместе одно большое полифоническое произведение, смысл которого нельзя растолковать, можно лишь безошибочно почувствовать. В мире постоянно гремят войны, свирепствуют болезни, бушуют землетрясения и цунами, но эта миллиардоголосая фуга, подчиненная какому-то тайному замыслу, тысячелетиями не затихает, только становится громче, и слышать хотя бы малую часть ее в себе и в своих детях, наверное, и есть самое настоящее счастье, которое никогда не иссякнет и не надоест. И пускай через два-три года после свадьбы слух мой пообвыкся в этой новой для меня музыкальной среде, а в чем-то, может быть, и притупился, пускай все больше времени я стал отдавать работе, — главное действие моей жизни происходило в семье и для семьи, которая, как Кощеева тайна, спрятанная в яйце и в иголке на далеком острове, где бы я ни находился и о чем бы ни думал, оставалась единственным залогом моего полнокровного, осмысленного существования в этом мире.

Больше всего я любил субботние и воскресные утра, когда вся наша семья была в сборе. Алена вставала часов в семь утра, чтобы успеть испечь блинов к завтраку, которые все мы, включая малышей, уминали просто в промышленных объемах — сначала с глазуньей, потом с вареньем. После завтрака, не помыв посуду, не заправив кровати, разбросав одежду по квартире, мы всей гурьбой загружались в машину и ехали куда-нибудь — в игровую комнату, в парк, за город, за границу, — словом, туда, где чувствовали, что сегодняшний день будет интереснее, чем вчерашний, где главный мотив зарождавшейся в нас фуги не стоял на месте, развивался и звал жить дальше… Здесь, подобно Фаусту, я готов воскликнуть: «Остановись, мгновенье!» — но кто и когда в этом мире смог докричаться до небес? Жене моей было тридцать три, мальчикам — по четыре года, когда, возвращаясь из такой вот воскресной поездки, по просьбе жены я высадил ее с детьми у торгового центра недалеко от дома,

а сам поехал по делам до вечера. Вечером двор был полон детьми, но Алены с малышами среди них не было. Не увидел я их и дома, и как выяснилось, как прогремело вскоре немыслимой, невозможной вестью, не суждено мне было увидеть их уже никогда, потому что не успели они за час перед этим выйти из торгового центра, как на тротуар, отделенный от проезжей части невысоким бордюром, вылетела легковушка с потерявшим сознание водителем и разом оборвала три самые дорогие мне жизни.

Когда суета опознаний, расспросов, прощаний и похорон была позади, когда отзвучали утешения родственников и друзей и последний из них закрыл за собой дверь, единственное, что я почувствовал, оставшись один, была беспощадная, кромешная тишина, которой я никогда раньше в своей жизни не слышал. Светлыми вечерами в этой мертвой тишине бродил я из комнаты в комнату, глядя на игрушки, разбросанные по детской комнате, на посуду, на продукты, на полотенца, на шампуни, на одежду в шкафу, на все, чем еще вчера пользовались три человека, жизни которых намертво были сплетены с моей, — и не знал, что делать со всеми этими вещами, с мебелью, с квартирой, со всей жизнью моей, катившейся теперь по инерции, как колесо, оторвавшееся от искореженного автомобиля. Иногда казалось, что еле слышная музыка исподволь ищет путь к моему сердцу, но тотчас какая-нибудь нелепая ситуация (например, приглашение к следователю во вторник в семнадцать ноль-ноль, когда я поймал себя на мысли: «Как я смогу? Мне же мальчиков везти в бассейн!») многовольтным ударом тока напоминала, что отдаленные наигрыши привычной, будто бы своим чередом текущей жизни — не более чем эхо, в котором никогда не прозвучит новых мелодий. В суде над водителем из всех свидетельств можно было сделать вывод, что в аварии не виноват никто. Когда-то его действительно мучили какие-то приступы, но последние лет десять, по его словам, он был совершенно здоров и каждый раз легко проходил медосмотр и получал справку с допуском к вождению. Ему дали пять лет колонии общего режима за убийство по неосторожности, а я стал ждать какого-то другого — как мне представлялось, главного суда, на котором после возвращения убийцы из тюрьмы мы должны были с ним встретиться и о чем-то раз навсегда договориться.

Время лечит даже самые тяжелые раны, и понемногу я опять стал интересоваться новостями — политикой, войнами, событиями на работе, слетал в отпуск, продал, купил и снова продал автомобиль (никогда уже не сяду за руль), сделал ремонт в квартире. Часто мне снятся сны, в которых Алена, Миша и Антон выходят из могилы, и я показываю им нашу отремонтированную квартиру, везу в домик на Мадейре, где снимал мансарду у пенсионеров, — и подвожу их к живой изгороди на краю двора, за которой в окружении громадных, грубо отесанных скал серебрятся тысячи километров океана. А когда просыпаюсь, вся жизнь моя, весь мир, все события его, исподволь начавшие было меня волновать, кажутся искусно сотворенной бессмыслицей, напоминая длинную, красивую оперу, сюжета которой не хочешь знать, потому что со стопроцентной вероятностью в основе его лежит предсказуемая, нелепая мелодрама. Через два с половиной года в городском автобусе я встретил виновника аварии. Думаю, он заметил меня первым, потому что слишком уж напряженно, слишком заинтересованно вглядывался в туман за окном. Я догадался, что вышел он по амнистии. В первую секунду мне стало неловко оттого, что я смущаю его, захотелось отвернуться и выйти из автобуса, потом — выволочь его из салона, повалить в грязь и избить до смерти, но, пока доехал до следующей остановки, я отпустил его в своем сердце навсегда.

2

С первых классов школы, с первого столкновения со взрослым, задолго до него созданным и обустроенным миром, Сашу не покидало ощущение, что все вокруг объединены каким-то тайным сговором, благодаря которому подготовлены к жизни намного лучше, чем он. У кого-то из одноклассников были старшие братья, у кого-то соседи-учителя, у кого-то родственники за границей, и вся эта армия подсказчиков по первому требованию снабжала своих подопечных ответами на главные их вопросы, предупреждала все их ошибки и необдуманные поступки, в то время как Саша каждый новый вызов судьбы встречал открытой грудью и всякую общемировую несправедливость переживал как личную трагедию. Он был лучшим учеником в классе, но из школы вышел даже без серебряной медали, потому что не знал о каких-то негласных правилах заблаговременной договоренности с учителями. Университет он окончил в конце девяностых годов по специальности «экономист», но при этом был отнюдь не из тех экономистов, которые, учась в последних классах школы, хорошо знают, с чего начать свой бизнес и как потом его развивать, пока где-то там будут сдаваться экзамены и защищаться диплом. Он искренне полагал, что знание законов экономики позволит ему быстро встать на ноги и зажить настоящей взрослой жизнью, — а тут вдруг выяснилось, что со своими академическими мозгами и красным дипломом он тысячу лет никому не нужен и что вокруг без дела слоняются толпы таких же, как он, за счастье почитающих получить место специалиста в НИИ с зарплатой пятнадцать долларов США в месяц.

Саша пошел работать в НИИ, а его однокурсник, во время учебы почти не появлявшийся в вузе, устроился к знакомым арабам, державшим ларьки на Комаровском рынке. Этот однокурсник сам был и продавцом, и бухгалтером, и грузчиком, работая за шестьдесят долларов с восьми утра до восьми вечера без выходных. Саша завидовал ему. Через год однокурснику подняли зарплату до восьмидесяти долларов, а Сашу взяли к нему помощником за пятьдесят. С завидной энергией он пресекал все попытки продавцов по мелочам обворовывать хозяев, а когда через два месяца понял, что никакой перспективы ни у него, ни у коллеги на этой работе нет и не будет, сам уже пользовался любой возможностью нахимичить, считая, что украсть у тех, кто отбирает твою свободу, не грех. Спустя год на однокурсника напали из-за угла и отобрали часть выручки, которую он нес в офис, — четыре тысячи долларов, — и Саша долго честил себя отборными словами за то, что не догадался показать арабам этот фокус в своем исполнении.

За два года работы на рынке Саша так и не придумал, чем займется, когда оттуда уйдет. Хорошо было бы накопить с зарплаты и открыть свое дело — например, поставить хотя бы один такой же ларек, как у арабов. Но с его зарплатой копить бы ему пришлось не один год; а во-вторых, он видеть уже не мог этих продавщиц с облупившимся лаком на ногтях, эти картонные ящики со всякой дребеденью, эти лужи в проходах между ларьками, через которые он прыгал с утра до вечера. Неужели всю свою юность он готовился торговать зубной пастой? Будущее его представлялось ему на посту руководителя какого-нибудь крупного предприятия, где он будет проводить в жизнь разработанный им неожиданный, дерзкий бизнес-план. Он видел себя на совещании в просторном кабинете, где взгляды сотрудников устремлены в его сторону, а вот он уже дает интервью для телевизионной программы, а вот здесь — путешествует по городам южной Италии. Черт возьми, откуда берут

деньги эти проходимцы, шныряющие по заграницам, покупающие машины и открывающие бизнес, когда вся страна получает по пятьдесят долларов в месяц? На самом деле ответ был прост, и Саша хорошо знал его: большие деньги добывают воровством и обманом. И подвернись случай безнаказанно объегорить арабов, он воспользовался бы им без колебаний, потому что без четырех тысяч долларов хозяева не обеднеют, в то время как деньги эти за короткий срок могли раскрутить маховик его забуксовавшей под весенним дождем судьбы.

На Пасху однокурсник выбил для себя первый за три года выходной, предупредив хозяев, что, как христианин, в этот день работать не будет. Саша объявил то же самое, хотя, если честно, не чувствовал себя никаким христианином. В тот день он до обеда провалялся в постели, тщетно пытаясь проспать дольше обычного, а назавтра взял и уволился в никуда — и два или три месяца был просто счастлив. Правду говорят, что настоящее счастье — не в самом счастье, а в его ожидании. И Саша верил в свои силы. Ему казалось, что для того, чтобы не стоять на месте, он может делать теперь все что угодно, главное — не возвращаться на рынок. Чтобы поддержать штаны, он устроился ночным сторожем в физкультурно-оздоровительный центр. Работа его была простой: дождавшись, пока все уйдут, запереть все выходы и лечь спать. Конечно, он не спал: параллельно стал пробовать себя в самых разных профессиях — нанимался продавцом садовой техники, администратором съемочной группы, распространителем средств для похудения, менеджером по продажам водопроводных фильтров, сборщиком данных для адресного каталога, агентом по недвижимости — но, вопреки всем своим ожиданиям, на каждом новом фронте, предлагаемом ему жизнью, терпел неизменное поражение.

Работая агентом по недвижимости, например, он должен был показывать покупателям выставленные на продажу квартиры (внушая им, что они не смогут посмотреть квартиры без него), и если квартира продавалась с помощью его агентства, мог рассчитывать на сумму, равную десяти месячным зарплатам сторожа. Он воспрял духом — участвовал в переговорах, сбивал цену, с видом знатока объяснял покупателям достоинства и недостатки того или иного жилья, — словом, чувствовал эйфорию от вовлеченности в новый, пропитанный запахом больших денег мир. Но все его старания в итоге вылились в какой-то парад разочарований. Первый клиент, просмотрев шесть или семь квартир и определившись с покупкой, на заключение договора не пришел и перестал отвечать на звонки. Работа с другим закончилась в офисе у какого-то частного адвоката, где после сделки Саше объявили, что расплатятся с ним тогда, когда он подыщет новую квартиру вместо того бомжатника, который сейчас подсунул. Третья покупательница, которой Саша показал с десяток квартир, в конце концов купила квартиру, предложенную другим агентством, а ему в благодарность за работу подарила коньяк и конфеты. Четвертая недели три перебирала вариант за вариантом, а когда выбрала, то сговорилась с продавцом и обставила все в обход Саши. Через три месяца он затащил-таки на предварительный договор молодую пару, продававшую большую однокомнатную квартиру, чтобы взамен купить хрущевку и получить на руки разницу в цене, но, насмотревшись на настоящие хрущевки, молодые люди к затее охладели и договор расторгли.

Казалось, еще немного — и он возьмет судьбу за хвост, но злодейка оказалась скользкой болотной гадиной, каждый раз легко расстававшейся с хвостом. Ему было двадцать шесть. У кого-то из сверстников был свой бизнес, любимая работа, многие ездили на собственных автомобилях, кто-то уже

строил квартиру, в то время как Саша, подававший столько надежд в школе и университете, был всего лишь сторожем на проходной бассейна и прятал лицо за газетой, завидев знакомого посетителя. Он собирался уже присмотреть для себя какое-нибудь новое — двадцать пятое — занятие, когда неожиданно его пригласил в кабинет директор агентства, протянул какой-то потрепанный листок и тоном заговорщика произнес: «Обойди квартиры, Александр. Может, кому помощь нужна. Может, кому дорого коммуналку платить за трешку, а за домик в деревне — в самый раз? Мы поможем, а ты заработаешь». Саша почувствовал себя пешкой, которую используют в какой-то грязной игре, но от безысходности согласился. Через три дня, наведавшись к нескольким неплательщикам, он призадумался. А еще через неделю уже сам срывал с разных досок позора в ЖЭСах списки должников и назначал встречи участковым милиционерам, которые охотно соглашались ему помочь и не только указывали адреса алкоголиков и тунеядцев, но активно выбивали из них нужные обещания.

Директор предложил еще поискать одиноких пенсионеров, которые могли написать на свою квартиру завещание. Саша смекнул, что в отличие от переселения алкоголиков, где после тщательной подготовки нужно было организовать целую серию сложных сделок, с наследством он мог провернуть все и без агентства. Нужно было только найти по-настоящему одинокого и одновременно адекватного старика. Он стал выдавать себя за представителя исполкома — ходил по дворам с кожаной папкой под мышкой, выслушивал жалобы людей, проверял, как они живут. То и дело он останавливал на улице мужчин с красноречивым оттенком лица, сборщиков макулатуры и просто потертых старичков и расспрашивал об их нелегкой судьбе, так что через месяц-другой его уже хорошо знали в гологастрономных тусовках нескольких микрорайонов, где его называли «командиром» и пробовали сшибать мелочь «до получки». В одной из таких компаний он встретил тихого макулатурщика Толика и его бывшую жену Галю. В свои сорок с небольшим они уже потеряли квартиру и жили в разных подвалах, но продолжали дружить и встречаться. За пятьдесят долларов «с выручки» Галя пообещала отвести его к одной особенной старушке: «Как раз такая, какую ты хочешь, командир! Кто только к ней не подкатывал: дворничиха наша, алкоголичка, Виталик, начальник приемного пункта, сантехник из пятого дома, да сам мент участковый — всех отшивала и тебя отошьет!» Быстрым шагом, как партизанка, Галя долго вела его вдоль панельных домов с полуобвалившейся керамической плиткой и отсыревшей штукатуркой на фасадах. Наконец подошла к окошку на первом этаже и громко постучала. Минут через пять приоткрылась подъездная дверь и показалось испуганное лицо пожилой женщины, цвет кожи, глубина глаз, оттенок волос которой говорили далеко уже не о поздней осени, а скорее о полярной зиме жизни. Одной рукой старушка опиралась на костыль, другой боролась с дверью. Она не сразу поняла, о чем ее спрашивают, и когда Саша громко и членораздельно повторил вопрос, неуверенно ответила: «Валя».

Саша побывал в квартирах, до потолка заваленных хламом, и в совершенно пустых, в которых было продано все, кроме старой кровати и газовой плиты; пускай это были гнезда алкоголиков, притоны, бомжатники — в них кипела жизнь: кто-то приходил, уходил, смеялся, плакал, дрался. Квартира же старушки была обычным тихим жильем: в ней никто ничего не разбивал, не разбрасывал, нарочно не пачкал. Казалось, свой вид и запах она приобретала десятилетиями, по мере углубления одиночества, замкнутости и беспомощности ее хозяйки. И как в древнем городе археологам один за другим открываются исторические

пласты разных эпох, так и здесь без труда можно было определить возраст тех или иных явлений, внушавших трепет: огромная, сверкающая сеть паутины в углу гостиной плелась не меньше года, исчерна-сизая постель со сбившимся комом одеяла не стирана была лет десять, канализация в туалете, наверное, не работала никогда. Месяц назад дворничиха украла у нее пенсию, и весь месяц баба Валя питалась одним жидким супом. Какая-то Лариска забрала платья из шкафа. Сантехники приходили чинить туалет и все шарили глазами, выпытывали про квартиру. Спина вот здесь болит, нога вот здесь, ходить невозможно. Ошеломленный, в первый день на все жалобы старушки Саша качал головой и все брал на заметку, а потом рванул в магазин за продуктами. Когда через два дня он пришел к ней второй раз, она его не вспомнила.

Вспоминала она, в основном, отдаленные события, причем рассказывала о них так, словно они происходили на прошлой неделе: «Грыша, трактарыст, кажа: Валя, сайдзёмся, будзем жыць. Не паслухала». Два ее брата погибли в войну, а из родственников остался только племянник в Острошицком Городке. «Прыехаў — аддай хату! Ваенны, ды, вой-вой, п’е!» Саша подумал, что племянника этого, может быть, и в живых-то уж нет. На улицу старушка не выходила — пенсию ей приносила почтальон, продукты — работник социальной службы, та самая Лариска. Но Лариска покупала ей крупы, хлеб, молоко — и покупала на деньги из ее пенсии, а Саша стал приносить хоть и немного, но в подарок, и всегда что-нибудь особенное: йогурт, детское питание, сгущенку. Баба Валя жаловалась на боли в суставах — он привел к ней доктора, который поставил диагноз «артрит» и выписал таблетки. Таблетки не особенно помогали, тогда Саша предложил старушке лечь в больницу. Она долго думала и неожиданно согласилась. А за два дня до назначенного срока он пришел и с порога выпалил: «Не хотят класть. Денег просят, — но тут же успокоил:— Еще поговорю с ними. Может, уладится». Прошла еще неделя, но ничего не уладилось, потому что все теперь очень дорого и старики никому не нужны. Тогда, глядя куда-то поверх ее головы, Саша произнес: «Есть один вариант. В больнице должны быть уверены, что за вас заплатят. Врачи сказали: пусть напишет завещание на квартиру — тогда сразу кладем».

В назначенный день приехал нотариус и, побеседовав со старушкой наедине, заверил завещание. «Сказали, что надо лечить на дому, а потом посмотрят, класть в больницу или нет», — сказал ей Саша в следующий раз, и баба Валя уже была рада, что остается дома. Он стал водить к ней попеременно двух докторов (пусть видят, что старушка болеет и все тут чисто), которые осматривали ее и выписывали лекарства, отмечая, впрочем, что таблетки — это только поддержка, чтоб не болело, и что всерьез за таких стариков никто не берется. Хотя завещание лежало у Саши в кармане, на душе у него было неспокойно: то сантехник опять приходил к бабе Вале, хотя она никого не вызывала, то Лариска наговорила ей невесть чего о нем — и кто знает, на что она надеется? Да кто угодно мог прийти и убедить старушку переписать документ. «В соседнем дворе пенсионерка открыла дверь двум электрикам и поплатилась: из квартиры все вынесено, а саму бабку чуть откачали. Жизнь-то нелегкая — ходят вот такие, ищут одиноких!» — Услышав эту новость, баба Валя в тот же день отдала Саше оба ключа от квартиры, чтобы он запирал ее снаружи от бандитов. Потом был второй визит нотариуса — оформить доверенность на получение пенсии. Пришел привет от Лариски — записка в двери и номер телефона. Они договорились о встрече и вместе пошли в гости, где, интеллигентный, в белой рубашке, он блистал и перед старушкой, и перед Лариской, — и та успокоилась: за старушкой есть кому присмотреть.

Ночами Саша дежурил в бассейне, а днем продолжал работать квартирным агентом. В начале весны он даже привел нескольких покупателей на договор, но за два дня до сделки, обещавшей неплохие деньги, директора агентства арестовали вместе с задатками покупателей и Сашиной зарплатой. Летом Саша написал пару статей в экономический журнал, в котором редактором был его одноклассник. Помогая соседу-предпринимателю, съездил в Польшу за партией мобильных телефонов. Осенью, с первыми холодными вечерами, его опять потянуло к нехорошим квартирам — он ходил неделю, вторую, третью, но ничего не выходил, только наткнулся на знакомого университетского преподавателя, который притворился, что Сашу не знает. Он хорошо представлял себе, что будет делать, когда старушка умрет: отмоет квартиру, сделает косметический ремонт, шесть месяцев до вступления в силу завещания будет квартиру сдавать; потом продаст — и начнется совсем другая жизнь. Но что было делать сейчас? Старушка могла умереть завтра, а могла и через несколько лет — никаких изменений в ее состоянии заметно не было. Каждый раз он приходил к ней с тайной надеждой: как она? нет ли подвижек? Когда он открывал дверь, баба Валя почти всегда лежала в постели или сидела на диване, глядя в окно. «Хочацца трохі пажыць, — повторяла она, поднимая на него глаза. — Хаця б вясны дачакацца!» — как будто весной собиралась зажить совсем другой жизнью. Запирая ее на ключ, он проходил пешком по десять, по пятнадцать километров, делая круг за кругом по городу, словно пытался вырваться из какого-то своего, внутреннего заточения.

В начале зимы Саша, наконец, решил, что, если через месяц здоровье старушки не ухудшится, он начнет приходить к ней реже, а продуктов приносить все меньше. В положенный срок ничего особенного с бабой Валей не произошло — он решил ждать еще месяц. Выпал снег, он чистил его вокруг спортивного комплекса за дополнительную плату. Еще неделю помогал другу клеить обои. А в первый день нового месяца, когда все сроки давно прошли и нужно было что-то предпринимать, баба Валя попросила осмотреть ее ногу: с одной стороны, ниже колена, нога оказалась мягкой, словно заполненной водой. В следующий приход Саши водянистая область увеличилась. Он вызвал доктора, тот отрезал: «Месяца в три уложится». И действительно, с каждым новым визитом Саши больное место на ноге у старушки становилось все больше и мягче, а вскоре то же самое стало происходить и с рукой. Недели через три она уже с трудом ходила. Он стал приходить к ней каждый день, иногда и по два раза, на табурете возле кровати, откуда она поднималась только в туалет, оставлял разведенные в кипятке каши, фруктовое пюре и воду. И все же дело подвигалось не настолько быстро, как хотелось.

«Все ведь уже решено, — думал Саша. — Старушка свое пожила. Какой смысл заваливать ее витаминами и едой — только растягивать болезнь?» Однажды он взял и исчез на целых два дня. Старушка, казалось, и не заметила этого. В другой раз ушел на три. Потом на четыре. Вернувшись, он увидел, что баба Валя спит на полу, и понял, что в туалет она уже не ходит, а ползает. Он поставил перед ней банку с водой — она с жадностью выпила целый литр зараз. Саша хотел спустить матрас на пол, но старушка потребовала вернуть ее на кровать — и несколько раз потом, оставляя ее в кровати на три или на четыре дня, он находил ее на полу, закутанную в одеяло, как куклу, с пустой банкой в руках, пока не увидел однажды, что подушка, одеяло и простыня в беспорядке разбросаны по полу, а сама баба Валя лежит на спине с запрокинутой головой и открытым ртом.

После похорон он неделю отмывал квартиру и раздавал старушкино барахло. Сделал легкий ремонт и сдал квартиру в аренду, а через полгода, вступив в наследство, как и собирался, продал ее. Деньги были в кармане, можно было начинать свое дело. Но какое? Ожидая наследства, он перебрал кучу вариантов — встречался с продюсерами, рестораторами, владельцами парикмахерских, ателье, компьютерных клубов, фитнес-центров и даже небольших заводов, и все как один признавались ему, что их предприятия в долгах или на грани закрытия. Все самые объективные, самые многообещающие Сашины расчеты в пух и прах разбивались о рассказы опытных предпринимателей, рисовавших мрачные будни в этой не подходящей для ведения дел стране. В итоге он решил заняться тем, с чем был хотя бы немного знаком: купил ларек в Ждановичах. Вскоре он уже свыкся с мыслью, что бизнес и работа необязательно должны отвечать каким-то там душевным порывам: если занятие приносит доход, это и есть твое главное дело, которое ничем, по сути, не отличается от охоты пещерного человека, необходимой ему для того, чтобы накормить семью. На своей новой охоте Саша с каждым месяцем стал убивать все больше добычи: через полгода у него уже был второй ларек, еще через пару лет — несколько торговых мест в разных районах города, на которых работало почти двадцать человек. Еще недавно он готов был назвать себя совершенным неудачником, а теперь воспринимал свои успехи как должное. У него изменились взгляд, походка, манера говорить — в них не прибавилось заносчивости, ничего вальяжного или грубого: новым было лишь ясное осознание своего права уверенно смотреть в будущее.

3

В юности гадалка нагадала мне троих детей, хорошего мужа и долгую, счастливую жизнь. Прошло много лет, но до сих пор я не могу понять, сбылись ли ее предсказания, вот только юность моя была короткой и несчастной. Я родилась в городском поселке, почти деревне, по-своему милом, немного смешном мирке. Гадалка эта, например, хоть и не была цыганкой, всегда наряжалась в длинные пестрые платья. Такими же пестрыми были ковры и скатерти в нашем доме. В окнах и дверях веранды переливалась целая мозаика из прямоугольных, квадратных и трапециевидных стекол, разделенных тонкими штапиками. В детстве мы с сестрами раскрашивали эти стекла гуашью, и они пестрели так же, как весь мир вокруг. «Алеся!» — слышу я голос мамы позади себя и оборачиваюсь. Каждый раз, когда я готовилась выйти из дому, она окликала меня каким-то глухим и грустным голосом. В последние годы она почти всегда была пьяна, но я все равно любила ее: она была доброй матерью и хорошей хозяйкой, мы с сестрами были сыты и одеты — мама работала не кем-нибудь, а заведующей столовой в поселковом совете. Нас было три сестры от разных отцов, которых мы никогда не знали и не искали. Я была школьницей, когда старшая, Маша, вышла замуж, родила двойню и сделалась настоящей хозяйкой в доме, мама же все больше превращалась в какое-то доброе привидение, которое все любили, но никто не воспринимал всерьез. Вскоре вышла замуж и уехала к мужу другая сестра, Оля. В последний раз мама окликнула меня, когда я с сумкой выходила на остановку автобуса — уезжала учиться в педучилище, в Несвиж. Через неделю она умерла во сне. А следующим летом Маша выбросила из дома два старых маминых буфета, на месте огорода разбила газон, а в окна веранды вставила стеклопакеты. И когда

я приезжала потом на каникулы, дом мой уже не казался мне родным, словно кто-то вытянул из него знакомый мир моего детства, сорвал его, как пеструю скатерть со стола, вместе со всеми тарелочками, скляночками и кувшинчиками, обнажив потертые годами черные доски.

Сама не знаю, зачем после девятого класса я поступила в это училище, — наверное, хотела казаться себе взрослее. Оно было какой-то карикатурой на пансион благородных девиц. Несвиж лежал километрах в пятидесяти от моего поселка, и теперь я неделями не бывала дома. Общежитие наше находилось в бывшем монастыре, порядки в нем поначалу показались мне тоже монастырскими, но так же ловко, как в прошлые века, мы со сверстницами вскоре стали их нарушать. Несвиж город маленький: всех развлечений — две дискотеки, на которые нам нельзя было ходить. Честно говоря, из всей нашей группы мне интересно было общаться только с одной девочкой. А остальные… из каких землянок их выкопали? У меня было ощущение, что я попала в какой-то накопитель для неудачниц и что уж лучше было бы мне окончить школу и ехать поступать в Минск. Очень скоро меня потянуло домой, — но показывать сестре свою ошибку не хотелось. Маша с мужем открыли магазинчик в поселке, дела у них шли неплохо. Они помогали мне деньгами, и я просто обязана была как можно быстрее выучиться и сама начать работать, поэтому, закусив удила, твердо решила пройти все испытания и получить диплом. Мы сдружились с этой второй девочкой, с Наташей. Она была высокой и стройной блондинкой, а я темная, почти брюнетка, с бледной, какой-то мраморной (как выразился один поклонник) кожей и совсем уже не с подростковыми формами. Вахтерши в общежитии закрывали глаза на то, что мы тайком бегали на дискотеки и возвращались к полуночи. Первые два месяца я еще успела сходить на свидания с тремя местными парнями, для которых позднее я узнала хорошее определение — колдырь. А ближе к зиме вообще перестала выходить на улицу — благо в учебный корпус из общежития можно было перейти по галерее. Сидела вечерами в своей келье, слушала радио, читала книги из библиотеки и думала, что сойду с ума от скуки. И вот как-то утром, на перемене, заходит в класс смешной невысокий дядечка лет за тридцать. Оглядел нас каким-то будто бы хитрым взглядом, блеснул лысиной и позвал в театральную студию.

Никакого конкурса в эту студию не было. Если бы мы с Наташей не имели не то что никаких актерских данных (их у нас, по-моему, и не было), но даже двух стихов выучить наизусть не могли, нас бы все равно приняли, потому что слишком уж мало внешне напоминали актрис наши конкурентки. Мужские роли с нами репетировали мальчики-старшеклассники из городских школ (неожиданно интересные и развитые), и в этом тоже было кое-какое развлечение. Мы разучивали две пьесы, которые потом должны были представить на фестивале: одну на русском языке, другую на белорусском. Русской пьесой был «Федот-стрелец», и я подумала отчего-то, что Петр Петрович (по кличке Пэпэ), руководитель кружка, который нас пригласил, даст мне роль Маруси или, наконец, царевны, но оказалось — все было не так просто. Две старшекурсницы (им было по восемнадцать, но выглядели они на все сорок) сцепились между собой за Марусю не на жизнь, а на смерть. В какой-то момент показалось даже, что они подерутся. Пока две будущие учительницы кричали друг на друга, чуть ли не матерясь, Пэпэ с хитрой улыбкой смотрел на меня. Тогда я встала и громко сказала: «Я буду Бабой Ягой!» С тех пор и закрепилась за мной эта кличка в училище — Баба Яга. Произносили ее не без уважения, и как ни странно, она мне нравилась: как женщина, с этим прозвищем я давала фору всем здешним студенткам и преподавательницам.

Пэпэ был женат, жена и дети его жили в поселке недалеко от города, но все свое время он отдавал преподаванию и студии. Было такое ощущение, что от семейных забот он откупался деньгами, полученными за работу на две ставки. Он явно симпатизировал мне, и мне это нравилось. На героя-любовника он, конечно, не тянул, но что-то в нем было такое, что выделяло его из массы остальных мужчин. В детстве мне нравились драчуны и прогульщики. Лет с тринадцати я уже не замечала вокруг себя парней, потому что среди них не было героев моих любимых фильмов. Я верила, что где-то в большом мире, в других городах и странах, настоящих мужчин пруд пруди. А в поселке хоть и ухаживали за мной два-три мальчика, но я скорее терпела их воздыхания для вида. Этот Пэпэ был самый настоящий провинциальный интеллигент — не пил, много читал, интересовался историей края, говорил хорошо по-русски и по-белорусски, был щупленький, глазастенький, с проплешиной в русых кудрях. Любимым оборотом речи у него было: «Как сказал такой-то». Такой-то — как правило, известный писатель или ученый. Дальше он выдавал поучительный афоризм, так что выходило, что совсем не он, Пэпэ, учит нас жизни. Однажды я пришла к нему на занятие расстроенная, не могла слова произнести, — боялась, заплачу. Перед этим я забежала в магазин, накрашенная, в коротком платье с декольте под расстегнутым пальто. Продавщица закричала на весь магазин: «Вучыцца нада, а ня цыцкамі трэсці на вуліцах!» Я выбежала из магазина со слезами и долго стояла у входа, думая подготовить фразу для ответа и вернуться, но так ничего и не придумала — пошла на репетицию. Когда я рассказала об этом Пэпэ, он загадочно улыбнулся и погладил мое плечо: «Как сказал Гёте, будешь лаяться с каждой собакой — не дойдешь и до угла». Много лет спустя один профессор, когда я поделилась с ним этой фразой, рассмеялся и сказал, чтобы я никому больше этого не говорила, — у Гёте нет такого афоризма. Но тогда, в мои пятнадцать лет, одно это имя, «Гёте», из уст мужчины оказалось ключом к моему сердцу.

Я не могла скрыть своих чувств — у меня глаза загорались каждый раз, когда я видела Пэпэ, и он не мог этого не заметить. Мне хотелось, чтобы он опять как-нибудь меня пожалел, но я все не могла найти повод. Зимние каникулы показались особенно длинными и пустыми: я уехала домой, в поселке было еще скучнее, чем в Несвиже. В школе у меня не было особенно близких подруг, и теперь ни с кем не хотелось встречаться. Я не могла понять, как вообще прожила в этой скукотище шестнадцать лет. Маша была для меня старшим товарищем, я уважала ее, но у меня никогда не было желания излить перед ней душу, поплакать с ней, да хотя бы обнять ее. Наоборот, я страстно хотела показать ей, что «сам с усам» и скоро перестану брать у нее деньги. Сутками сидеть с книгой в своем углу и есть с чужого стола было невыносимо. Не дотянув до конца каникул, я пулей вылетела в Несвиж — к нему. И хотя я не видела Пэпэ еще несколько дней, все в этом городе казалось мне теперь таким близким, таким своим, что хотелось бесконечно ходить по этим почти деревенским улицам с одноэтажными домами, вдыхать запах дыма, слушать лай собак и думать, думать… ну, хотя бы о том, какую пьесу предложить для репетиций после каникул, потому что Пэпэ попросил каждого из нас подумать над этим. Мы все ставили комедии или шутки, а мне хотелось чего-то большего, чего-то для души — например, «Ромео и Джульетту» или «Маскарад». Хотя бы один акт из этих пьес. Ужасно вспомнить — на первой же репетиции у меня словно окаменел язык, и единственное, что я могла произнести, когда Пэпэ выслушивал наши предложения, это тихое: «Я не знаю». Я опустила глаза и, наверное, побледнела, так что Пэпэ секунды три помолчал прежде

чем продолжить. И тут я почувствовала такую обиду непонятно на кого, такую пронизывающую меня до самых костей грусть, что захотелось плакать. Отвернув лицо, я выбежала из актового зала.

Минуты через три он подошел ко мне в коридоре. «Што здарылася, Лёсік?» — он продолжил говорить на том языке, на котором вел занятие. Пэпэ единственный называл меня так — «Лёсик», и слово это, произнесенное по-белорусски, получало дополнительный, грустный смысл. Я положила голову ему на грудь и заплакала — от одиночества, от любви, от какого-то грустного вдохновения к жизни. В любой момент в коридоре кто-нибудь мог появиться, но Пэпэ не отстранял меня, а наоборот, коснулся губами моих волос — я хорошо поняла, что это означает. Не знаю, откуда вдруг появился у меня этот порыв, но я обняла его и поцеловала, а потом со всех ног побежала к себе в общежитие. На что я рассчитывала, думая о нем? Что он бросит семью? Сделает меня любовницей? Честно говоря, я вообще об этом не думала: я была влюблена, мне нужен был его голос, его взгляд, его дыхание — это было главным, а как оно там пойдет в жизни, меня не волновало. Я думала только о том, что произойдет сегодня и завтра. Городок маленький, все друг друга знают. Где нам встретиться? Где поговорить? Проявит ли Пэпэ инициативу — или поцелуй у него вышел как-то сам собой, потому что все мужчины так делают? В следующий раз я как дура смотрела на него влюбленными глазами, а он вел занятие как ни в чем не бывало, но в конце попросил задержаться меня и Наташу. Девушки наши сами шили костюмы для спектаклей, ребята в мастерской собирали декорации, и после репетиций мы часто оставались обсудить это с Пэпэ. Когда он отпустил Наташу, я просто не верила своему счастью — мне казалось, что вот сейчас откроется дверь, войдет толпа людей во главе с директором училища и закричит, опозорит нас, прекратит все то запретное и прекрасное, что могло произойти между нами.

Но ничего особенного не произошло. Он рассказывал, как лучше оформить костюм Бабы Яги, — выступление наше приближалось, — а я смотрела куда-то в пол. В какой-то момент он вдруг сказал: «Выше нос, Лёсик! У тебя есть друзья? Сходите в парк, выпейте пива!» — «Я не пью, Петр Петрович. Разве что с вами?» — «И я не пью. Тогда… — он широко улыбнулся, — тогда парк?» — «Парк!» Парк был на отшибе, путь к нему лежал мимо замка, отделенного от города цепью прудов. Сейчас туда ездят толпы туристов, там многолюдно в любое время года. А тогда в замке был санаторий, и зимой возле него могли прогуливаться разве что его пациенты. Стояла оттепель, немного даже пахло весной. Каждое утро город просыпался в густом тумане, который к полудню поднимался, и становилось непривычно светло, почти как летом, а ближе к вечеру небо опять затягивало. На следующий день мы с Пэпэ встретились у ворот парка — светило солнце, но в самом парке, конечно, было сыро, кое-где лежал снег. Оказывается, Пэпэ все обо мне знал. Он сразу посоветовал мне смотреть в будущее — не задерживаться в педучилище, а ехать поступать в Минск в театральное. «Оставить вас?» — спросила я, совсем осмелев. «Оставишь», — он шел и смотрел куда-то перед собой. Я остановилась: «Я что, совсем вам не нравлюсь?» (Если скажет «нет», подумала я, — прощай, студия, и прощай, Несвиж.) — «Нравишься, Лёсик», — он улыбнулся своей загадочной улыбкой, и тут уже без слез, но с каким-то новым для меня предвкушением я обняла его. Что я запомнила с той встречи? Пейзажи, нарисованные тушью, — стальной закат, весь в паутине голых ветвей, рябь на воде, грязь на дорожках и тишину в природе и во всем мире. А главное — его руки, его губы, его слова. Я никогда раньше не целовалась всерьез — было пару раз

с мальчишками в поселке, шутя и неумело. Пэпэ был моей первой любовью. После него было у меня много мужчин, но оценивала я их уже по-другому. Два или три часа мы гуляли по парку, назад возвращались в темноте. Я была все в том же платье с декольте, пальто было, конечно, расстегнуто. В парке Пэпэ так крепко меня обнимал — лицо у меня просто горело. И когда мы шли потом пустынной улицей, с какими-то автобазами с обеих сторон и единственной, раскачивавшей все вокруг тарелкой-фонарем, мне совсем не хотелось с ним расставаться. До фонаря было еще далеко, в каком-то порыве он прижал меня к забору, стал целовать шею и верх груди, и не знаю зачем, я скинула пальто и стянула платье с плеч…

Страсть, наслаждение, боль, радость и страх разом обрушились на меня в тот вечер на холодной февральской улице. В какую-то секунду я почувствовала такой подъем счастья, такой неожиданный разряд тепла, окутавшего всю меня с головы до ног, что уже почти плакала — из благодарности к Пэпэ, миру, Господу, не знаю, кому еще, — а Пэпэ как назло вдруг засуетился и заговорил: «Всё, всё, всё». Я вцепилась в него, как кошка, повисла на нем, не давая ему сбросить меня. Потом я, конечно, пожалела об этом. А в ту ночь долго не могла заснуть, все думала о будущем — о завтрашнем, о послезавтрашнем дне, — как буду смотреть на него, когда приду на репетицию, как посмотрит на меня он, что скажет. В ушах у меня звучали обрывки его фраз, произнесенных в парке, — цитаты из фильмов, анекдоты, какие-то приколы — в основном, именно это, потому что как только Пэпэ переходил на серьезные темы, голос его окутывала такая грусть, что я сразу просила его говорить о чем-нибудь другом. Следующее занятие у Пэпэ прошло как обычно, он ничем не выдавал своих чувств. Так же прошли и еще два. Я краснела, бледнела, бросала на него томные взгляды, а он говорил со мной точно так же, как с другими, мягко, с хитроватой улыбкой, так что я уже начала ревновать его ко всем, кому он улыбался. Студия была у нас не каждый день, и прошла неделя, прежде чем я сама подошла к Пэпэ и спросила, наконец, что с ним. «Не знаю, как тебе объяснить, Лёсик, — начал он, глядя в окно. — Я никогда не забуду тот вечер. Но… это все против правил. Прости. Твое будущее не со мной», — последнюю фразу он произнес каким-то металлическим голосом и пристально посмотрел на меня не терпящим возражения, учительским взглядом. «Да я и не жду от тебя никакого будущего!» — отвечала я уже сквозь слезы, а сама спрашивала себя: «А чего, чего же я жду от него?» Слезы у меня полились градом — мне кажется, я никогда столько не плакала, как в тот первый год учебы, от обиды, от счастья, не знаю, от чего еще. Пэпэ подошел было ко мне — я сидела перед ним на стуле, — но я вскочила и выбежала в коридор.

Мне хотелось с кем-нибудь поговорить обо всем. Но кому расскажешь? С Пэпэ я больше не разговаривала, и сам он молчал — наверное, чтобы не усугублять положение. Недели две или даже месяц я еще надеялась, что все не так однозначно, что он хочет проверить мои чувства и ждет, как я себя поведу; но, в конце концов, стало ясно, что слова его не разошлись с делом, решение он принял. Случись это сегодня, я просто плюнула бы на все, но тогда я извелась в поиске у себя недостатков. Не тот запах? Неопрятность? Глупый смех? Я предполагала все что угодно, кроме, конечно, одного — моего далеко не модельного телосложения, потому что уже тогда хорошо знала цену ему, видела, как сильно моя восточная стать волнует мужчин. Студию я нарочно не бросила — занятия в ней интересовали меня сами по себе, — но страсть к Пэпэ исчезла так же неожиданно, как появилась, как будто я получила от нее прививку на всю жизнь. Я почувствовала себя свободной и сильной. Вот толь-

ко недели через две у меня вдруг поднялась температура, хотя больной я себя не ощущала, и по утрам начало тошнить. Я стала нервничать по любой ерунде. В поликлинике у нас была хорошая врач — все мне объяснила. Я поехала к сестре — у нас с Машей не было особой дружбы, но я не сомневалась, что с ее умом и умением решать вопросы она поймет меня и поможет во всем. Помощь, собственно, нужна была в одном — подсказать, в какую больницу лечь, и купить подарок врачу, который будет делать аборт.

Своего первого ребенка я представляла себе где-то в далеком будущем, когда жизнь моя давно будет устроена, — я буду жить в большом светлом доме, может быть, за границей, а главное — рядом будет мужчина, в любви, в силе, в доброте которого у меня не будет и тени сомнения. Жизнь эта представлялась мне озаренной какими-то сказочными солнечными лучами — как в картине Яблонской «Утро». Начаться эта взрослая жизнь, по моим представлениям, должна была лет через восемь или десять, но уж никак не сегодня. Даже если бы Пэпэ разделил со мной ответственность за ребенка, никакой роли в нашей жизни я для него не видела. Я приняла решение. Маша, как мой опекун, поддержала меня. Я и сегодня считаю, что поступила правильно. Может быть, это было убийством, но появления на свет второй такой же сироты, как я, не хотела. В Несвиж я вернулась другим человеком. Те же скучные занятия, те же строгие взгляды преподавателей, интонации их голосов, от которых хотелось повеситься, смешки и глупые разговоры учениц, да и сам этот город — все напоминало мне какой-то отвратительный муравейник, на который сядешь по рассеянности, а потом хочется пнуть по нему и убежать. Что могло дать мне училище? Место учителя в деревне? Нищету до пенсии? Я любила детей, мне не терпелось попасть на практику — поработать в начальной школе, но сейчас, после события, отрезвившего меня и заставившего по-взрослому посмотреть на мою будущую жизнь, я понимала, что такой жизни, которой я хочу для себя и своих детей, школа не обеспечит мне никогда. Хотелось найти что-нибудь новое, востребованное временем, освоить какую-нибудь интересную профессию, например, в области дизайна или интерьера, да на худой конец — устроиться торговать на рынке. И прав был Пэпэ: за этим, конечно, нужно было ехать в столицу.

Зацвели сады. Стояли длинные светлые вечера. Учиться совсем не хотелось, я ходила по парку, смотрела, как оживает природа, слушала птиц, всем сердцем вдыхала эту весну, словно делала это первый раз в жизни. И хотя эти теплые, почти летние дни, эти душистые ночи, полные птичьих голосов, эти неожиданные, давно уже забытые грозы наступили не для меня одной, мне казалось, что теперь Господь вновь повернулся ко мне лицом, простил мне мои проступки, и все у меня в жизни получится.

4

Начиналось все, как у всех. С трех лет Севу водили в цирк, для него выписывали «Веселые картинки», в четыре года он уже мог читать, складывать двузначные числа и даже кое-что понимал из взрослого мира, но по-настоящему любил, наверное, только игрушечные автомобили на батарейках — машину-клоуна, танк и военный вездеход с прожектором, да еще поездки в Абхазию, в пионерский лагерь, где начальником был его дед и где всегда отдыхали еще пять-шесть родственников. Каждый раз целый месяц перед поездкой он жил ее ожиданием: вот балкон на четвертом этаже, где он скучал

с подсаженной к нему прабабкой, отделяется от дома, летит; дырки между щитов, прилаженных к решетке, превращаются в иллюминаторы; они садятся в темноте и пускаются на поиски где-то затаившегося пазика с неповторимым кожано-резиновым запахом в салоне. В восемь лет им овладела любовь к географическим картам, атласам и схемам. Он выучил названия всех стран мира, знал количество жителей в них, столицы и крупные города. Он копил деньги для покупки планов городов, и если там не указывались маршруты городского транспорта, дочерчивал их по своему усмотрению. Микрорайон, в котором он жил, покрылся сетью велосипедных маршрутов со своими конечными и промежуточными остановками, которые он старательно объезжал, чтобы по вечерам фломастерами чертить их схему. Тогда же он начал выдумывать города. Сохранилась тетрадка, на каждом развороте которой нарисован план фантастического города или целой агломерации со своим автобусным, троллейбусным, трамвайным и речным сообщением. В одиннадцать лет он составил план некоего карликового государства и всех его населенных пунктов, где помимо маршрутов транспорта были обозначены важные административные здания: в столице на главной площади стояло здание парламента, от которого лучами отходило пять улиц; левее располагался парк, и вдоль парка к площади шел трамвай. Со временем он стал обозначать каждый дом, арку, ограду, памятник, а потом и вовсе изображать все в изометрической проекции, — пока в девятом классе, прыгая через гимнастического коня, не сломал руку и закованной в гипс рукой не написал первое стихотворение.

Через полгода он уже в недельный срок сочинял пятиактные драмы в стихах и поэмы онегинскими строфами длиной в полуобщую тетрадь. Чем популярнее среди его сверстников были фильмы со Сталлоне и Шварценеггером, чем повсеместнее читали Чейза, слушали Богдана Титомира и группу «Сектор Газа», тем усерднее Сева изучал классическую литературу, отдавая накопленные деньги за собрания сочинений, пылившиеся в букинистических магазинах. Шли девяностые годы. Многие избавлялись даже от виниловых пластинок, сдавая их в комиссионные магазины за гроши, а Сева пользовался этим, выбирал лучшие исполнения музыкальной классики и выучивал наизусть целые симфонии и оперы — словом, жил этим миром искусства, который никому из окружавших его людей был не нужен. И ничего удивительного не было в том, что он решил поступать на филологический факультет. О последующем заработке он особенно не думал, ведь и литературоведы получают зарплату. А информатика и экономика казались ему не более актуальными, чем произведения Чейза и Титомира.

На филфаке университета Севу окружили сверстницы, жившие литературой, поэты, переводчики, филологические харизматики. Первые три года он просто плыл с закрытыми глазами, с головой погруженный в университетский океан, восхищаясь преподавателями, влюбляясь в однокурсниц, сутками пропадая в библиотеке или в общежитии у иногородних друзей. На четвертом курсе он учился уже отстраненно, выбирая из филологического мира только то, что было близко его душе и нужно было для написания дипломной работы. А в середине пятого курса до него вдруг дошло, что он понятия не имеет, чем будет заниматься дальше, за порогом жизни, которая до сих пор определялась то детским садом, то школой, то университетом. Работать учителем он не собирался и раньше: его интересовало искусство, а не преподавание азов. В области же литературоведения на пятом курсе Сева сделал одно важное открытие: никакого литературоведения не существует, а есть одна говорильня. В лучшем случае, наукой о литературе можно было назвать умение хорошо

рассказать о книгах тем, кто ими интересуется. А ведь даже в дипломной работе от Севы требовалось подтверждение актуальности и новизны того, о чем он писал, то есть новизны и актуальности его способа рассказать о чужом искусстве рассказывать. С такой неопределенностью в планах на совсем уже близкое будущее Сева и доучивался в свой последний студенческий год, когда в марте, на пятом месяце темной, утопавшей в туманах зимы ко всему прибавилась еще и неуверенность в ценности самой жизни.

Ритм этой жизни, запущенный в незапамятном младенчестве, менявшийся с возрастом, опытом и ощущениями Севы, этой зимой впервые стал сбиваться, захлебываться и, наконец, вовсе остановился. Ритм предполагает движение; а к чему двигаться, если впереди — пустота, и в мире за окном — та же пустота? Все интересные книги прочитаны, музыка переслушана и набила оскомину. Чертову дипломную работу не хотелось и открывать. Это не была депрессия: ему просто на все было наплевать. Пусть все течет как течет. От армии Бог уберег. Родители обещали давать денег на еду до октября, а там посмотрим… В крайнем случае можно и учителем.

С таким настроением в один будний день, когда солнце чуть более настойчиво, чем обычно, пробивалось сквозь пелену облаков, Сева отправился в торговый центр за рубашкой. Этот новый торговый центр напоминал многопалубный морской лайнер с длинной чередой мелких павильонов-кают на каждой палубе. И Сева, нечастый пассажир на таких кораблях, с полчаса бродил по бесконечным, похожим один на другой коридорам, не зная, какую каюту выбрать, пока, вконец изможденный, не пошел с пустыми руками к пожарному выходу, решив, что такой ценой ему рубашка не нужна. Но пожарный выход был заперт. Проход к нему, занятый все теми же каютами, оказался тупиком. И когда, чувствуя себя героем кинокомедии, он уже собирался отыграться за все на ручке запертой двери, за спиной раздался довольно низкий, но хорошо поставленный женский голос: «Может, *я* вам чем-то помогу?» Сева повернул голову и увидел маленькую блондинку, улыбавшуюся ему большими карими глазами. Над головой ее, у входа в одну из кают, гроздьями висели мужские рубашки. А на груди светлел бэдж: «Алина».

В окно пожарной лестницы ударил яркий, не замутненный облаками луч солнечного света, пробив всю линейку палубы до противоположного конца. Не спеша Сева выбрал четыре рубашки. Во время примерки продавец то и дело подводила его к зеркалу, предлагая занять правильный ракурс, одергивая и расправляя рукава рубашек, которые он примерял, и Сева чувствовал вдохновенное порхание ее пальцев, электрическое тепло ее маленьких ладоней, несколько раз деловито скользнувших по его плечам. В третий раз снимая рубашку, он попросил ее помочь расстегнуть ему верхнюю пуговицу, и когда Алина потянулась к его шее, он крепко прижал ее к себе, приподняв над полом. Тотчас же у входа громко затопал и закряхтел покупатель, и Сева как ни в чем не бывало продолжил переодевание, чувствуя, как горят царапины у него на груди. Когда покупатель ушел, — словно старые знакомые, они условились, что Сева придет сюда завтра к закрытию пить с ней чай.

Судя по температуре воздуха и виду улиц, еще была зима, но солнце не садилось так долго, что сознание Севы незаметно перешло на летнее время, и стало казаться, что стакан наполовину полон, что тьма, поглотившая мир на несколько месяцев, была сном, наваждением, исключением, а сейчас продолжится настоящая, устремленная к свету и теплу жизнь. Лет до двадцати он по уши влюблялся в сверстниц, нет, даже любил, страдал, сох, жил этими отношениями, сплошь безответными. А после двадцати романтическая сто-

рона дела как-то сама собой отпала, и осталась просто радость оттого, что находятся такие, которым он может нравиться, и что из них порой тоже можно выбирать. Отношения с женщинами стали приятным, но не влияющим на картину мира развлечением. И вот поди ж ты — одно объятие и пара царапин на груди — и жизнь опять набирает разгон, без всяких объективных доказательств с ее стороны. «Я думала, ты не придешь», — сказала она, увидев его на следующий день, стоя на табурете и снимая с верхнего ряда рубашки, вывешенные у входа в павильон. «Я знал, что это будут твои первые слова». Он взял ее на руки вместе с ворохом одежды, который она держала, и понес внутрь. Но там, в павильоне, не найдя места, куда можно было опустить ее, он только театрально покрутился и со вздохом поставил Алину на пол, переключив внимание на чайник: «Где туалет? Я схожу за водой». Она протянула руку и так близко поднесла ее к лицу Севы, что он не мог не заметить на маленьком, ошеломительно красивом безымянном пальце тонкое обручальное кольцо.

К своим тридцати годам Алина давно прошла путь, предначертанный выпускникам-медалистам, вступившим в студенческий брак и первые годы семейной жизни восторженно верившим, что понятия «диплом» и «семья» неразрывно связаны с движением к достатку и счастью; путь, на котором она одного за другим родила двоих детей, совмещая уход за ними с работой по специальности, а больше — с мучительной работой над собой — в попытке не сойти с ума от механически повторяемых месяцами одних и тех же хлопот по дому, от уколов свекрови, уступившей им с мужем свою квартиру, но постоянно пытавшейся все контролировать, от безразличия и безволия мужа, который, впрочем, никому ничего плохого не сделал; она прошла тот классический путь, воспоминаниями о котором так часто с хрипотцой в голосе делятся между собой заматеревшие, циничные, закаленные в жизненных бурях женщины под тридцать пять, способные часами напролет рассказывать о своей первой монашеской юности. Ветер времени больше не разворачивал и не подталкивал Алину в нужном ему направлении: с тех пор как она взялась за весла, для нее имела значение только сила ее собственных мышц, потому что, случись шторм, судьба ее корабля, в котором плыли и ее дети, теперь зависела только от этой силы. Разумеется, Сева не мог играть в жизни Алины настоящую мужскую роль. Но она и не искала того, кто мог бы сыграть ее: в ее положении такая находка могла быть скорее чудом. По правде говоря, она и не нуждалась в этом чуде. Сева, конечно, понравился ей внешне, он просто умилил ее своим непосредственным, честным взглядом куда-то вдаль. И она так страстно загорелась идеей пожалеть себя им, что за пару дней влюбила его в себя. Конечно, ей льстило, что интеллигентный, яркий юноша, только-только вступающий в жизнь, с головой втрескался в замужнюю тетку, мать двоих детей, торговавшую на рынке ширпотребом и далеко не из баловства ежечасно выкуривавшую по сигарете.

Первые два раза они с Алиной встретились у него, в его однокомнатной квартире, доставшейся ему по наследству от бабушки, где он с двадцати лет жил один. В апреле муж Алины на две недели уехал в командировку за границу, и Алина стала приглашать его на ночь к себе. Он приходил, когда дети уже спали, а уходил на рассвете. Не сказать чтобы он ждал от этих отношений каких-то судьбоносных последствий: в его представлении любовь к женщине не обязательно влекла за собой перемены в семейном положении, и теперь он не претендовал на большее, нежели просто владеть ее сердцем, телом, вниманием. Но главное, что он открыл в себе за время этих отношений, была

возможность жить, не думая о будущем. Особенно очевидным это стало для него с наступлением первых по-настоящему теплых весенних дней, когда сама природа подавала Севе красноречивый пример. Руководствуясь принципом «делай что делается», он все же писал дипломную работу, ходил в гости к друзьям, один за другим смотрел откуда-то взявшиеся неизвестные ему раньше фильмы (друзья называли их «постэлитарным кино»), давал видеокассеты с этими фильмами Алине и даже прочел ей пару своих стихотворений. Но золотой век, как известно, не бывает долгим. В мае приехал Алинин муж, потом заболела компаньон Алины по бизнесу, и ей нужно было самой несколько раз ездить в Польшу за товаром. Длинными автобусными ночами, вдалеке от привычной, наполненной смыслом суеты, она почувствовала всю двойственность своего положения. Ей было бы легче, если бы на месте Севы был какой-нибудь простодушный циник постарше годами (двое таких у нее и были в разное время, хотя больших восторгов воспоминания о них не вызывали). А Сева взял и просто влюбился, причем влюбился в лучшую, красивейшую ее сторону, а другого в ней не видел, и главное — не замечал ее детей. Он и сам, при всем обаянии, был еще ребенок: чего другого можно было от него ожидать? Он вошел в ее жизнь со своим миром интересов, восторгов, умозаключений, открытий, и этот фонтанирующий мир с одной стороны, а с другой стороны — выстраданный мир ее какой-никакой, но семьи, ее материнства наползали друг на друга, как две тектонические плиты, рождая предчувствие землетрясения. И когда, устав до чертиков, она садилась в Польше в автобус, идущий обратным рейсом, она понимала, что возвращается, конечно же, к детям.

В начале июня она в последний момент отменила одну из встреч. Под каким-то предлогом отодвинула и следующую. Вскоре он сам пришел к ней на работу без предупреждения. Что ей было сказать? Он не видел ее охлажденья. По привычке они целовались в двухтысячный раз. И она ему просто сказала, что чувства — лишь звенья переменчивой жизни, во всем закаляющей нас. Ты вчера был героем, теперь поклоняешься бредням. А вчерашний изгой вырвал право к свершеньям вести. Все проходит. Так пусть поцелуй этот будет последним, чтобы с ним не остаться навек на запа́сном пути. Сева не помнил, что именно она говорила, но примерно таким был смысл ею сказанного. Назавтра у него была защита диплома, и это помогло ему не выбиться из колеи и отодвинуть обдумывание произошедшего на потом. Защитился он на пятерку (хотя и знал, что попросту красиво бредил перед комиссией), потом был государственный праздник, и он часы напролет слонялся по улицам среди толп гуляющих, целовался с какой-то девушкой на перроне метро, которая с этого же перрона и уехала из его жизни; дочитывал книги, которые не успел дочитать к сданному месяц назад экзамену; надумал даже делать варенье из лепестков роз, для чего ободрал четыре куста шиповника в парке (правда, получился густой компот). И когда последние аккорды затянувшейся мелодии его юности затихли, мертвую тишину в ушах он воспринял без удивления и без грусти. Жизнь впереди представлялась бесконечной степью, исчезающей в сумерках, без какого-либо намека на дорогу или хотя бы тропинку.

Он увидел эту степь особенно ясно, когда поздним июльским вечером, возвращаясь из гостей, вышел к полям на западных окраинах Минска. Горизонт тонул в лиловом зареве, запах травы в посвежевшем к концу дня воздухе ударял в голову, и вселенские хоры кузнечиков еще усиливали пронзительный звон тишины. Сева так и пошел в это поле, не различая тропинок и борозд, и решил идти, не сворачивая, до тех пор, пока не поймет в этой жизни чего-то

такого, что заставило бы его повернуть назад. Один, два, три ли километра он прошел, но вскоре совсем стемнело, зажглись огни пригородов, а над головой, словно в книгах, написанных в доэлектрическую эпоху, появилось огромное, непривычно светлое от количества зажженных на нем звезд небо. «Послушайте, — заговорил сам с собой Сева. — Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно?» Впереди показались сады, за ними проглядывал лес. «Но ведь я никого не просил ничего зажигать! Да и о чем вообще можно просить? О новой любви? О деньгах? О стихах?» В последние годы написание стихов сводилось у него, в основном, к оттачиванию формы и стиля, а прежнего, неодолимого желания писать не было и в помине. И точно так же, как о стихах, он мог бы сказать обо всей своей жизни, сочинять которую, сколько он ни настраивал себя, не было больше ни малейшего желания. Ему захотелось идти и идти вот так, по незнакомым деревням, полям и дачным поселкам, пока не упадет от усталости где-нибудь в зарослях, чтобы лежать там дни и ночи, ни о чем не думая и ничего не ожидая.

В школьные годы Сева с друзьями любили ездить к двадцатиэтажному дому-свечке на улице Калиновского: поднимались на лифте на двадцатый этаж и выходили на маленькую лоджию общего пользования, откуда, глядя на густой сосновый лес, напоминавший махровое полотенце, простиравшееся до самого горизонта, плевали вниз и бросали скомканные бумажки. Мечтой Севы тогда было нарисовать подробный план этого леса со всеми его дорогами, выступами и перепадами высот, населив его людьми и наполнив маршрутами городского транспорта. Когда через десять лет он приехал сюда и поднялся на двадцатый этаж, знакомые ориентиры — линия электропередачи, спортивный комплекс, странная труба посреди леса — улыбнулись ему, как старые бабушкины украшения, блеснувшие в пыльной шкатулке. Лоджия была расписана неумелыми граффити, от мусоропровода несло помойкой, и над всем этим нависал невыносимый июльский зной, не сходивший даже с наступлением вечера. Две или три минуты Сева неподвижно смотрел куда-то перед собой, наконец быстрым движением перекинул ногу через перила, потом — другую и, стоя на выступе с внешней стороны балконной ограды, зажмурился. Жизнь его, со всем, что могло в ней быть ценного и стоившего того, чтобы жить, не звала его и сейчас, но в самом молчании ее была какая-то недосказанность, какая-то запрограммированная несправедливость бытия, обдумывание, а может быть, и исправление которой хотелось перенести на потом. Но на когда — на потом? Он поочередно отрывал от перил то одну, то другую руку, ненадолго замирал, удерживая себя мизинцем, два или три раза считал до десяти, наконец открыл глаза и, аккуратно переставив ноги внутрь лоджии, тяжелым шагом пленного отправился жить.

Ганад ЧАРКАЗЯН

Чаргави

* * *

В густых кустах выводит соловей
Весеннюю победную руладу.
Он от восторга весь осоловел
И позабыл про жизненную правду.

* * *

Во всем у нас губительный прогресс,
И с каждым днем все дальше лес.
Мы как-то обходились без прогресса.
А если вдруг останемся без леса?

* * *

Отчего дурное так часто прилипчиво,
А к хорошему волоком надо волочь?
Не нужны ни культура нам и ни приличия,
Только порочное мы взять не прочь.

* * *

Злодей и гений на книжной полке
Спокойно пылятся себе в тиши.
Досужей мудрости кривотолки —
Только пыль для зеркала души.

* * *

Мудрость живет сама по себе,
Не нуждаясь ни в книгах, ни в слове.
Мудрость — тот смысл, что явлен в судьбе,
С ним считаемся мы поневоле.

* * *

Сравню наш век с асфальтовым катком.
Ведь больше не с чем паренька сравнить,
Спокойно плющит нас, чтобы потом
По нам удобно было ездить и ходить.

* * *

И перед тем как прекратить сей мир,
Господь решил созвать людей на пир.
Один тащил черпак, другой — котел,
А кто-то с ложкою бумажною пришел.

* * *

Господь бумажные впервые видел ложки.
Они в похлебке таяли, как воск.
И понял Бог: его решенье ложно.
Стал изощренней человечий мозг.

* * *

Землю спасут, а нас не смогут
Ни отрезвить, ни наказать.
Так, может быть, угодно Богу,
Чтоб было некого спасать?

* * *

Аустерлиц на кухне, в постели Ватерлоо,
И вечно хмурый взгляд, неласковое слово —
Вот Бонапарт домашний, правитель и тиран
И угнетатель женских боготворящих стран.

* * *

Мурыжит несчастный народ
Журнально-газетная стая.
Читая, одних она не издает,
Других издает, не читая.

* * *

Сиди себе, глупец, мечтай,
Что попадешь когда-то в рай,
Пока тут жизнь одну, твою,
Богатый прожил как в раю.

* * *

Кто крякает, кто плачет, кто поет,
Кто ищет золото, кто роется в золе —
Пока в заботах варится народ,
От скуки он избавлен на земле.

* * *

Скажите, в чем я виновата?
Мне убеждать их не с руки.

Во мрак уходят червяки,
Хоть к свету их зовет лопата.

* * *

Игра природы — вольная игра,
Но все ж напоминанье дерзкой твари:
Коль воли нет и голова не варит,
Кто здесь хозяин, вечности гарант?

* * *

Когда рыбак провалится под лед,
Пескарь одобрит это и поймет.
И пескарю на то плевать,
Что будут родичи рыдать.

* * *

Воры воруют. За первенство бьются.
Стреляют друг друга. Ну, благодать!
Пусть меж собой до конца разберутся,
Не будем ребятам сегодня мешать.

* * *

Народ растит достойных сыновей.
И на убой их гонят, как на бойню.
Чтобы росло и размножалось злато,
Солдат всегда готов убить солдата.

* * *

Стыдно признаться — влипли.
Подвоха не ждали ни ты, ни я.
Давай по рюмашке выпьем —
Воры везде, где закон и судья.

* * *

Поразмыслив и все трезво взвесив,
Давай сдаваться этой темноте.
Поменьше гонору, интеллигентской спеси,
Готовой к рабству в вечной нищете.

* * *

Разбудит бомба город мирно спящий,
И к небесам взовьется скорбный хор.
Мы все — марионетки, и в театре нашем
Утратил разум строгий режиссер.

* * *

Пирует вор, и люд пирует трудовой,
И не торопится никто из них домой.
Закуска хороша, вино прекрасно тоже,
А кто бандит — не разобрать по коже.

* * *

Кто знает, что хранил он за душой,
Когда с печалью в мир иной ушел.
И этот мир — всего лишь жалкий ящик,
Но из досок, конечно, настоящих.

* * *

Снятся горы в дымке туманной,
Горных рек нескончаемый гул.
Лишь прошедшее нас не обманет —
Перед ним мы все вечно в долгу.

* * *

Хоть мы не женщины, а сильные мужчины,
Но Богу молимся не без причины.
Ведь в жизни мы как бы в дремучей чаще,
И зверь рыкает, в нас самих сидящий.

* * *

А если болоту не нужен просвет
И всем хорошо в том болоте?
Чего же тогда вы по глупости лет
С прожектами всякими прете?

* * *

Если ты оказался в первом ряду
И забыл, кто идет за тобой,
Люди мимо тебя пройдут
Равнодушной толпой.

* * *

Мир стал слишком тесен для нашей любви,
Тесен для жизни и даже для смерти.
Вроде живешь. А хоть и не живи —
Никому ты не нужен на свете.

Перевод с курдского Валерия ЛИПНЕВИЧА.

Эльвира ВАШКЕВИЧ

Четыре жизни Бореньки Элентоха

Рассказ

Боренька Элентох жил тремя жизнями одновременно. В одной он был отличником, комсомольцем и бессменным редактором школьной стенгазеты, писал статьи о социалистическом строительстве и сочинения о равенстве и братстве всех народов. В другой жизни Боренька был еврейским мальчиком, сыном старого портного, помогал отцу в мастерской, а матери — готовить шаббатнюю трапезу, накалывал мацу иголочкой, чтобы появились симпатично-аппетитные дырочки, и внимательно следил, чтобы ни капли молока не попало на мясо — кошерное так легко сделать трэш, а отец зарабатывает немного.

Третья жизнь Бореньки была самой интересной: в ней он был художником. Боренька бродил по району и рисовал все, что попадалось ему на глаза. Он рисовал пышно цветущие клумбы у райкома комсомола и флаг, бессильно обвисший в летнем жарком мареве. Рисовал старого дядю Хаима, шарманщика, что бродил со своим расписным лакированным инструментом по дворам, предлагая скрипучую музыку и бумажные трубочки с предсказаниями, которые вытаскивал из плетеной проволочной корзинки белый попугай. Дядя Хаим был некрасив, читать карту морщин на его лице было сложнее, чем Талмуд, а на лапсердаке было больше заплат, чем первоначальной ткани, но рисовать его Бореньке нравилось — это был настоящий вызов его искусству художника. Альбом Бореньки был полон самых разнообразных вещей: свернувшаяся вокруг котят полосатая толстая кошка, соседская коза Баська с обломанным левым рогом, портрет директора школы (его он берег для стенгазеты), покосившиеся домишки старого городского района…

— Сара, кого мы родили? — частенько причитал старый Гершеле, глядя на своего удивительного сына. — Ты только посмотри на этого шлемазла! Все бы цветочки нюхал… Разве из него получится приличный портной? Он не может сделать даже простой стежок! Кто будет одевать весь этот квартал, когда я умру?

Гершеле ворчал на сына, но гордился им. Просто своим ворчанием он пытался обмануть Бога. Ведь известно, что еврейский Бог может быть и суровым, и даже жестоким. Он дает одной рукой, а второй так и тянется, чтобы отобрать. И Гершеле наивно старался отвлечь внимание высших сил от того факта, что у его Бореньки необычайные способности к рисованию.

Только по ночам, глядя на одинокую звезду, заглядывающую в низенькое подвальное окошко портняжной мастерской, Гершеле начинал верить в доброту сурового Бога и шептал, глядя в небеса:

— Пусть рисует, пусть. Пусть художником будет. Представлю только, и сердцу больно от счастья: художник Элентох! Не портной Элентох, а художник! Пусть рисует…

Соседи, десятилетиями обшивавшиеся у поколений Элентохов, прочили мальчику большое будущее.

— Вы видели, как Боренька Элентох нарисовал нашу козу? Вэй! Прямо как живая! Вот-вот замемекает! Нет, он не будет портным. Какие цветы рисует! Будет открытки рисовать, большие деньги заработает.

А пока Боренька готовился к большому будущему и таким же большим деньгам, старый Гершеле стежок за стежком прокладывал ему дорогу. С утра до поздней ночи он сидел, скрестив ноги, как сидели его отец и дед, и упрямо втыкал иголку в неподатливую ткань. Гершеле шил по старинке, вручную, не признавая входящие в моду швейные машинки, которые составляли ему солидную конкуренцию, отбирая так трудно достававшиеся копейки.

— Сара, куда катится этот мир? — говорил Гершеле, обсасывая за обедом куриное крылышко. — Только подумай — шить на машинках! А как же почувствовать ткань? Ведь она живая… она ж разговаривает… Ее руками, только руками нужно! Но конечно, если какую дерюгу, то можно и на машинке. Так ведь, Сара, они и бархат на машинке теперь шьют! Нет, похоже, что я — последний настоящий портной в Минске. Вот умру, и кто тогда будет шить в этом городе? Спохватятся за модное платье, а уже все, нет Элентоха!

Через много лет старый седой Борис Григорьевич Элентох, ставший действительно большим и уважаемым человеком, услышал из магнитофона соседского мальчишки тянущий душу голос:

Тихо, как в раю…
Звезды над местечком высоки и ярки.
Я себе пою,
А я себе крою.
Опускайся, ночь.
Отдохните, дети, день был очень жарким.
За стежком стежок.
Грошик стал тяжел…

Услышал — и заплакал.

Нередко, желая обмануть сурового еврейского Бога, Гершеле заходил к ребе Исааку.

— Вэй, что делается! — причитал Гершеле. — Наш Боренька совсем не хочет учиться портняжному мастерству. Все рисует, рисует что-то. А в школе — только подумайте, ребе Исаак! — целый отличник. Это вместо чтоб Талмуд читать…

Так Гершеле показывал, что недоволен сыном. А то вдруг Бог решит сам выказать недовольство.

— Понимаю, — вздыхал старенький ребе Исаак, и его пейсы вздрагивали. — Но ты сам виноват. Зачем отдал сына в эту школу? Отправил бы в хедер. Пусть бы Талмуд изучал.

— Да, да, надо подумать… — смущался Гершеле.

Ребе Исаак знал, что ни о каком хедере и думать никто не будет, говорил так, для порядка. Ах, жалко, молодежь сейчас вся в комсомол, в школы… Никто не хочет читать Талмуд. Говорят, что слишком уж много правил, да еще таких, в которых в современной жизни и смысла-то нет. Молодые… что они знают!

Старенький ребе Исаак не осуждал их. Такая страшная, непонятная жизнь вокруг… Как и Гершеле, ребе Исаак родился на этой кривой улочке на городской окраине, пережил мировую войну и революцию. И если у маленького Бори Элентоха может быть другая, лучшая жизнь, так пусть рисует! Жизнь человеческая коротка и полна лишений, а Тора — она вечна…

Как художник, Боренька любил все красивое. Неудивительно, что когда он увидел Розочку, дочь Льва Ильича Лифшица, директора швейной фабрики, героя гражданской войны, то обомлел до полного ступора. Он даже выронил альбом с рисунками и не заметил, как яркие листы падали в липкую зимнюю грязь, густо вымешенную ногами прохожих.

Розочка и в самом деле была хороша. Блестящие черные кудряшки, выбивающиеся из-под алой беретки с кисточкой, огромные глаза, розовые пухлые щечки… Боренька отчаянно влюбился. У него появилась четвертая жизнь.

Зимой Боренька лепил с Розочкой снежных баб, выкатывая во дворе грязно-серые комья талого снега и украшая их то морковкой, то угольками. Весной таскал Розочке цветы, обрывая клумбы около райкома комсомола, и не раз чуть не попадался, но ухитрялся уходить, резво прыгая через заборы и прячась за углами домов. Это был его район, и ни одна собака не тявкала, когда Боренька пробегал мимо, зато все шавки дружно облаивали милиционеров, пытающихся поймать цветочного вандала.

Летом они играли в прятки, и Боренька выкрикивал в солнечный диск странную считалку, чтобы решить, кому водить:

Где ты, Виолетт?
Принес тебе привет,
Жду тебя домой!
Подпись: Николай II!

Водить почему-то всегда выпадало Бореньке, и Розочка встречала этот результат неизменным смехом и радостным хлопаньем в ладоши. Чтобы услышать ее смех, Боренька был готов играть в детские игры сутки напролет.

Как-то летним вечером Боренька собрался сводить Розочку в кино. Это было торжественное мероприятие, и Боренька принарядился. Когда старый Гершеле увидел сына в костюме и при галстуке, то утратил от неожиданности дар речи.

— Вэй, Сара, кого мы родили? — воскликнул он. — Это же не сын портного! Это — большой человек с большим будущим!

Его так переполняла гордость за сына, что он даже забыл о вечно наблюдающем ревнивом еврейском Боге. А Сара, оглядев Бореньку, только улыбнулась и вставила в петлицу парадного пиджака маленькую белую розочку.

— Совсем жених! — восхитился Гершеле, и Боренька покраснел.

Он шел к Розочке и чувствовал себя красивым и значительным. Но уже подходя к дому, услышал резкий голос Цили Соломоновны, Розочкиной матери. Циля Соломоновна обожала открывать окна, говоря, что от духоты в квартире у нее болит голова. Но при этом никогда не понижала голос, выясняя отношения с мужем, и весь район был в курсе семейных дел товарища Лифшица, начиная от оторванной пуговицы на кальсонах и заканчивая черной ревностью Цили Соломоновны к какой-то Аське, что работала в бухгалтерии фабрики.

— Лева, ты должен что-то сделать! — вещала на весь район Циля Соломоновна. — Я сколько раз говорила Розочке, чтобы она не водилась с этим голодранцем, но она меня не слушает. Лева, но это же смешно! Наша дочь — и Элентох! Фу, Лева, Элентохи всегда были голодранцами. Да и где ты видел богатого еврейского портного? Говорят, что их Боренька станет художником, но я в это не верю. Лева, Розочка уже большая, а как принесет в подоле?

Несчастный Лев Ильич, прекрасно знающий, какие огромные уши у соседей, не уступающие размерами их любопытству, что-то тихо шипел, пытаясь

остановить жену. Но Цилю Соломоновну несло, как трактор по горбатой улочке, и в конце концов Лев Ильич рявкнул:

— Да замолчи наконец! Ты ж меня под политику подведешь своей болтовней!

Политика — это было страшно, и Циля Соломоновна, охнув, умолкла.

— Сейчас все равны! — сообщил во весь голос Лев Ильич распахнутому окну. — Сейчас власть рабочих и крестьян. И лучше быть нищим еврейским портным, чем каким-нибудь недорезанным буржуем!

— Так разве ж я спорю?! — всплеснула руками Циля Соломоновна. — Конечно лучше! А все же Боренька Элентох нашей Розочке не пара.

Боренька, простоявший под окнами директорской квартиры все это время, развернулся и пошел домой. Щеки его полыхали алым, и казалось, что каждый встречный уже знает о том, что думает и болтает Циля Соломоновна. Он — голодранец, сын нищего портного. Он — не пара дочке директора швейной фабрики. Боренька вырвал из петлицы белую розочку и поклялся, что когда-нибудь Циля Соломоновна возьмет все свои слова обратно. Каждое словечко, каждую буковку, каждый восклицательный знак, которыми она добивала Боренькино счастье.

Увидев сжатые в ниточку Боренькины губы, старый Гершеле вздохнул. Еврейский Бог услышал-таки его неосторожные слова гордости, подставил-таки ножку мальчику!

А наутро взвыли противными голосами сирены, пронеслись самолеты с чужими черными крестами на крыльях, громыхнули первые бомбовые разрывы, и срывающийся голос Молотова сообщил из репродукторов о начале войны.

Боренька бросился в военкомат, но был развернут от порога. Пятнадцатилетним мальчишкам нечего делать на войне — так сказал седоусый капитан. Вернувшись домой, Боренька впервые не увидел отца в мастерской. Старый Гершеле ушел куда-то, бросив недошитое платье из тяжелого малинового бархата.

Гершеле вернулся, и у Бореньки отвисла челюсть, а Сара тоненько завыла. Где пейсы старого Гершеле? Где привычный лапсердак, засаленный на локтях?

Нитки, бархат да иголки —
Вот и все дела.
Да еще Талмуд на полке —
Так бы жизнь шла и шла…

Гершеле был одет в зеленоватую форму не по росту, и вокруг тощей шеи его свободно болтался ворот гимнастерки, а сапоги противно чавкали при каждом шаге. Только узорчатая кипа осталась на макушке Гершеле от прошлой жизни, но и ее прикрывала солдатская пилотка со звездочкой.

— Ты с ума сошел! — кинулась к мужу Сара. — Да как же тебя взяли?

— Так надо, — строго сказал Гершеле.

Всегда болтливый, услужливый с клиентами, ласковый с домашними, он вдруг преобразился. Стал суров, молчалив, и около губ его залегла новая морщинка — безнадежности и жуткого долга.

— Это будет страшная война, Сарочка, и ты должна все выдержать, — сказал Гершеле, бережно вытирая мокрые от слез щеки жены. — Ты должна сберечь Бореньку.

— Говорят, что это ненадолго, — в глазах Сары светилась безуминкой надежда. — Несколько дней — и Красная Армия их отбросит.

— Минск сдадут. Я чувствую. Нужно уезжать, Сара. Ты слышала, что они делают с евреями? Так это там, в Европе! А что будет твориться здесь? Нужно уезжать, пока есть возможность.

Всю ночь Гершеле собирал вещи, а на рассвете втолкнул жену с сыном в отходящий переполненный товарняк. Запихивая за ними узлы, бормотал:

— Надо так, Сарочка, надо… Знаю, что стар, знаю, что не солдат… Но, может, смогу дать вам лишних пять минут, чтобы уехать подальше. Может, смогу убить того фашиста, который убил бы нашего Бореньку… Может, я еще пригожусь…

Боренька рванулся было из вагона к отцу, но тот прикрикнул, чего никогда не делал раньше:

— Поезжай с матерью!

И Боренька замер, удивленный этим новым Гершеле. И понял, что не может ослушаться его приказа. Четыре жизни Бореньки Элентоха закончились, соединившись в одну нить — железнодорожное полотно, убегающее вдаль.

Дорога слилась в сплошной стук колес, перемежающийся редкими остановками. На станциях набирали воду в помятые чайники, покупали продукты у местных жителей. Все чаще продавцы отказывались брать бумажные деньги, требуя вещи, золото, украшения, и Сара сняла тонкое обручальное колечко, чтобы получить кусок пожелтелого сала с подошвенной густо просоленной шкурой.

— Мама, но это же нельзя, это не кошерно, — прошептал Боренька, когда мать сунула ему в руки тяжелый сальный бутерброд.

— Ешь, — сказала Сара. — Кошерно или нет — это потом будем думать. А сейчас — ешь. Сейчас все кошерно.

И Боренька понял, что прежняя жизнь не вернется уже никогда, даже если война закончится прямо сейчас, сию секунду. Не будет больше курочки, запеченной на соляной подушке до пронзительно-розовой корочки, не нужно больше прокалывать иголочками мацу, не попробовать уже тянуще-сладкий цимес с грушами и морковкой… А главное — больше не будет портняжной мастерской. Никогда.

Ой, вэй!
Было время, были силы,
Да уже не то.
Годы волосы скосили,
Вытерли мое пальто.
Жил один еврей, так он сказал, что все проходит.
Солнце тоже, вэй, садится
На закате дня.
Но оно еще родится,
Жаль, что не в пример меня…
Кто же будет одевать их всех потом по моде?..

Некоторые сходили на станциях, не в силах выносить давку, духоту и вонь теплушек, переполненных людьми, но большинство стремилось уехать как можно дальше, туда, где не летают страшные самолеты с чужими черными крестами на крыльях, куда не доберется война.

Боренька с Сарой оказались в небольшом поселке, затерявшемся посреди степей Казахстана, и тут их догнала похоронка. Гершеле погиб при обороне Минска, и его узорчатая кипа валялась где-то среди многочисленных снарядных воронок, перепахавших подступы к городу, рядом с рваными и окровавленными пилотками с красными звездочками.

Боренька отупело сидел, прислонившись к саманной ограде, а вокруг бегали местные мальчишки, выкрикивая новую считалочку:

Внимание! Внимание!
Говорит Германия!
У нас сегодня под мостом
Поймали Гитлера с хвостом!
А на хвосте записка —
Не подходите близко!

Считалочка была смешной, звонкой, но Боренька помнил рвущее душу завывание сирен и вонь теплушек, и ядовитый гул самолетов с черными чужими крестами на крыльях… Вэй! Как далеко еще до того, чтобы поймать Гитлера…

Боренька забормотал:

Где ты, Виолетт?
Принес тебе привет…

В памяти всплыло улыбающееся личико Розочки.

Отупение разом слетело с Бореньки. Он побежал в местный военкомат. Широкоплечий, высокий, он кричал, что ему уже восемнадцать. Документы? Мужик, ты что, умом тронулся? Какие, к свиньям собачьим, документы! Мы из Минска последним эшелоном ушли, документы где-то и сгинули! Ты, шлемазл поганый, у меня отец погиб, а ты здесь прохлаждаешься? Пусти, говорю, на фронт, гнида!

И Боренька тряс перед лицом ошарашенного таким напором офицера отцовой похоронкой.

Поверили ему или просто очень нужны были солдаты, или не знали, как отвязаться от скандального мальчишки, который сыпал русскими, белорусскими и еврейскими ругательствами, поминал погибшего отца и требовал своего права на геройскую смерть, — неизвестно. Но Боренька на следующий день уже оказался в солдатской форме и тяжелых сапогах, а на остриженную голову домашним пирожком улеглась пилотка со звездочкой. Сара только всхлипнула.

— Мама, ты уж дождись, — неловко сказал Боренька. — Я вернусь. Точно тебе говорю, мама.

Ой, вэй!
Будет день, и будет пища,
Жить не торопись…

Новая жизнь оказалась логическим продолжением первой мирной Боренькиной жизни. Он опять почувствовал себя отличником и комсомольцем, и это было приятно — привычные ощущения давали какое-то подобие стабильности в мире, внезапно сошедшем с ума. В мире, где старый еврейский портной идет на фронт, а кусок сала стоит золотого кольца…

Боренька узнал всю изнанку войны, и она показалась ему похожей на подкладки старых пальто, которые частенько приносили отцу перелицовывать. Сверху — плотная, добротная ткань, а с обратной стороны — расползающийся дырами серый атлас.

Он валялся с пулей в плече в госпитале после Сталинграда, зацепился бедром за снарядный осколок на Курской дуге, ползал на брюхе по бесчисленным полям, перекусывая колючую проволоку и молясь, чтобы поле оказалось

не заминированным. Он видел героизм и предательство, высокие душевные порывы и гнусную грязь. Пил неразведенный спирт и лихо занюхивал рукавом. Не обращал внимания на вонючие портянки и ухаживал за медсестрами.

Он обдирал до крови тело и душу, но не жаловался. В самые тяжелые моменты, когда казалось, что терпеть уже невозможно, проще броситься грудью на амбразуру и сдохнуть героически, разом покончив с бесконечностью кошмара, Боренька видел портняжную мастерскую, и старый Гершеле сидел, скрестив ноги, прокалывал иглой плотную, неподатливую ткань. И у Бореньки открывалось второе дыхание, и он ловко забрасывал в плюющуюся горячим металлом амбразуру гранату, и успевал откатиться в сторону, чтобы не поймать шальной кусок железа.

В Берлин Боренька вошел капитаном.

Еще в сорок четвертом, получив погоны старлея, Боренька уверился, что вернется домой живым и здоровым. И четвертая его мирная жизнь начала стучаться в отуманенное войной сознание. Бореньке снилась Розочка, красивая до невозможности, улыбающаяся и протягивающая к нему нежные руки.

Где ты, Виолетт?
Принес тебе привет, —

шептал Боренька во сне и улыбался Розочке в ответ.

Приятели запасались трофеями, планируя дальнейшую жизнь, только Боренька никогда ничего не брал — ни от убитых немцев, ни во взятых городах. Вторая его жизнь, прочно связанная с еврейской портняжной мастерской, неожиданно заговорила громко, перемежая цитаты Талмуда с молитвами, и Боренька, наблюдая, как друзья показывают друг другу кто часы, кто золотые колечки, тихо бормотал: «Бог отцов наших, Бог Авраама, Исаака и Иакова…» — сам не замечая этого.

— Борька, не будь дураком, с чем с войны вернешься? — говорили ему. — С драными портянками, что ли? Или, думаешь, медали-ордена жрать можно будет?

— Лучше цимес в руках, чем цурес в кармане, — мутно отвечал Боренька и улыбался. — Найдется и для меня трофей.

Иногда богаче нищий,
Тот, кто не успел скопить.
Тот, кого уже никто нигде
Ничем не держит…

Уже в Берлине Боренька наткнулся на полуразрушенную швейную фабрику и вышел оттуда, волоча за собой небольшой, но очень увесистый чемоданчик, плотно перехваченный растрескавшимися старыми ремнями.

С этим чемоданчиком Боренька и отправился на родину.

Молодого капитана Элентоха ставили всем в пример, упирая на его бессребреничество. Ведь каждый, кто видел, во что превратилась родная земля после того, как ее перепахали войной, старался прихватить домой как можно больше. Волокли все, что только можно было утащить на себе. Ковры и драгоценности, швейные машинки и одежду, кофемолки и мясорубки, обувь и детские игрушки… Кое-кто из имевших доступ к железнодорожному транспорту отправлял на родину вагоны добра, набивая их и тканями, и мебелью, и мехами.

Только капитан Элентох уезжал из Берлина с одним небольшим чемоданчиком, в котором явно не могло поместиться ничего ценного. То, что в кузов полуторки этот чемоданчик грузили двое бойцов, никто не заметил.

Где ты, Виолетт?
Принес тебе привет,
Жду тебя домой!
Подпись: Николай II! —

выкрикнул Боренька рассветному солнцу, трясясь в кузове рядом со своим чемоданчиком. Он был уверен, что теперь все будет хорошо.

Минск встретил Бореньку пылью разрушенных улиц. Каменное крошево и обгорелые, торчащие во все стороны доски поразили его. Города не было. Лишь очерченное кровью и разбросанным хламом место, где когда-то стояли дома, бегали дети, отчаянно лаяли собаки, а бродячие коты устраивали крышечные спевки. Вместо райкома комсомола с цветочными клумбами была глубокая воронка, и Боренька долго ходил вокруг, заглядывая в нее, словно разыскивал остатки тех цветов, что в далекой своей жизни рвал для Розочки.

Инженеры утверждали, что отстроить город невозможно, — уж очень много каменного крошева с таящимися под ним неразорвавшимися снарядами и авиабомбами. Уж очень много крови и почти ни одного уцелевшего здания. Уже начали планировать новый Минск, в стороне от старого, разрушенного, но минчане не желали отдавать свой город. Нет, если кому-то хочется построить еще один город — пожалуйста! Чем больше городов, тем лучше. Но Минск будет стоять там, где и стоял! Пусть от города остались только пыль и пепел. Это не страшно, ведь именно пылью и пеплом удобряют землю, чтобы она родила стократ. И все больше людей, стекающихся в родной город, выходило по утрам на улицы — разбирать завалы, находить и обезвреживать бомбы и снаряды.

Жизнь понемногу налаживалась, и на окраинах разрушенного в пыль города уже поднимались деревянные бараки — временная мера для решения жилищного вопроса. И Сара ждала Бореньку в одной из таких барачных квартирок.

Соседи были поражены: капитан Элентох, молодой, красивый и неженатый, не привез ничего с войны, кроме обшарпанного чемоданчика! Те, к кому возвращались фронтовики, расстилали пушистые персидские ковры на щелястом барачном полу, в крошечных комнатушках наперебой стучали немецкие «Зингеры», прострачивая модные европейские ткани, хлипкие оконные рамы украшались изящными занавесками, а дворничиха могла выйти с метлой, нарядившись в шикарный лисий воротник, привезенным сыном или мужем из далекой поганой Германии.

Капитан Элентох подарил матери тонкое золотое колечко, похожее на то обручальное, что она отдала на неведомой станции за кусок желтого сала, черное платье из плотного шелка да пушистую теплую шаль. И все.

Барачные соседи, которые в прошлой жизни были соседями по улице, болтали, что молодой Элентох держит в чемоданчике под кроватью запасное обмундирование и ничего больше.

— Элентохи всегда были голодранцами, — шептали друг другу на ухо. — Это еще Циля Соломоновна говорила! Вот посмотрите на Бореньку! Вернулся — ну, герой! Капитан! Вся грудь в орденах! А что привез? Хоть бы о матери подумал, шлемазл…

Боренька же на соседскую болтовню внимания не обращал. Но, покараулив несколько дней у окошка, занавешенного марлевой шторкой, углядел мелькнувшие во дворе генеральские лампасы и, опознав в их владельце Льва Ильича Лифшица, подхватил свой чемоданчик, помалиновев натугой, и отправился в гости.

Лев Ильич, вспомнив в этой войне былые подвиги гражданской, дослужился аж до генерала и теперь ожидал нового назначения, проживая пока по-простому — в бараке, как и остальные минчане. Правда, его барачная квартира была куда как больше, и в ней имелась не только горячая вода, но даже и телефон, — но это уже частности. Розочка была при отце, а Циля Соломоновна умерла еще во время войны от воспаления легких где-то в эвакуации.

Умная Сара сообщила сыну всю эту информацию, и Боренька явился к Льву Ильичу подготовленным.

— Мазаль тов, Лев Ильич, — совсем по-домашнему поприветствовал Боренька генерала и бухнул под ноги чемоданчик. Хлипкие доски пола крякнули и просели от тяжести.

Лев Ильич тряхнул пухлыми щеками, вгляделся в визитера и всплеснул руками — в точности, как любила это делать Циля Соломоновна.

— Боренька Элентох?! Вот уж не ждал! Да каким молодцом! Розочка, ты только посмотри, какой Боренька стал красивый! И капитан!

Он и говорил так же, как говорили на той разрушенной снарядами и бомбами улице, в далекой другой жизни, и это странно не сочеталось с генеральскими лампасами и гордо висящим на проволочных плечиках кителем.

Боренька вздохнул, выдохнул, поднял глаза на Розочку, выглядывающую из-за плеча отца. Нет, не поблекли краски, Розочка была еще красивее, чем помнилось. И четвертая, мирная жизнь потянула Бореньку со страшной силой.

Девочка моя,
Завтра утром ты опять ко мне вернешься,
Милая моя,
Фэйгелэ моя,
Грустноглазая,
Папа в ушко майсу скажет, засмеешься.
Люди разные,
И песни разные…

Дважды раненый, прошедший всю войну, начинавший простым бойцом и закончивший офицером, Боренька твердо посмотрел в глаза Льву Ильичу и заявил:

— Да я к вам, собственно, по делу. Жениться вот хочу. На вашей Розочке.

Генерал так и сел от неожиданности. Права была Цилечка покойная, ох, права! Но Розочка об этом шлемазле все время вспоминала… и глаза у нее становились такие мечтательные. Парень-то и правда хорош! А ну, чем не шутит суровый еврейский Бог?

Лев Ильич с любопытством посмотрел на Бореньку и тонко усмехнулся.

— Скажи, а правду говорят, что трофеев с войны ты вовсе не привез? Или, как обычно, брешут наши собаки?

Боренька вернул Льву Ильичу тонкую усмешку.

— Да почти что не привез. Разве что вот, приданое для Розочки, — и он, расстегнув растрескавшиеся ремни, распахнул чемоданчик.

Лев Ильич был героем гражданской войны, директором фабрики, генералом… в общем, всю жизнь он был большим человеком, радеющим изо всех сил за советскую власть, всеобщее равенство и братство. Но где-то в душе его таилась тугая коммерческая жилка, которая при взгляде на Боренькин чемоданчик взвыла пронзительной флейтой. Лев Ильич мгновенно понял, какое сокровище привез Боренька в послевоенный город. Этот маленький обшарпанный чемоданчик стоил больше, чем весил. Да что там! За этот чемоданчик можно было купить не только все трофеи, которые сам генерал любовно отобрал для гражданской жизни, но и весь город!

Чемоданчик был плотно набит разнообразными швейными иголками, начиная от самых маленьких и заканчивая солидными иглами для швейных машин.

Мгновенно представив себе будущее Розочки с капитаном Элентохом, генерал Лифшиц одобрительно кивнул.

— Да разве ж я против вашего счастья, Боренька? Бери! Только учти, что моя-то бестолковка так и не научилась шить.

— Ничего, Лев Ильич, отец научил меня за двоих!

Розочка, не разбиравшаяся в тонкостях коммерции, поняла только то, что папа не против и она может выйти замуж за Бореньку. И Розочка, счастливо улыбнувшись, протянула руки к жениху — в точности, как снилось ему все военные годы.

Когда родилась дочка, вернулась к Бореньке Элентоху и вторая его жизнь — молодой майор Элентох самолично обшивал дочурку, наряжая ее, как куклу. Каждый вечер он сидел на диване, скрестив ноги, как когда-то старый Гершеле, тыкал иглой в неподатливую ткань, украшал бархатные платьица кружевными воротничками и жабо.

Сара потихоньку вздыхала, утирая счастливые слезы:

— Ах, Гершеле, видел бы ты сейчас нашего Бореньку! А ты говорил, что он никогда не научится шить… И вот, посмотри, как вышло: большим человеком стал, а шитье не бросил. И шьет — как ты учил. Никаких машинок!

Тихо, как в раю…
Звезды над местечком
высоки и ярки.
Я себе пою,
А я себе крою…

Вот только третья жизнь затерялась где-то, может, даже в той же снарядной воронке, в которой осталась кипа старого Гершеле. Или завалило ее обломками портняжной мастерской…

Через долгие годы, когда деревья, посаженные на месте мастерской, стали уже большими, а дома, выстроенные рядом, уперлись аж в облака, кусочек третьей жизни вернулся.

— Деда, нарисуй самолет! — просит Бориса Григорьевича внук.

— Деда, лошадку! — требует внучка.

И Борис Григорьевич, поддернув брюки с генеральскими лампасами, усаживается в кресло поудобнее, достает альбом и рисует. Он рисует козу с обломанным левым рогом и выпученными рыжими глазами.

— Это Баська, — объясняет Борис Григорьевич внукам. — Ох, вреднющая же была коза. Из-за вредности рог и сломала…

Рисует старого шарманщика, на плече которого красуется большой белый попугай с предсказательной бумажкой в клюве.

— А это дядя Хаим. Его шарманка была страшно скрипучей, но мы бегали за ним толпами, чтобы послушать… А еще можно было купить бумажку с предсказанием будущего…

Рисует и портняжную мастерскую, в уголке которой непременно виднеется согнутая над шитьем фигура.

— А вот это — ваш прадедушка. Видите, как он сидит? Раньше портные так сидели — скрестив ноги…

Но детям неинтересно слушать про незнакомого прадедушку, который зачем-то скрещивал ноги. Дядя Хаим пугает их — морщинистый старик с попугаем представляется страшным пиратом. Они не хотят козу с обломанным рогом — у них есть замечательные книжки с картинками, и там козочки аккуратненькие, беленькие, и рога у них в целости и сохранности.

— Самолет, деда! Лошадку! Цветочек! Танк! Котенка! — наперебой требуют дети и лезут к деду на колени, чтобы показать, как нужно рисовать котенка и самолет.

— Боренька, да что ж ты дитев страшными рожами пугаешь? — вмешивается Роза Львовна. С годами голос ее стал пронзительным, в точности, как был у Цили Соломоновны, и это иногда смешит Бориса Григорьевича чуть не до слез. — Боренька, да нарисуй дитям цветочек! Что ты, как шлемазл какой, все козу да козу! Овечку нарисуй, коровку, собачку! А Манечка с Левочкой пусть посчитают, сколько у них ножек!

Борис Григорьевич улыбается и послушно рисует. Но к ночи, когда большое семейство утихает, разбредаясь кто спать, кто к телевизору, он снова достает альбом, перебирает листы и рисует пышные клумбы у райкома комсомола, обвисший в летней жаре флаг, покосившиеся домишки на старой горбатой улочке, ребе Исаака, задумчиво вглядывающегося в Талмуд, директора школы с первосентябрьским букетом в руках, раскачивающийся колокол маленькой церквушки…

И чудится ему, что исчезли генеральские лампасы, а он — совсем юный Боренька Элентох, вот-вот побежит за цветами для своей ненаглядной Розочки, провожаемый ворчанием старого Гершеле:

— Сара, кого мы родили? Вэй, этот шлемазл опять будет воровать цветы! Элентохи никогда не брали чужого, даже если это цветок! Боренька, возьми деньги, купи букет, раз уж так надо!

Где ты, Виолетт?

Роза СТАНКЕВИЧ

Признание

* * *

Не как
Женщина мужчину.
Не как
Девушка принца своего.

Как изгнанник —
                        Родину.
Как верующий —
                        Бога.

Я —
      Люблю Тебя.

Признание

Как бокал с вином,
Нежностью к тебе
Я переполнена.

Люблю.
          Люблю.
                    Люблю!
Это слово,
Словно сердце,
У меня бьется в груди.

Дай мне руку,
Руку друга — ты
Найдешь в своей руке.

Голубизна
              Глубоких
                          Глаз!

Обожгла меня и
Испепелила…
Обожгла и
Возвысила.

Люблю.
Люблю.
Люблю!
Это слово,
Словно сердце,
У меня бьется в груди.

Каждая клеточка
Моего тела —
Бокал с вином.
Каждая струна
Моего сердца —
О тебе тоскует.

* * *

В ветках деревьев
Месяц сплетает
Свое гнездо
Из легких перьев
Туч нерастаявших,
Из трелей дроздов.

* * *

К веткам твоим
Прислоняюсь —
Воробушек, от дождей
Испуганный.

Здесь мне тепло, и
Я забываю:
Обиды и слезы,
Которые меня мучили.

Явор ты мой!
Сказки мне снятся
В ветках твоих…
Сказки мне снятся.

* * *

Спешу, спешу
К Тебе.

Единственной дорогой,
Дорогой сна.

Где исчезают всякие
преграды…
Время.
Годы…
Где только —
Я и Ты.

* * *

Если в окно Твое постучит
Маленький, озябший
Воробушко,
Ты — открой ему форточку.

Пусть погреется и отдохнет.
Далекая ждет его дорога.
Много там
Холода и дождя.

Ему бы — только прильнуть.
Ему бы только с силами
Собраться. И полетит,
И отлетит в далекие края.

Если в окно Твое постучится,
Знай — моя душа прилетела,
Увидеть Тебя и проститься.

* * *

Чтобы Ты меня понял,
Я учусь говорить
На Твоем языке:
Спрягаю глаголы
и
Местоимения «я» и «Ты»,
Стараюсь
как-то приблизить.

Но разве дело в языке?
Но разве кто-нибудь
Нашел слова?
Те самые… которые
Нужнее всех…

* * *

Не может быть такое —
Со мной одно,
С тобой — другое.

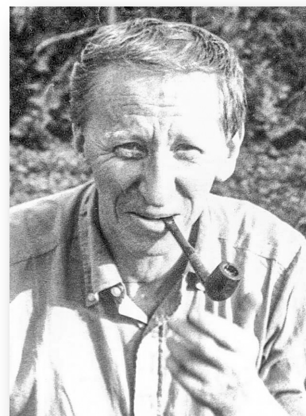
Неровно делит Бог.
Но как, но как ты мог
Произнести,

Когда от нежности я вся,
Как мак в степи, сгораю, —
«Не звони!»

Давно такого не было.
Нагрянул дождь,
И радость унесло.

Как белый дым,
Зубастая колючка
Застряла —

Отравная стрела.
Не звонила бы —
если б могла.



Джо АЛЕКС

В бесшумном полете гналась я за ним

Повесть

Эринния:
Над сушей и морем, как парус крылатый,
В бесшумном полете гналась я за ним,
пока не настигла убийцу сокрытого...

Эсхил. «Эвмениды»

Часть первая, или Эпилог,

помещенный в начале настоящей книги, а не в ее конце, для того чтобы объяснить читателю, почему Джо Алекс, который до этого терпеть не мог жизни в деревне, неожиданно для всех купил себе домик с садиком и пригласил туда на уикенд трех своих лучших друзей — Каролину Бикон, а также Бенжамина Паркера с женой.

Джо сделал это по нескольким причинам. Во-первых, он знал, что чтение им своей новой повести должно протекать именно в таких условиях: на террасе, после захода солнца, среди лесов и садов, когда засыпают животные, бодрствующие днем, и пробуждаются летучие мыши и ночные бабочки — тысячи бесшумных мохнатых мотыльков, которые живут в ночи, но всегда стремятся к свету. Одно из этих красивых, безобидных созданий энтомологи называют Atropos L., но все остальное человечество знает его под именем «бабочка Мертвая голова». Так вот, дело в том, что бабочка, которая своим названием обязана изображению человеческого черепа, помещенному природой на ее мохнатом туловище, играла большую роль в повести Алекса.

Во-вторых — Алекс знал, что это чтение откладывать больше нельзя. Минул целый месяц со дня убийства, оно уже сошло со страниц прессы и начало стираться в людской памяти, а мисс Каролина Бикон, равно как и миссис Розмари Паркер, непрерывно настаивали, чтобы он посвятил их во все подробности этого удивительнейшего дела. Так что, если уж принято решение купить домик с садом, то лучше это сделать сейчас, чем позже.

Третья причина, которая склонила Алекса к покупке домика, была высказана мисс Каролине Бикон еще за неделю до того дня, когда Джо прочел друзьям свою повесть.

Вернемся сейчас назад во времени к той минуте...

Каролина Бикон и Джо Алекс сидели друг против друга за столиком в ресторане, находящемся в большом искусственном саду на крыше огромного многоэтажного дома. Острый, прямоугольный контур этого здания, поблескивающего никелем и широкими листами стекла, возвышался над покатыми крышами древ-

нейшей лондонской улицы Пэлл Мэлл, словно корпус броненосца над грядами мелких волн, бегущих до самой границы плоского горизонта.

Вечер был теплым, и Каролина сняла легкую накидку со своих красивых плеч, покрытых ровным загаром цвета светлого золота, слегка приглушенного в эту минуту наступающими сумерками. Легким движением она отодвинула чашку и пододвинула блюдечко с ароматным, пахнущим пуншем кусочком торта.

— Ты слышал, что я сказала, Джо? — с легкой улыбкой спросила она.

— Конечно! — воскликнул Алекс с уверенностью тем большей, чем менее она была обоснованной. — Каждое слово!

Но он не слышал. Нет, он слышал слова, и сознание даже складывало их в какую-то осмысленную форму и последовательность, но он совершенно не понимал их смысла, хотя осознавал, что Каролина уже второй раз спрашивает его об одном и том же. Но о чем?

— Да, конечно! — повторил Джо. — А почему ты спрашиваешь?

Каролина наморщила брови.

— Теперь я совершенно уверена, что ты думал о чем-то другом, обманщик! Я спрашивала, когда ты, наконец, расскажешь об этой таинственной истории с бабочкой. А еще хочу тебе сообщить, что через три недели я уезжаю в Египет... — И, видя удивленное лицо Алекса, добавила: — Мы будем вести там раскопки недалеко от Сиди-Хафра. Профессор Николс абсолютно убежден, что именно там похоронены два последних фараона VII династии. Один из них... Но это не важно. Не будем о фараонах. Если я ничего не узнаю об этой бабочке в ближайшее время, то не узнаю о ней уже никогда. Потому что потом, когда вернусь, у меня будет масса других дел...

— К сожалению, это была не моя тайна, — Джо развел руками с такой экспрессией, что чуть не смел со стола фарфоровую вазу с разноцветными цинниями. — У Паркера возникло множество проблем с этим делом, разные высокопоставленные лица настаивали на абсолютном сохранении тайны, а все кончилось тем, что пресса добыла информацию о самоубийстве. И вот когда кто-то их журналистов напал на след всей истории, полиции пришлось долго и подробно объясняться. Поэтому мы приняли решение, что оба будем молчать. Ну, то есть — я и Паркер, — до тех пор, пока не пройдет некоторое время и люди начнут забывать об этом. Конечно же, дело «Мертвой головы» по-прежнему является тайной и останется ею, но... — Джо улыбнулся, — но жена начальника Департамента уголовного розыска Скотленд-Ярда и ты, которая являешься... ну, в общем, которая... ну, короче — являешься! — закончил он, будучи не в состоянии подобрать нужного слова, — можете теперь узнать обо всем. Но повторяю еще раз, что...

— Кажется, я никогда еще не сказала никому ни слова о твоих делах, Джо! — Мисс Бикон слегка обиделась. — И, надеюсь, мне не надо рассказывать тебе о том, что уже сотню раз различные газетчики применяли самые изощренные способы, чтобы узнать от меня хоть какую-то мелочь. Ты ведь теперь так отвратительно популярен... — Она надула губки с легкой гримасой. — Впрочем, можешь, конечно, никогда ничего мне не рассказывать. Ты ведь прекрасно знаешь, что не считаю эту область жизни особо интересной...

— Да... — покивал головой Джо. — Я прекрасно понимаю, что выкапывание старых черепков и обглоданных термитами скелетов имеет свое очарование и при некотором усилии доброй воли может даже казаться самым захватывающим занятием в мире. Археология — это изумительная наука! Я горжусь тобой! — Джо рассмеялся и положил свою руку на ее маленькую, но сильную ладонь. — Я шучу, дорогая... Обещаю, что уже на

этой неделе ты и Розмари Паркер все узнаете. Я лишь изменил фамилии, окрестности и характерные приметы реальных людей. А в остальном все осталось как было.

— Ты написал об этом повесть? Когда?

— В течение последних двух недель.

— А как называется?

— «В бесшумном полете гналась я за ним», — сказал Джо и слегка покраснел, предвидя следующий вопрос.

— Господи!.. — вздохнула Каролина. — А откуда на этот раз взято название?

— Из «Эвменид»...

— Из Эсхила! Каждый твой бестселлер профанирует в названии какого-нибудь близкого мне человека.

— Возможно... — Джо скромно склонил голову. — Но я самостоятельно перевожу эти фрагменты, и таким образом, при случае повышаю уровень своего образования. — Он рассмеялся. — Кроме того, популяризирую этих старичков, а это уже кое-что, в наше время, когда подавляющее большинство людей думают, что Ахиллес — имя скаковой лошади или один из видов ревматизма. И к тому же — это такие красивые названия для детективных повестей! Так что я сочетаю приятное с полезным...

— Боюсь, — сказала Каролина, — что приятность и полезность в этом деле сочетаются лишь для тебя одного. Но не будем об этом говорить! В доме повешенного не следует упоминать...

— ...о серьезной литературе. — Алекс покивал головой. — А может, когда-нибудь напишу настоящую книгу?.. — продолжал он мечтательно. — Эпохальное произведение, большой, прекрасный роман, который буду каждый вечер доставать из-под подушки и сосредоточенно читать, чтобы потом с почтением поцеловать собственную руку... Боюсь только, что никто другой этого не будет читать и все станут меня ругать за то, что теряю время, вместо того чтобы сочинять хорошие, идеально выстроенные загадки для доморощенных детективов, которыми становятся мои читатели, заплатив несколько пенсов за экземпляр какого-нибудь моего романа о преступлении... — Джо рассмеялся и процитировал: — «О, лебединый пух мечтаний! Быть может, время вам дарует ту свободу, которую мне старость принесет...» Прости за еще одну цитату. Но если уж мы заговорили обо мне — должен признать, что минуту назад не слушал тебя с тем вниманием, на которое заслуживает каждое твое изящное слово. Угадай, о чем я думал.

— Вероятнее всего, о каком-нибудь покойнике, которого кто-то отправил к Господу Всемогущему.

Каролина допила кофе и осмотрелась. Далеко внизу в пропасти за окном вспыхнули первые вечерние огни реклам.

— Ничего подобного! Я думал о чем-то тихом и спокойном, например, о... — Он умолк, потом, прищурив глаз, глянул на Каролину. — Я всегда знал, что не принадлежу к людям с неизменными привычками и взглядами. Но зато, как мне казалось, я отлично знаю, чего я не люблю...

— С первым утверждением я согласна, — кивнула Каролина. Неоновая реклама, вспыхнувшая на крыше здания напротив, зажгла в ее глазах фиолетовые искорки.

— Между прочим, — продолжал Джо, не обескураженный ее едким замечанием, — до сих пор был убежден, что не люблю жизни в деревне. Я родился в Лондоне, и хотя много путешествую, а иногда даже принимаю приглашения от знакомых, живущих в деревне, но несмотря на это, мне всегда казалось, что не смог бы жить вдали от города...

— Какой красивый фрагмент автобиографии... — иронически вздохнула Каролина. — Мне даже на секунду показалось, что ты умер и я читаю о тебе в газете... Так и представляю себе похоронную процессию за твоим гробом: все городские полицейские и все самые серьезные преступники Лондона, идущие вместе в такт... кажется, ты как-то говорил, что любишь траурную музыку Шопена, не правда ли?

— Совершенно верно! Но думаю, что в этой процессии шла бы также и одна моя знакомая дама, если бы, конечно, она не находилась именно в это время в каком-нибудь Богом забытом уголке Земли, занимаясь ковырянием в носу у мумии какого-то Аменхотепа Среднего. А ты бы плакала обо мне?

Вопрос был задан так легко и непринужденно, что Каролина уже открыла было рот, чтобы поведать, как бы ее рассмешило такое известие, но ничего не сказала. Потом опустила глаза.

— Ну, ты ведь знаешь, Джо, как сильно я бы плакала, — сказала она тихо и серьезно.

— Гм... — Алекс откашлялся. — Действительно. Не следует говорить о смерти после сытного ужина, потому что тогда человек становится сентиментальным. Однако, возвращаясь к теме: вижу, что ты не угадаешь, о чем я думал.

— Нет... — Каролина покачала головой. Слишком часто она боялась за Джо, когда он вдруг надолго исчезал с такой вот иронической улыбкой, после какого-нибудь непонятного телефонного разговора, в котором речь шла чаще всего о том, что найдено чье-то мертвое тело...

— Так вот — я решил переехать в деревню.

— В деревню? — глаза Каролины расширились до предела. — Как это — в деревню? То есть, ты же не хочешь сказать, что...

— Нет, не совсем. То есть, я не отправляюсь куда-то к черту на кулички. Просто купил вчера домик с большим тенистым садом с северной стороны и с выстриженной, как корт, травяной лужайкой с южной. У меня там розы, жасмин, магнолии и... еще не запомнил всех названий. Если честно, то я люблю одни циннии. А вообще, я никогда не был силен в ботанике. У меня даже в связи с этим возникали некоторые проблемы в школе, а потом...

— Нет, подожди! То есть как — ты хочешь сказать, что теперь будешь жить вдали от Лондона?

— Нет. Мой домик находится практически в Лондоне. Точнее говоря, недалеко от Ричмонд-парка.

— А-а, ну тогда это еще не так страшно, — Каролина облегченно вздохнула, но тут же взглянула на него с любопытством. — Послушай, случайно не там, где произошла эта трагедия?

Джо кивнул.

— Да, теперь буду, если можно так выразиться, соседом того дома, в котором разыгралась таинственная история «Мертвой головы». И именно туда я намерен пригласить вас всех, чтобы после ужина, в атмосфере, идеально соответствующей трагедии, видя перед собой тот сад, представить вам мой отчет о проведенном расследовании.

— Ну хорошо, но ты ведь купил этот дом не только ради того, чтобы прочесть нам в нем свою новую повесть?

— Разумеется, нет! Я намерен там остаться. Там очень красиво, Каролина, и если тебе вдруг когда-нибудь захочется меня навестить, ты сама убедишься, что...

— А что будет с твоей нынешней квартирой? Ты ведь целый год мечтал о ней, полгода планировал, несколько месяцев меблировал, а теперь хочешь ее просто так бросить?

— Нет, — покачал головой Джо. — Видишь ли, у меня есть один план.

Я хотел бы... Нет, правда, хочу покончить с писанием этих.. ну, ты знаешь... Ты ведь сама не очень уважительно к ним относишься. Мне хотелось бы написать что-то не просто ради денег. И вот думаю, что такой домик идеально подходит для этого.

— Да уж наверно... — сказала Каролина, но в ее голосе прозвучала нотка сомнения. Дело в том, что примерно раз в год Джо вдруг проникался ненавистью к одному лишь виду своей пишущей машинки «Оливетти» и вставленному в нее чистому листу бумаги. Тогда он ходил по комнатам и планировал написание потрясающего эпохального шедевра. Обычно это продолжалось неделю-две и заканчивалось неожиданным заказом билетов на борт одного из судов или самолетов, направляющихся в экзотические страны. Джо возвращался оттуда загоревший, веселый и примирившийся с судьбой. Снова звонили издатели, и снова он садился описывать приключения героя, которым был он сам. Кроме того, тогда обычно звонил или заходил Бенжамин Паркер, поскольку в таком большом городе, как Лондон, люди непрерывно умирают по необъяснимым причинам либо попросту гибнут от рук неизвестных убийц. И тогда Джо исчезал из поля зрения, чтобы потом вынырнуть на свет Божий, как комета в сопровождении толпы репортеров и фотографов, составляющих ее хвост. Джо Алекса любила пресса, любила его и публика. А поскольку он писал много, его популярность росла с каждым годом. Каролина не думала, что в этой ситуации он был бы в состоянии оставить свой образ жизни ради борьбы куда более трудной, чем поединок даже с необыкновенно ловким преступником. Хоть она и верила в то, что Алекс мог бы стать писателем большого формата, ей трудно было вообразить, что он найдет в себе достаточно силы воли для создания хотя бы одной книги, которую мог бы подписать своей настоящей фамилией. «Джо Алекс» — это, конечно, псевдоним, под которым его знали читатели, полицейские и преступники. Его настоящую фамилию знал Паркер, который прошел всю войну вместе с Алексом на борту ночного бомбардировщика, ежесуточно совершавшего налеты на Германию. Знала ее и Каролина, хотя никогда не была на борту ни одного бомбардировщика. И все же Каролина категорически не хотела выходить замуж за этого удивительного человека, несмотря на то, что любила его настоящей, совершенно искренней любовью уже не один год. В Джо Алексе было что-то неуловимое, но настолько неестественное, что ей порой казалось, будто он непрерывно играет роль в каком-то непонятном спектакле, начала, середины и конца которого он не знает, но знает, что в определенных ситуациях невидимый режиссер велит ему вести себя особым, точно определенным образом. Она не понимала всего, и это ее пугало. Быть может, именно поэтому она прятала свой страх под пренебрежением к его профессии автора детективных произведений. Сама она была одним из ведущих молодых британских археологов и знала, что все предрекают ей большое научное будущее. Однако бывали моменты, когда девушка вместе со всеми своими серьезными научными интересами казалась самой себе до смешного маленькой, незначительной, а этот мужчина, который на первый взгляд ничем серьезно не интересовался, трудился лишь тогда, когда ему самому хотелось, выполняя при этом работу, которая его совершенно не интересовала (она верила Джо, когда тот утверждал, что пишет детективы только ради денег), — и вот этот мужчина в такие моменты казался ей более правдивым, настоящим и глубоким, чем она сама. И может, именно поэтому боялась, что в один прекрасный день Джо небрежным жестом подаст ей рукопись, которая окажется литературным шедевром эпохи. Для этого у него были все данные: прекрасно знал жизнь, был невероятно умен, а скорость сопоставления фактов и концепций позволяла ему с поразительной

легкостью раскрывать мрачные тайны, перед лицом которых Скотленд-Ярд вместе со всем своим могущественным научным потенциалом и тысячами сотрудников оказывался беспомощным, как ребенок. Каролина подсознательно боялась такой минуты, потому что знала: тогда она выйдет за него замуж и будет... несчастлива.

— Я думаю, — сказала она, — такой домик подойдет для серьезной литературной работы гораздо лучше, чем квартира в центре города, но не уверена, что ты до сих пор не написал ничего серьезного лишь потому, что у тебя не было домика с садиком.

— Ну конечно нет! Я до сих пор не написал ничего серьезного, потому что... — Джо замялся, — просто потому, что еще не подошло время... Мне трудно это объяснить...

— А теперь чувствуешь, что это время подошло?

— Да.

— Ты уверен?

— Да.

Каролина помолчала, потом подняла голову.

— Ну что ж — я всем сердцем с тобой. Но пару минут назад ты сказал, что прочтешь нам свою последнюю детективную повесть. Она... Она что — действительно будет последней? То есть, ты больше не будешь писать произведений этого рода?

— Нет, ну почему же?! Конечно буду! — Джо рассмеялся. — Вряд ли я мог бы писать на чердаке без удобств, а ведь мало кто может выжить, зарабатывая лишь на одном чистом искусстве, в этом мире, просто переполненном уважением к этому чистому искусству. Часть первая трагедии заключается в том, что люди гораздо охотнее отдают настоящим художникам дань почтения, чем деньги, а вторая часть трагедии заключается в том, что без денег очень трудно сохранить на длительное время уважение к самому себе. Бедный человек вынужден переносить огромное количество неприятностей, неудобств и унижений, от которых свободен человек обеспеченный, так что Джо Алекс будет сочинять свои криминальные загадки до тех пор, пока люди будут их читать и платить за них деньги. Но ведь одно не имеет ничего общего с другим. Другое дело, что писать такие вещи исключительно ради денег безнравственно... Но с другой стороны, если эти сочинения служат высшей цели, — Джо снова улыбнулся, — то тогда все оправдано.

— Ты говоришь серьезно, Джо?

— Я не уверен, говорю ли это серьезно. Но я уверен в том, что серьезно приглашаю тебя на уикенд в мой домик. Кроме тебя будут только Бен Паркер и Розмари. Я прочту вам мою последнюю книжечку, которая одновременно станет ответом на сто твоих вопросов, заданных за последний месяц. А потом...

Он умолк.

— Что «потом»? — спросила Каролина.

Уже совсем стемнело. Во всех концах горизонта горели миллионы огней большого города. Их общее сияние создавало прозрачный светлый туман, в котором таяли звезды на небе.

— Потом... — Джо улыбнулся. — Посмотрим. С каждым человеком в жизни случаются разные приключения. Быть может, и я найду в себе силы пережить мое... — он кивнул официанту, стоящему под огромной запыленной пальмой, растущей в огромной кадке, обтянутой стальными обручами. — Мы готовы заплатить за все, что съели и выпили под этой крышей, — он взглянул на небо над головой, — если можно употребить такое определение.

— Это самая красивая крыша, какую нам удалось соорудить для наших

гостей, — официант склонил голову, а потом поднял взгляд к звездам, едва видимым сквозь дымку огней.

— Вы говорите, как римский поэт, — Джо положил деньги на стол и поднялся.

Но официант опередил его и подал Каролине накидку, висевшую на спинке стула.

— Вы — первый из наших клиентов, который распознал в моих словах цитату из Теофраста, — поклонился он. — Надеюсь, обед вам понравился.

— Он был превосходен! До свидания...

Алекс взял Каролину под руку, и они направились к лифту.

— Что за удивительная страна Англия! — сказал он вполголоса, склоняясь к маленькому розовому уху Каролины. — Официанты цитируют древних римлян, и их забавляет, что никто из гостей этого не замечает!

Но Каролина не ответила. Так же, как недавно Алекс, теперь она прослушала то, что он говорил. Девушка думала о том, что этот поразительный человек, который пережил, по всей вероятности, столько приключений, сколько не пережил никто из жителей этого огромного окружающего их города, только что сказал ей, что и он имеет право на свое собственное приключение. А этим приключением должна была стать просто-напросто книга, которую он хотел написать.

— Да, — сказала Каролина, думая, что он спрашивает, приедет ли она, — конечно, приеду. Но ты забыл сообщить мне адрес. И вообще — этот домик точно существует?

— Ну что ты — конечно! Хиггинс уже там действует. В субботу после полудня я сам тебя туда отвезу и на руках перенесу через порог. Будешь хозяйкой этого уикенда.

— Ну, если там будет Хиггинс, никаких дополнительных хозяек не потребуется, сказала Каролина и через бесшумно открывшиеся двери вошла в лифт...

Каролина была права. Когда в субботний вечер она прибыла в очаровательный маленький домик, расположенный на одной из тихих, зеленых улочек Ричмонд-парка, все уже было застегнуто на последнюю пуговицу.

Хиггинс, самый совершенный слуга, был невидим. Она обнаружила его лишь во время экскурсии по винным погребам домика. Одетый в белый фартук, он был наполовину погружен в огромный холодильник. Увидев ее, он выпрямился и, держа в обеих руках две изящно вытянутые бутылки рейнского вина, спокойно и с достоинством поклонился. Ни один волосок на его седеющей голове не выбивался из других даже на миллиметр.

— Добрый день, мисс Бикон! Замечательная сегодня погода, не правда ли? — он указал глазами на бутылки в руках. — Надеюсь, нам удастся подать вино, сохранив его соответствующую температуру, хотя непрерывные изменения в нашем хозяйстве и связанная с этим постоянная смена вспомогательного оборудования, — теперь он указал глазами на холодильник, — могут повлиять на некоторые неточности...

— Я уверена, что никаких неточностей не будет! — Каролина заглянула в холодильник. — Какой гигант! Интересно, что он будет в нем держать. Тут поместилось бы продуктов на армейский батальон.

— Я такого же мнения, если мне позволено это заметить, мисс Бикон... Но мистер Алекс любит кардинальные решения... Он приказал мне купить лучший холодильник, какой найду. Разумеется, были еще большие холодильники, но я опасался, что ни один из них не удастся транспортировать сюда вниз... Так что остановился на этом. Кроме того, квартал этот нахо-

дится несколько на отшибе, — Хиггинс развел руками и скорбно опустил голову, будто оправдываясь, — и потому я опасаюсь, что обед может оказаться не таким, каким он мог бы быть, останься мы в старой квартире... Хотя, конечно, здесь тоже есть свои плюсы. Здесь, например, очень тихо...

Однако по его тону Каролина поняла, что царящую вокруг тишину Хиггинс не относит к самым важным и обязательным достоинствам какого-либо жилья.

Несмотря на все опасения Хиггинса, обед удался на славу, и когда, наконец, они вчетвером расположились на террасе, укрытой густым плющом и Алекс вышел на минуту в свой кабинет, миссис Розмари Паркер вздохнула.

— Нам надо переехать в такой район, Бен. Мальчики подрастают, и я просто не знаю, чем буду заниматься, когда они вылетят из родного гнезда. Здесь у меня, по крайней мере, были бы огород и соседи. В центре можно прожить двадцать лет под одной крышей с тысячью других людей и даже не знать их имен. А здесь, в предместье, все друг друга знают, все симпатичны и доброжелательны... Я родилась и выросла в таком предместье...

— Ба! — Паркер вытянулся в кресле. — Во-первых: подумай, как далеко мне отсюда ездить в Скотленд-Ярд и сколько времени уходило бы на дорогу. Во-вторых: не все здесь так симпатичны и доброжелательны, как это может показаться на первый взгляд. Эти тихие домики и красивые виллы скрывают не одну тайну, узнав которую, можно поседеть...

Алекс вернулся на веранду и уселся напротив лампы, стоящей на столе.

Паркер приподнялся в кресле и прикоснулся пальцем к картонной папке Алекса:

— Здесь отчет о событиях, которые разыгрались вон в том доме, — он поднял руку и указал пальцем на два освещенных окна на первом этаже тонущей в вечерней тьме виллы на противоположной стороне улицы. — Месяц назад мы с Джо стояли в столовой, где как раз и находятся эти два светящихся окна, и не понимали совершенно ничего, а в соседней комнате... Но не хочу упреждать события.

— Вот именно! — Миссис Паркер обратилась к Алексу: — Начинай уже скорее читать, Джо! Я умираю от любопытства, а этот мой законопослушный полицейский не хотел даже и слова сказать за весь этот месяц!

— Хорошо! — Джо открыл папку. В ту же минуту большая ночная бабочка ударилась о лампу, завертелась вокруг нее и исчезла во тьме. — Красивое театральное начало! — улыбнулся Алекс. — Правда, это не была бабочка «Мертвая голова», а всего лишь «Сфинкс» — тоже красивая ночная бабочка и почти такая же большая... Они любят эти окрестности...

— Ну, читай уже! — сказала Каролина. — Я тоже женщина и потому имею право проявлять любопытство...

Джо кивнул.

— Да, действительно, Бен и я были там, но уже после совершения преступления. Но я позволил себе на основе довольно точной реконструкции разделить это произведение на две части: действие одной из них происходит перед преступлением, а во второй мы принимаем участие. Мне это казалось необходимым, потому что именно реконструкция первой части и наше знакомство с событиями, которые предшествовали преступлению, затруднили его раскрытие и выявление убийцы...

— Затруднили? — Паркер пожал плечами. — Да ведь убийца был найден в течение двух часов!

— Но еще чуть-чуть, и он никогда не был бы найден, а хуже всего то, что вместо него был бы арестован и осужден совершенно невиновный человек... Ну, ладно — начнем!

Джо открыл папку и подвинул ближе к свету первую страницу машинописной рукописи.

Часть вторая

Глава первая,

в которой мужчины думают, что женщины спят...

В этот вечер Джо Алекс писал, как обычно, без большого удовольствия, но и без отвращения. Листы в регулярных отрезках времени ложились на стол в аккуратную стопочку. Джо никогда не садился писать, не имея полностью готовой фабулы повести, включая подробно, во всех деталях, разработанный план каждой главы. Поэтому он писал сейчас, не очень глубоко задумываясь о том, что пишет. Это было так, будто одна половина мозга сочиняет гладкие, ясные предложения, ведя героев через диалоги и описания к неизбежной поимке убийцы, в то время как другая половина занята чем-то совсем иным. В данную минуту она была заполнена образом мисс Каролины Бикон, спящей или, быть может, только засыпающей над книгой где-то в другом конце Лондона. Он взглянул на лист, который только что вынул из машинки. Страница сто девяносто восемь...

Джо протер уставшие глаза, и даже не взглянув на прерванную главу, направился в ванную. Десять минут спустя он уже засыпал, погасив свет. Ему еще раз вспомнилась Каролина. Он даже протянул руку к стоящему на столике у постели телефону. Ему хотелось сказать ей что-нибудь приятное и пожелать спокойной ночи. Но не позвонил. Джо очень устал, работая весь день от самого рассвета. Перед глазами пробегали шеренги маленьких черных буковок, одна за другой, словно легионы назойливых насекомых, казалось, даже звучал их едва слышный шелест, когда они проносились мимо, складываясь в предложения, порой банальные, порой бессмысленные, иногда содержательные, соединенные мостиками тире и отгороженные восклицательными знаками. Постепенно буквы исчезли и остались лишь насекомые: муравьи, кузнечики и маленькие блошки, прыгающие со строки на строку. Потом, наконец, наступил мягкий хаос сна, контуры размылись, муравьи превратились в мотыльков, мелькающих птичек и ночных бабочек... Они махали крыльями все медленнее и окружали его все расширяющимися кругами, пока, наконец, он не уснул. Последним его видением была темная, мохнатая ночная бабочка, медленно кружащая в оранжевом полумраке с легким шорохом, и может, именно поэтому его не очень удивил телефонный звонок, который разбудил его на рассвете. Но это произойдет еще через несколько часов. А сейчас, когда Алекс засыпал, не только перед его глазами появилась большая мохнатая ночная бабочка. В далеком предместье среди садов в окрестностях Ричмонд-парка летало множество ночных бабочек, и там же находилась небольшая группа людей, которые ими интересовались...

— Бабочка «Мертвая голова»! — закричал во тьме сэр Гордон Бедфорд. — Давай циан, Сирил, быстро!

Его большая, тяжелая ладонь одним ловким осторожным движением накрыла поверхность матового светящегося экрана небольшим стеклянным сосудом с расширяющимся горлышком. Огромная пойманная бабочка отчаянно затрепетала крыльями и начала метаться в стеклянной ловушке в поисках пути спасения.

Из мрака мгновенно вынырнула ладонь Сирила Бедфорда. Она была такой же большой и тяжелой, как рука его брата. Циан на ватном тампоне был ловко вложен в горлышко сосуда, бабочка еще раз судорожно дернула крыльями, а потом медленно сложила их и упала на дно сосуда. Она еще раз дернулась, потом ее согнутые лапки выпрямились, и теперь она застыла неподвижно. Гордон Бедфорд осторожно вынул ватный тампон. Ночная бабочка выпала в углубление его широкой ладони. В чуть приглушенном свете яркого фонаря, расположенного по другую сторону экрана для привлечения ночных бабочек и десятков других насекомых, покрывающих полотно и беспорядочно ползающих по нему, эта бабочка была похожа на маленькую убитую птичку, лежащую на спине.

Оба брата склонились над ней. Даже в полумраке они были очень похожи друг на друга: оба огромные, массивные, с маленькими головками, посаженными на короткие, широкие шеи. Но одеты они были по-разному: Сирил — в одну лишь белую рубашку с короткими рукавами и шорты, а Гордон Бедфорд — в толстый свитер с высоким, завернутым воротником, плотно и высоко облегающим шею, а его голову покрывала шерстяная вязанная шотландская шапочка.

— Нам неслыханно повезло, Сирил. Это уже третья за сегодняшний вечер. До сих пор такого еще никогда не было в этой стране... — быстрыми, ловкими пальцами он втолкнул бабочку в пробирку, одну из многих, лежащих на складном столике, стоящем рядом с экраном. — «Атропос»... — он выпрямился и вытер пот со лба. Толстый свитер явно давал себя знать. Ночь была душной, и в воздухе уже висела гроза, хотя небо над их головами было еще чистым и покрытым звездами. Он поднял пробирку к экрану и еще раз посмотрел на бабочку. — Атропос — имя очень несимпатичной мифологической девушки, которая вызывала страх даже у Платона. Она перерезала нить человеческой жизни. Нам невероятно повезло, Сирил. Подумай только: все три бабочки прилетели сюда, в этот сад, с берегов Средиземного моря.

Сирил Бедфорд не отвечал. Он молча подошел к экрану и начал рассматривать длинное узкое насекомое с огромными, нервно дергающимися усиками, которое кругами бегало по полотну, как бы стремясь пробиться сквозь него к яркому, слепящему свету. Сирил сгреб с полотна всех насекомых, и экран сразу засветился ярче.

Гордон подошел к нему и взглянул на часы.

— Половина второго... Пора заканчивать. Я хочу, чтобы ты еще сходил сейчас к Рютту и сказал ему, что прошу перенести окончательную сверку текста с семи часов на шесть. Ну и скажи ему, конечно, что ты тоже придешь и принесешь полный комплект иллюстраций.

Сирил кивнул:

— Ладно... — Он взглянул на дом. — Наши жены уже спят. У Джудит свет погас пару минут назад. Зато Роберт еще работает...

— Это хорошо... — Гордон пробежал взглядом по темным окнам второго этажа. Лишь в одном из них горела лампа за неплотно задвинутыми шторами. — Я думаю, он будет готов вовремя. Сильвия тоже спит. Я не заметил у нее света после одиннадцати... — Потом добавил, как бы разговаривая сам с собой: — Просто удивительно, как быстро женщины засыпают. Думаю, что это одна из причин, по которым они сыграли столь малую роль в развитии нашего вида.

— Что? — Сирил тряхнул головой, как человек, который, интенсивно размышляя о важной проблеме, вынужден перенести внимание на другую, совершенно его не интересующую. — Почему?

— Я думаю, что всему развитию мирового прогресса мы обязаны людям, которые не могли ночью уснуть и лежали, вглядываясь в потолок,

даже если потолком был верхний полуовал пещеры, когда еще не было домов. Мужчины могут размышлять о чем-то, чего еще нет, но что они хотели бы создать. Женщины — нет. Они психологически детерминированы материнской функцией ухода за младенцами. Это оставляет их все еще близкими родственниками других животных. Они руководствуются инстинктом. Поэтому в вопросах, связанных с мыслительными процессами, я предпочел бы иметь дело с самым глупым мужчиной, чем с самой умной женщиной. А если говорить о сне, известны случаи, когда женщина, совершив самое отвратительное преступление, тут же преспокойно засыпала, в то время как мужчина в такой же ситуации обычно лежит, охваченный угрызениями совести, или — если ее у него нет — лихорадочно занимается предвидением ближайшего будущего. В женщинах есть что-то пугающее, Сирил, чего нет у самок рыб, птиц и даже высших млекопитающих. Цивилизация отдалила от нас женщин, а наивысшие достижения человеческой мысли, совершенные исключительно мужчинами, отдалили их от нас еще больше... — Он снова взглянул в сторону темных окон. — Хорошие и плохие, красивые и некрасивые, добродетельные и преступные — все они способны спокойно спать, независимо от драматизма ситуации, которую сами же и создают, потому что добро или зло, благородный поступок или коварное преступление — все это для них лишь некие реквизиты наподобие хорошо или плохо подобранного цвета платья или шали...

Однако Гордон Бедфорд ошибался.

Ни Джудит Бедфорд, жена его брата, ни Сильвия Бедфорд, его собственная жена, не спали в эту минуту, хотя свет в их комнатах уже давно был потушен.

Джудит Бедфорд лежала в своей постели на спине и широко открытыми глазами неподвижно смотрела в потолок. Ее худые, заложенные за голову руки, были совершенно неподвижны, зато узкие, остро очерченные губы едва заметно двигались, будто она вела с кем-то невидимым оживленную беседу, а выражение ее глаз говорило о том, что своего невидимого собеседника она ненавидит. В бледном свете звезд Джудит была похожа на мертвую монахиню с аскетическими чертами лица, узким орлиным носом и гладко зачесанными седеющими волосами. Ее высокий лоб избороздила сеть поперечных морщинок, преждевременно начертанных на нем жизнью. И в эту минуту лицо Джудит Бедфорд казалось лицом человека, охваченного отчаянием. Но внимательный наблюдатель сразу бы понял, что на дне этого отчаяния кроется ненависть к чему-то или к кому-то, с кем она вела свой безмолвный диалог.

Сильвия Бедфорд тоже не спала. Она тоже лежала в своей постели на спине и широко открытыми глазами глядела в потолок. Руки у нее тоже были заложены за голову. И хотя она находилась в комнате, меблированной совсем иначе, чем спальня Джудит, и хотя Сильвия была красивой, молодой и высокой, а Джудит некрасивой, невысокой и преждевременно постаревшей, однако обе они — совершенно не зная и даже не подозревая об этом, — были очень похожи друг на друга в эту минуту. Губы Сильвии точно так же беззвучно шевелились, а в ее глазах было столько же ненависти и отчаяния, как и в глазах ее невестки.

— Да... — прошептала Сильвия. — Только так... — Она вдруг резко села на кровати и, не зажигая свет, на ощупь потянулась за халатом. Сунула ноги в мягкие шлепанцы и встала. Направляясь к двери, она накинула на плечи халат. Сильвия положила руку на дверную ручку, тряхнула головой, и ее темные длинные волосы, легко рассыпавшись, упали на плечи. С минуту она стояла так неподвижно, потом решительно, но бесшумно приоткрыла дверь и выглянула из комнаты.

В доме была и третья женщина. Она стояла сейчас возле своей кровати в маленькой, расположенной рядом с кухней комнатке и смотрела на темный сад. Она тоже не зажигала свет. Не хотела, чтобы кто-то знал, что она еще не спит. Фонарь за экраном находился в нескольких десятках метров от нее, по ту сторону большой клумбы, и поэтому женщине были едва видны силуэты обоих мужчин, передвигающихся, как призраки, в ореоле рассеянного света. Женщина еще некоторое время смотрела на них, потом вздохнула и тихонько улеглась в постель. Она была молода, красива и прекрасно сложена. Несколько минут она лежала с широко открытыми глазами, стараясь не думать о том, что ей надо будет делать завтра утром на кухне. Кухарка уехала к заболевшему сыну, и Агнес Уайт, которая служила горничной в доме Бедфордов, пришлось подменить ее на время наступающего уикенда. Но одновременно она думала о своем женихе, который был далеко, и об одном мужчине, который был близко. Она еще раз вздохнула и закрыла глаза. Что-то, наконец, должно было случиться, и притом очень скоро. Нелегко быть молодой, красивой девушкой и жить так долго в одиночестве на таком безлюдье... Агнес сжала губы. Ближайшее будущее принесет развязку. Она открыла глаза и, глядя в темноту, начала размышлять. Ей надо, в конце концов, решиться. Иначе... Нет, другого выхода не было. Она знала: то, о чем она думает все последние дни, должно произойти независимо от того, каким тяжелым казалось ей это решение. Лежа, она вытерла две большие слезы. Она была очень несчастна, но полна решимости. Недаром в ее жилах текла кровь десятков поколений шотландских горцев. Агнес вдруг остро ощутила, как она соскучилась по маленькой деревушке, где родилась и жила первые семнадцать лет своей жизни. Три года назад она уехала оттуда. Агнес снова закрыла глаза и, чтобы уснуть, начала считать воображаемых овец. Но эти овцы паслись на скалистом, так хорошо знакомом ей склоне, покрытом островками травы, и сон все никак не приходил...

— О, мой добрый, милостивый Господь, — прошептала она, — я, наверно, самая худшая из всех девушек. Но Ты один поймешь меня. Потому что люди, кажется, меня не понимают...

Глава вторая

...и будут там лишь пустота и тишина...

Роберт Рютт сидел за столом, стоящим посреди комнаты, и, покусывая авторучку, внимательно читал лежащую перед ним стопку машинописных листов, время от времени заглядывая в блокнот справа. Он не услышал, как за его спиной приоткрылась дверь. Он вообще ничего не услышал, потому что петли двери были очень хорошо смазаны и она открылась совершенно бесшумно. Сквозь образовавшуюся щель в комнату проскользнула обнаженная женская рука и начала медленно двигаться в сторону выключателя. Наконец пальцы нащупали выключатель, и свет в комнате внезапно погас.

Рютт резко вскочил с места.

— Кто здесь? — спросил он, невольно понижая голос.

— Т-с-с... Тише... Это я...

— Сильвия! — В его голосе прозвучало такое изумление, что она застыла неподвижно. — Как ты могла!? Кто-то мог тебя увидеть! Он... он может войти сюда в любую минуту!

— Он в саду... — прошептала Сильвия Бедфорд.

Рютт услышал ее тихие шаги, приближающиеся к нему. Его глаза уже

начали привыкать к темноте. Он уже различал ее силуэт в светлом халате на фоне темной стены.

— Ты сейчас не можешь здесь оставаться...

— Перестань! — сказала Сильвия резко, слегка повышая голос. — Никто не видел меня входящей и никто не увидит выходящей. Сейчас уйду. Но сначала нам надо поговорить.

— О Господи! — Роберт подошел к ней и положил руку на ее плечо. И хотя это прикосновение не было грубым, но и ласки в нем тоже не чувствовалось. — Неужели мы не можем найти другой возможности поговорить? Я тебя умоляю...

Она сбросила его руку со своего плеча. В темноте он не видел ее лица, но прекрасно представлял себе, как оно сейчас выглядит. Мужчина отступил на шаг.

— А вообще-то, я бы даже хотела, чтобы кто-нибудь сейчас вошел сюда и вся эта комедия, наконец, окончилась! Что-то ведь должно случиться, если он найдет меня тут с тобой!

— Ради бога, тише! — повторил Роберт. — Миссис Джудит спит за стеной.

— Ну и пусть себе спит! Она потушила свет еще час назад. И вообще, мне нет никакого дела до миссис Джудит! — Однако, несмотря на это заявление, Сильвия оглянулась в направлении стены, за которой находилась комната Джудит Бедфорд, и стала говорить тише. — Не волнуйся. Она наверняка спит как убитая... Весь день работала.

Рютт глянул в сторону открытого окна. Далеко внизу сияло белое пятно света от лампы за экраном. Он различил две фигуры, склонившиеся над небольшим столиком возле экрана, и вздохнул с облегчением. Не спуская глаз с этих двух фигур и освещающей их лампы, он сказал:

— Я должен за сегодняшнюю ночь закончить правку его рукописи. Мне осталось еще восемьдесят страниц. Если уверена, что она спит, говори быстро, что случилось. Надеюсь, он ничего не заподозрил?

— Да ничего не заподозрил! — пожала она плечами. — Он вообще считает меня настолько вне всяких подозрений, что ни в чем бы не усомнился, даже если б увидел нас тут собственными глазами. Ну ты же его знаешь... А Джудит спит.

Но она ошибалась, потому что в эту минуту Джудит Бедфорд не только не спала, но даже не лежала в постели. Услышав шепот в соседней комнате, женщина мгновенно вскочила с кровати и босиком бросилась к камину. Она наклонилась и сунула в него голову. В эту минуту она выглядела, как ведьма из страшной сказки — в прозрачном балахоне и со сверкающими во тьме глазами. Сдерживая дыхание, Джудит слушала.

— Не сердись, — сказала Сильвия. — Я должна была прийти.

Она тихо подошла и забросила ему руки на шею, почти силой отворачивая его лицо от окна. Рютт неуверенно обнял ее, стараясь по-прежнему следить за садом.

— Я больше не могу так... — Сильвия положила голову на плечо Рютта. — Это должно окончиться! Должно, понимаешь!.. Я уже ни дня больше не могу ему улыбаться, не могу выносить, когда он целует меня, желая спокойной ночи и доброго утра. Я не могу думать об этой поездке с ним в Америку. Мне кажется, я могла бы его просто хладнокровно убить! — Она посмотрела в глаза Рютту. — Да, могла бы убить и убью его, если ты что-нибудь не придумаешь! — Произнося последние слова, Сильвия невольно заговорила громче.

— Тише! — Рютт прижал ее к себе, как бы обнимая, но даже она, вероятно, ощутила, что мужчина сделал это лишь для того, чтобы заставить ее молчать, и резко отстранилась.

— Ну ты же видишь, что они ловят там этих проклятых бабочек, — сказала она со злостью.

— Но твоя невестка... Если услышит хоть одно слово — тут же ему донесет! Она тебя ненавидит... — Он умолк и быстро прижал палец к ее губам, предвидя ответ. — Пойми, — закончил он не очень уверенно, — я ведь всем ему обязан. Не могу вынести мысли, что он о нас знает... Что мы здесь... под его крышей...

— Под его крышей?! — Она смотрела на него в темноте, и Роберт внезапно ощутил надежду, смешанную с острой болью унижения. А может, она в эту минуту отдала себе отчет в том, что любит человека, который является всего лишь секретарем знаменитого профессора и не хочет быть никем другим до конца своей жизни, а свой роман с его женой считает величайшей, хотя, может, и самой приятной ошибкой в жизни. Но Сильвия явно хотела остаться слепой. Как подавляющее большинство женщин, обладающих сильным характером, она не видела очевиднейших истин, если не хотела их замечать. — Какое мне дело до его крыши?! А если ты, как и я, не можешь больше это выносить — давай убежим! — Она снова приблизилась к нему и взяла его за плечи. — Слышишь? Убежим прямо сегодня... или завтра утром, потому что я больше так не выдержу! О, если бы он умер! Я была бы самой счастливой женщиной в мире!

— Тииише! — машинально предостерег он ее снова, но тут, словно молния, блеснула в его голове мысль о том, что если бы действительно профессор Гордон Бредфорд каким-то чудом скончался этой ночью, то тогда и он, Роберт Рютт, был бы самым счастливым человеком на свете. Или если бы она умерла? При одной мысли о том, что случится, если эта безумная женщина, в конце концов, проговорится о том, что их связывает, его окатил холодный пот.

— Послушай, — мягко сказала Сильвия, прерывая ход его мыслей, — я вышла за него, потому что он был очень богат и добр ко мне. Я тогда очень от всего устала и думала, что ничего уже не хочу, кроме покоя, а потому легко через все это пройду. Но теперь уже не хочу ни доброты, ни денег этого старого ревматика. Я хочу тебя. И ты будешь моим, явно и открыто перед всем миром, так, как женщина и должна иметь мужчину.

Роберт подумал, что скорее мужчина должен говорить такие слова женщине, которая ему желанна, но смог сказать только:

— Ради бога — тише!

— Вот именно! — тряхнула головой Сильвия. — Мне надоели ложь, шепот и тайные свидания! Если ты меня любишь так, как говоришь, да если даже ты лишь наполовину любишь меня так, как говоришь, то давай убежим, или...или... Послушай, мы должны что-то сделать! Все это не может так продолжаться! Роберт! — Она взяла его голову в ладони и вынудила смотреть ей в глаза. — Ты меня слышишь? Скажи что-нибудь...

— Я тебя слышу, — прошептал Рютт. — Но что мы можем сделать? Пойми, если уеду сейчас с тобой, я потеряю работу. Я ведь его секретарь и живу на деньги, которые он мне платит. Содержу на это жалованье мать и младшую сестру. Я не говорил тебе об этом, — добавил он быстро, — потому что мы никогда не говорили о моих делах. Но это правда. Я отвечаю за их судьбу. Но и ты... ты ведь тоже все потеряешь, если перестанешь быть его женой. Сейчас тебе все кажется простым, но что будет потом? Я ведь не сумею дать тебе и одной сотой того, что он. Я люблю тебя, но не настолько безумен, чтобы загнать нас обоих в безвыходное положение. Наша любовь растаяла бы среди нужды и упреков совести. Нам надо спокойно все обдумать. Когда ты вернешься из Штатов, мы что-нибудь придумаем...

Он умолк и скосил глаза на сад за окном. Огонек по-прежнему горел. Две огромные тени двигались у экрана. Роберт быстро отвел глаза от окна и посмотрел на Сильвию. Аргумент о матери и сестре пришел ему в голову в последнюю минуту. Он с облегчением вздохнул. Надо держаться этой версии.

— Хорошо... — сказала Сильвия после краткого раздумья. — Может, ты и прав. Надо, конечно, спокойно все обдумать, но...

— Послушай, — Рютт снова глянул в окно, — они могут оттуда заметить, что погас свет. Ведь профессор... я хотел сказать — твой муж, знает, что я сейчас работаю над текстом и должен отнести его ему, как только закончу. Скоро уже два часа ночи, и они сейчас прекратят ловлю бабочек. Профессор никогда долго не задерживается на свежем воздухе... ты ведь сама знаешь... Я сейчас спущусь к ним и спрошу что-нибудь... ну, что попало... чтобы оправдать, почему тут выключился свет. А мы с тобой поговорим утром или, еще лучше, после того как вернешься из Америки. Нам нужно некоторое время. Дай и мне подумать... А сейчас я пойду...

Он сделал движение, будто хотел уйти, но задержался. Сильвия стояла неподвижно, вглядываясь в темноту. Потом шагнула вперед, обняла его и, прижавшись головой к его груди, сказала почти с отчаянием:

— О Боже, Боже, Боже... как же я, глупая, страшно тебя люблю. А ведь должна презирать тебя, жалкий трус... Но не могу... не могу... не могу...

— Кто-то идет со стороны дома... — сказал сэр Гордон Бредфорд и, прикрыв глаза ладонью, повернулся спиной к экрану, стараясь распознать, кто это приближается к ним, обходя клумбу.

— Я не помешал? — Рютт остановился в нескольких шагах от братьев.

— Вы никогда мне не мешаете, Роберт, — улыбнулся Гордон. — Что случилось? Какие-то трудности с вычиткой текста?

— О, нет, господин профессор. Несколько мелких правок по пунктуации, и то они, вероятно, возникли в результате моих ошибок при перепечатке текста. Я пришел, чтобы спросить: принести ли вам рукопись сразу же после окончания правки, чтобы вы могли просмотреть ее еще до отъезда?

— Да, конечно. Я как раз только что просил моего брата передать вам, что рукопись должна быть готова не к семи утра, как мы договаривались раньше, а к шести. Мы просмотрим все иллюстрации и разместим их по тексту. Надо будет наклеить их на отдельные листы и цветным фломастером указать, какой странице соответствует каждая иллюстрация. Это займет у нас примерно часа два, и потом вы сразу отправитесь в издательство. Я договорился с ними о том, что текст книги со всеми иллюстрациями будет у них до полудня. Таким образом, это дело будет у нас уже сделано. — Он подошел к своему секретарю и, приглядевшись к его лицу в свете фонарика, скептически сказал: — Боюсь только, не упадете ли вы от усталости? Но, к сожалению, я не умею работать днем...

— Я прекрасно себя чувствую, господин профессор, — горячо возразил Рютт. — А вернувшись от издателя, немедленно, если позволите, просмотрю текст вашего доклада.

— Я собирался сделать это в самолете, — сэр Гордон секунду подумал. — Лучше всего будет, если сейчас вернетесь к себе, закончите корректуру и пару часов поспите. У вас есть будильник?

— Конечно, господин профессор...

— Вот и отлично, — Гордон подошел к экрану и пригляделся к двум бабочкам, которые сели на освещенную поверхность, потом обернулся к обоим стоящим молча мужчинам. — Ну что ж, пошли отсюда. Наверно, у тебя есть еще кусок работы с результатами, — обратился он к Сири-

лу. — А кроме того, не следует искушать удачу... А вы знаете, Роберт, что у нас была сегодня необыкновенно удачная охота! Перед вашим приходом мы поймали четвертую бабочку «Мертвая голова» за эту ночь! Это просто невероятно, не правда ли?!

— Четыре бабочки? — переспросил искренне удивленный Рютт. — Это подтверждает вашу теорию об их стадном инстинкте и массовых перелетах!

— Ну конечно! Мне кажется, что сегодня мы ловили их как раз на трассе перелета! Очень интересно, какие результаты покажут наблюдения немцев и французов. Они тоже с середины мая исследуют предположительные трассы их перелетов. Да, но еще есть проблема этого удивительного поколения, которое они произвели на свет здесь и в Скандинавии. У меня, разумеется, есть одна концепция, почему это произошло, но... — он умолк и потер плечо. — Пойдемте скорей отсюда. Боюсь, уже поздно... А ночь для меня убийственна, Роберт... Кроме того, мы же завтра вечером летим в Нью-Йорк. Вы тут сверните этот экран, — он снова потер плечо. — Мне кажется или на самом деле стало холодать?

— А ты не замечаешь, что в воздухе висит гроза? — спросил Сирил Бедфорд, осторожно собирая со стола пробирки и укладывая их в кожаную сумку. — Все ревматики чувствуют приближение грозы, разве не так?

Рютт очистил экран от насекомых, вытащил из земли два колышка и педантично стал сворачивать ткань. Потом подошел к складному столику и сложил его.

— Подать ли вам на ночь лекарство?

— Да нет! Пока еще не болит сильно... А дома тепло, и никто не устраивал там сквозняков. Пошли! Все взяли?

— Все, — Сирил кивнул и пошел первым, захватив по дороге фонарь и подняв его над головой, освещал им дорогу.

Они обошли клумбу, и когда остановились у двери дома, Гордон посмотрел на часы.

— Скоро два. Заканчивайте вычитку и корректуру, Роберт, и поспите немного. Впрочем, меня за вас совесть особо не мучит, потому что вы отоспитесь за все прошлые ночи после моего отъезда. Мы вернемся лишь через десять дней... Только помните: я хочу видеть вас обоих внизу ровно в шесть. Тебя, Сирил, со всеми снимками, а вас, Роберт, с корректурой...

Они вошли в дом. Сирил погасил лампу и на ощупь стал искать выключатель. Роберт закрыл входную дверь. Вспыхнул свет. Рютт поставил свернутый экран возле стояка для зонтов, потом повернулся и запер входную дверь на тяжелый, старый засов, который скользнул легко и бесшумно, потому что, вероятно, был хорошо смазан.

— Ну ладно, — сказал Сирил Бедфорд и, передав брату сумку с пробирками, широко зевнул. — Пойду в фотолабораторию, чтобы проверить, не надо ли что-нибудь подретушировать на снимках. И тоже потом немного вздремну...

— Спокойной ночи, господин профессор, — сказал Рютт и двинулся к лестнице, ведущей наверх. Сирил пошел следом за ним.

— Спокойной ночи... — сэр Гордон приостановился, взявшись за ручку двери. — Не забудьте: в шесть... Потом у меня будет еще масса дел до полудня, а после полудня хотел бы еще немного поспать перед дорогой... Правда, я, к счастью, хорошо сплю в самолетах, и вероятнее всего, проснусь уже в Нью-Йорке...

Он нажал на дверную ручку и, слыша приглушенные голоса на лестнице, вошел в свой кабинет.

Тщательно заперев дверь, он остановился и, сдвинув брови, осмотрелся. Затем медленно подошел к другому столу — лабораторному, который

тянулся по всей длине одной из стен. Положил на него сумку с пробирками, рядом с ней шапку и вытер платком вспотевший лоб. Вокруг него, от двери и до окна, на всех стенках висели ряды застекленных коллекционных ящиков, в которых покоились ночные бабочки, большие и маленькие, со сложенными и разложенными крыльями, в разных стадиях развития; на листьях лежали яйца, в маленьких пробирках виднелись гусеницы, личинки и взрослые особи. Некоторые были большими, как те, что пойманы сегодня ночью, другие — совсем маленькими. Гордон оглядел всю комнату, скользнув по своему музею невидящим взглядом, а потом этот взгляд вернулся к столу, посреди которого, опираясь на стену, стоял маленький шкафчик, снабженный красной надписью «Осторожно — яд!». Он вынул из сумки баночку с цианом, поставил ее в шкафчик и автоматически повернул ключик в замке шкафчика. Затем подошел к подручной полке с книгами, стоящей рядом с рабочим столом. Он отодвинул одну из полок, которая искусно маскировала укрытую за ней кофеварку. Сэр Гордон насыпал в нее кофе из маленькой баночки и включил в сеть. Потом, стоя неподвижно, смотрел на небольшой столик, на котором стояла пишущая машинка. Услышав тихое урчание кофеварки, он подошел к лабораторному столу, открыл один из ящиков и вынул из него коробочку, в которой лежали маленькие прозрачные капсулы. Одну из них он вынул, а коробочку закрыл, положил обратно в ящик и задвинул его. Потом, держа в руках вынутую капсулу, снова открыл дверцы шкафчика с надписью «Осторожно — яд!» и снова вынул из него баночку, которую перед этим поставил туда. Из бокового ящика достал резиновые перчатки, надел их, открутил крышку баночки и аккуратно высыпал порошок в капсулу маленькой деревянной ложечкой. Закрыв капсулу, выпрямился и положил ее на стол. Затем снова закрыл шкафчик с ядами, внимательно осмотрел капсулу и, вложив ее в одну из маленьких коробочек, лежащих в углу стола, сунул эту коробочку в боковой карман брюк.

Кофеварка тихо и мелодично засвистела. Сэр Гордон снял перчатки, быстро подошел к ней и налил себе чашку кофе. Он поставил ее на столик, рядом с пишущей машинкой. Глядя на маленькое облачко пара, вьющегося над чашкой, тихо сказал сам себе:

— Ну вот... Кажется, это все...

Медленно подошел к столу, который хоть и был завален книгами и бумагами, создавал, тем не менее, впечатление строгого и постоянно поддерживаемого порядка. Такой порядок не является результатом уборки, — он существует всегда, когда человек, работающий за таким столом, ощущает внутреннюю необходимость окружить себя предметами, всегда стоящими на одних и тех же, заранее определенных местах, чтобы иметь возможность без труда взять их оттуда, где они должны находиться.

Сэр Гордон протянул руку и поднес к глазам небольшую фотографию в простой рамке, стоящую на столе. На фотографии была запечатлена его жена — Сильвия, красивая, в белом платье и улыбающаяся, она стояла на тропинке, окруженная цветами. С минуту он смотрел на снимок, потом медленно опустил руку и поставил фотографию на прежнее место. Потом подошел к окну и отодвинул штору. За окном еще не светало, но ночь уже не была такой густой и темной, как четверть часа назад.

— Двадцать первое июня... — прошептал сэр Гордон. — Самый длинный день года...

Он взглянул на часы. Четверть третьего. Задвинув штору и вернувшись к столику, на котором стояла пишущая машинка, автоматически выпил кофе, отставил в сторону чашку и вложил в машинку лист бумаги. Некоторое время сидел неподвижно, вглядываясь в чистый лист. Потом вынул из кармана коробочку с капсулой, повертел в пальцах и спрятал обратно в карман.

— Человек не должен бояться того, что должен сделать, — глухо произнес он, так, будто эти слова были отражением мыслей, таящих намного большее значение.

С внезапной решимостью он выровнял бумагу на валике и начал писать:

«Я больше так не могу. Я встал на пути любви двух людей, которых ценю и уважаю. Если бы я не ушел, то стал бы причиной трагедии, которая будет продолжаться всю их жизнь. А поскольку их счастье представляется мне гораздо более важным, чем моя жизнь, то, размышляя о них и о себе, нашел единственный выход, который видится мне возможным. К сожалению, я не смог бы жить без этой единственной в моей жизни женщины, которую я полюбил. Любимая, не сердись на меня. Не обижайся на меня за этот шаг. Пойми, что здесь я постоянно страдал бы, глядя на вас. А там... там будет лишь пустота и тишина...»

Часть третья

Глава третья

...Он умер. Это случается с каждым...

Немецкий истребитель сделал широкий круг и появился сверху справа, со стороны солнца, которое слепило Алекса... «Истребитель, справа, сверху», — сказал он в микрофон. «Понял, истребитель, справа, сверху», — ответили два спокойных голоса, один из которых принадлежал бортовому стрелку Бенжамину Паркеру. В ту же секунду маленькая черная тень на мгновенье перекрыла солнце, и сквозь рокот двигателей Джо услышал долгую, нескончаемую очередь пулеметов противника. Он нажал на штурвал, и нос тяжелой машины наклонился вниз к невидимой за облаками земле. Пулеметная очередь не смолкала. «Еще полсекунды, — думал Алекс, — еще четверть... Сейчас это кончится, а потом пройдет время, и он начнет атаку с другой стороны...» И сразу же грозный сигнал в мозгу: «Почему молчат наши пулеметы?» Но вражеская очередь не смолкала и не заканчивалась... Джо еще сильнее налег на штурвал. Бомбардировщик накренился на крыло и вошел в белую почти липкую вату облаков... «Теперь я от него ушел», — с облегчением подумал Джо. Но острый пронзительный треск пулеметной очереди не стихал. «Каким чудом он висит надо мной?» — успел подумать Джо и проснулся.

Он резко поднялся на постели.

Телефон звонил непрерывно.

Алекс тихо выругался и потянулся к трубке.

— Алло, это Алекс, кто говорит?

— ...

— Я так и знал, что это ты... Кому бы еще могло прийти в голову будить человека ночью, да еще таким способом,

— ...

— Что? Уже день? Ну тогда — добрый день!

— ...

— Я надеюсь, что кого-то убили, иначе, полагаю, ты дал бы мне попользоваться моими гражданскими правами...

— ...

— Да. Я понимаю. Но ты можешь, в конце концов, сказать, что случилось?

— ...

Алекс тихо присвистнул и свободной рукой протер глаза.

— ...

— Да, конечно, я его даже знаю. То есть — знал. Профессор, выдающийся экономист, который писал книги о ночных бабочках?..

— ...

— Да, конечно, приеду! Буду через пятнадцать минут. В смысле — выеду через пятнадцать минут.

— ...

Джо положил трубку и выскочил из постели.

Через полчаса он уже медленно вел машину по широкой загородной аллее, по обе стороны которой за высокими ограждениями утопали в старых садах виллы, почти все без исключения несущие на себе отпечаток моды, царившей в эпоху второй половины правления королевы Виктории. Хотя архитектурный стиль того периода всегда казался Алексу выражением величайшего упадка человеческого духа в этой области искусства, он, тем не менее, очень внимательно и подробно запечатлевал в своей памяти очередные дома с парными номерами в этой аллее.

Начинался теплый летний день. Могучий ряд старых лип, стоящих, вытянувшись, как гренадеры, вдоль тротуаров, бросал глубокую тень на сады и дома.

— Пятьдесят... пятьдесят два... пятьдесят четыре...

У тротуара напротив дома, означенного номером пятьдесят четыре, Джо увидел два больших черных автомобиля. Он хорошо знал их, но на всякий случай глянул на регистрационные номера. Один из автомобилей принадлежал заместителю начальника Департамента уголовного розыска Скотленд-Ярда. Джо мягко нажал на педаль тормоза и припарковался за этими двумя черными автомобилями.

Дом под номером пятьдесят четыре был расположен несколько дальше от улицы, чем соседние виллы. С того места, где Джо оставил свою машину, можно было увидеть лишь крышу дома, поскольку густой дикорастущий виноград заслонял весь дом, оплетая снизу доверху железную решетку с золотистыми остриями верхушек вертикальных прутьев. Целые каскады виноградных лоз опадали вниз на плиты дорожки и оплетали калитку, превращая вход в сад в вылет глубокого зеленого тоннеля.

Алекс вышел из машины и, с интересом оглядываясь вокруг, направился к калитке.

Стало быть, здесь жил и умер Гордон Бредфорд.

Джо покачал головой. Казалось бы, столь состоятельный человек мог выбрать для себя более оптимистическое окружение, чем этот мрачноватый, тяжеловесный дом, стоящий в далеком предместье. Но ведь это мог быть дом его детства. По всей видимости, он стоит здесь как минимум восемьдесят лет. А может, тут жили родители Бедфорда? Он даже мог родиться в этом доме. В те времена люди рождались не в клиниках, а дома. Это даже было хорошим тоном в державе старой королевы, где хорошее воспитание и скромные манеры были высшим, если не единственным мерилом ценности человека.

Позволяя мыслям путешествовать в точно не установленных областях гипотетического прошлого и почти подсознательно думая о том, родился сэр Гордон Бедфорд на первом этаже дома или на втором, Алекс подошел к калитке и протянул руку к круглому белому эмалированному щитку, посреди которого торчала черная пуговица звонка...

Спальни, конечно, расположены на втором этаже, стало быть, если Бедфорд родился в этом доме, то произошло это, вероятно, в одной из них...

Джо встряхнулся. Он все еще чувствовал себя не проснувшимся окончательно.

Но не успел он прикоснуться к звонку, как калитка распахнулась, и дорогу преградил полицейский в мундире.

— Вы кого-то хотели видеть, сэр?

— Меня зовут Алекс, — сказал Джо, — и четверть часа тому назад мистер Паркер просил прибыть по этому адресу.

— Так точно, сэр. Мне приказано впустить вас. Прошу, проходите. Эта тропинка приведет прямо к входной двери.

Он взял под козырек и вежливо улыбнулся, делая шаг назад, чтобы дать возможность входящему свободно пройти.

— Спасибо, констебль, — Джо многозначительно подмигнул и не торопясь вошел.

Он услышал позади глухой, тяжелый лязг. Калитка захлопнулась. Ступая по узкой, выложенной каменными плитами дорожке, которая тянулась параллельно усыпанному галькой подъездному пути для автомобилей, он ощущал на своей спине взгляд полицейского. Наверно, читал какую-нибудь мою повесть, а может, даже все? Вечером вернется домой и скажет жене, снимая свой шлем и вешая его на стояк в прихожей: «Представь себе, сегодня я видел этого самого Джо Алекса!» Жена всплеснет руками и вытрет их о фартук, который надела, чтобы приготовить мужу обед. «Это которого Алекса?!» — «Ну того, что книжки пишет...» — «Да что ты говоришь?! И где же ты его видел?» В ответ на это полицейский приложит палец к губам: «Т-с-с-с! Об этом никому нельзя говорить. Я был на службе, когда погиб знаменитый сэр Гордон Бедфорд ...» Жена встряхнет головой: «Гордон Бедфорд? Никогда не слышала. А кто он такой?» — «Как — ты не знаешь? Ну, это тот великий экономист, который пописывал книжки о ночных бабочках...»

Нет, этого полицейский не скажет. Полицейские не разбираются ни в экономике, ни в ночных бабочках. Если полицейский давно несет службу в этом квартале, он, конечно, мог что-то знать о человеке с такой фамилией, но уж наверняка не знал никаких подробностей. О подробностях люди узнают из вечерних газет.

Джо обернулся. Только сейчас он осознал, что перед воротами не было толпы зевак и ни одного автомобиля, кроме полицейских. Это означало, что пресса не поставлена в известность, а прислуга даже не успела вынести это известие из дома в ближайшие, пробуждающиеся к утренней жизни лавки и магазины.

Входная дверь находилась в боковой стене дома. Приближаясь к ней, Алекс увидел в глубине большой, великолепно ухоженный сад. Он с удивлением заметил большие красные георгины на огромной, расположенной в центре сада клумбе.

Дверь открылась, и на пороге появился высокий толстощекий молодой человек в несколько излишне безукоризненно скроенном костюме и идеально завязанном, но слишком ярком галстуке.

— Доброе утро, мистер Алекс! — блеснул он красивыми белыми зубами и слегка поклонился, с уважением пожимая протянутую ему руку. — Какое интересное дело, боже ты мой, — весело сказал он. — С первой минуты, как только мы сюда приехали, телефон звонит и звонит! Одни министры! Шефу даже некогда было еще тут осмотреться. Непрерывно стоит у телефона и повторяет: «Да, сэр, так точно, сэр!»

Джо улыбнулся.

— В таком случае, я застану вашего шефа в прекрасном расположении духа, — сказал он, входя в дом и осматриваясь в узком, обшитом темным

деревом холле. — Я знаю, что ничто не доставляет ему большего удовольствия, чем беседы с высокопоставленными чиновниками. Это наивысшая и наиболее желанная награда за пот и труд его полицейского бытия...

— Я не уверен, сэр, — Джонс покивал головой с идеально причесанными темными волосами. — Он в такой ярости, что к нему трудно подойти. Хорошо, что вы приехали...

Из холла в глубину дома вела двойная дверь. Узкая лестница, покрытая толстым ковром, полукругом тянулась наверх. В противоположном углу холла виднелись каменные ступени, ведущие вниз, вероятно, в подвал.

— А каковы первые впечатления моего друга Бена Паркера, сержант? — спросил Алекс, оглядываясь по сторонам. Закончив осмотр и задав этот вопрос, Джо с явной симпатией взглянул на сержанта Джонса. Ему нравился этот парень, на первый взгляд похожий на щеголя из лондонских окраин. Однако, как обычно, первый взгляд ошибочный, потому что Джонс был прекрасным сотрудником Паркера и мог самоотверженно, часто без еды и сна, находиться рядом со своим шефом, всегда с добродушной улыбкой на лице, всегда безукоризненный и наполненный неизменной любовью к своей профессии. К Алексу сержант Джонс испытывал чувство, подобное суеверному восхищению, какое дикари испытывают по отношению к чародеям, обладающим, по их мнению, властью над всеми проблемами жизни и смерти на земле и на небесах. Впрочем, способы, какими Джо Алекс разрешал стоящие перед следствием проблемы, должны были казаться удивительными и необыкновенными каждому молодому выпускнику полицейской академии.

— Не знаю, сэр, — Джонс развел руками. — Пока что мы запустили всю обычную машину расследования: фотографов, дактилоскопистов, медэксперта... Они там сейчас сидят и занимаются своим делом. На первый взгляд кажется, что это самоубийство. Но шеф недоволен. Думаю, поэтому он сразу позвонил вам...

В эту минуту дверь распахнулась, и Алекс увидел выходящего из нее Бенжамина Паркера, заместителя начальника Департамента уголовного розыска Скотленд-Ярда. Возникший сквозняк громко захлопнул входную дверь.

— О! — воскликнул Паркер. — Ты уже здесь... — и по его улыбке Джо сразу понял, что заместителю начальника Департамента уголовного розыска совсем тут не весело.

Паркер обратился к сержанту:

— Джонс, они там уже заканчивают. Когда будут готовы отпечатки пальцев, заключение медэксперта и снимки, сразу давай мне все это, независимо от того, будем мы кого-то в этот момент допрашивать или нет. Вызовешь меня.

— Так точно, шеф.

— Пошли, — сказал Паркер Алексу и взял его под руку. — Сейчас мои люди закончат свои обычные дела в комнате, где наступила смерть, и мы с тобой сможем туда войти. А пока пойдем в столовую...

Не выпуская руки друга, он повернул к двери, из которой минуту назад вышел, и легонько подтолкнул Алекса в ее направлении.

Они вошли в большую мрачную комнату, посреди которой стоял, а точнее, тянулся огромный стол, окруженный стульями. На двух стенах висели портреты, вероятно, супружеских пар конца восемнадцатого и начала девятнадцатого века. Третью стену занимал великолепный буфет в стиле неоклассицизма, настолько напоминающий работы Томаса Чиппендейла, что Алекс застыл на пороге, а потом подошел и, осмотрев буфет ближе, с одобрением покивал головой.

— Что ты там увидел? — спросил Паркер с внезапной бдительностью.

— О, ничего особенного... то есть, ничего такого, что было бы связано с твоей профессиональной деятельностью. Но мне кажется, что это одна из красивейших работ Чиппендейла.

— То есть как? — удивился Паркер. — Ведь мебель Чиппендейла выглядит совсем иначе.

— Это правда... — Алекс обошел буфет вокруг, критически разглядывая стоящую за остекленными дверцами серебряную посуду. Ему не нравилось слишком хорошо вычищенное серебро. — Это правда, и, я думаю, ты — единственный в Лондоне полицейский, который хоть немного разбирается в мебели... ну, не совсем, конечно. Дело в том, что на старости лет Томас Чиппендейл занимался столярными работами именно в таком стиле. Если можно его творения назвать столярными работами. Но, наверное, он сам их так называл. Он был очень скромным человеком, хотя и обессмертил свое имя. И я почти убежден, что это его работа...

— Ладно... — Паркер потер лоб ладонью. — Я тебя умоляю, Джо, не втягивай меня сейчас в идиотские рассуждения о стилях мебели!

— Да? — Джо Алекс вздохнул. — Ты хочешь сказать, что единственный вид столярных изделий, который тебя сейчас интересует, — это гроб?

Он подошел к столу, сел, вынул желтую пачку своих любимых сигарет «Gold Flake» и достал одну. Не закуривая, он ждал, пока Паркер усядется на один из стульев рядом. Только теперь, внимательно присмотревшись к нему, Джо понял, как сильно потрясен происшедшим его друг.

Несколько минут они молчали. Из-за двери, расположенной возле буфета, доносился шелест шагов и время от времени вполголоса переговаривались люди.

— Он там... — сказал Паркер. — Мы, конечно, можем войти туда и сейчас, но, может, лучше подождем, пока техническая группа закончит свою работу. Я велел собрать все отпечатки пальцев и следы во всей комнате и сделать полный комплект снимков... — он пожал плечами, — даже таких, которые мне самому кажутся совершенно ненужными. Вообще, стараюсь действовать как можно точнее, соблюдая все правила, чтобы никто не мог меня потом упрекнуть даже в наименьшем упущении, — он рассмеялся сухим, невеселым смехом.

— А что, собственно, случилось? — спокойно спросил Джо. — Ты разбудил меня нечеловеческим образом в нечеловеческое время. Я приехал на место преступления и пока даже не увидел покойника. Также не заметил в доме ни одной живой души, за исключением твоих заслуженных специалистов. Покойный жил тут один?

— Да нет, ты что! Дом полон людей: жена, брат, невестка, секретарь, горничная — все они были тут с ним, когда он погиб... Но все спали и никто ничего не слышал.

— Он застрелился?

— Нет... — Паркер отрицательно покачал головой. — KCN в кофе.

— Как ты сказал? — поднял брови Алекс. — Я не силен в токсикологии. Можешь мне подробнее объяснить, что такое KCN?

— Цианид калия, или цианистый калий...

— Ага, спасибо. Он был один в комнате, когда пил этот кофе?

— Похоже на то.

— И в котором часу?

— Примерно между половиной третьего и четырьмя утра, как утверждает доктор Беркли. Но он говорит, что когда покойник будет на его столе, сможет точнее назвать время смерти.

— Ну так как другие могли что-нибудь слышать?

Алекс закурил и глубоко затянулся.

— Не знаю как, не знаю почему. Ничего не знаю. Я только что разговаривал со всеми ними. Они ведут себя сдержанно, как и пристало нашим английским братьям и сестрам, но все они мне не нравятся. Все до единого. Я велел им разойтись по комнатам, и все они сейчас, как бы это выразиться, под своего рода наблюдением Стивенса, который прогуливается вон там по коридору... — Паркер показал пальцем на потолок. — Джонс стоит внизу в холле. Это единственный выход из дома.

— А ты не принимаешь во внимание действительную возможность самоубийства?

— О, разумеется. Перед покойным даже лежало письмо самоубийцы.

— Ну тогда... — Джо сел и зевнул. — А не могли бы мы выдвинуть единственную в этом случае приличную гипотезу, то есть, сказать себе, что сэр Гордон Бедфорд, несмотря на то, что был владельцем изумительного по красоте буфета, пожелал распрощаться с этим миром? Если так поступим, то я вернусь домой и снова лягу в постель. И можешь не сомневаться, немедленно усну. — Он глянул на часы. — Семь утра! Господи, какая рань... А ты, хотя никогда и не спишь вообще, мог бы вернуться в Скотленд-Ярд и после сообщения всем заинтересованным высокопоставленным лицам этого известия заняться будничной канцелярской работой. А, Бен? У тебя ведь есть прощальное письмо и, как я понимаю, нет ни одного подозреваемого, иначе ты давно бы мне сказал об этом, и самое главное — нет ни одной зацепки. Разве не так? Я только вот не понимаю: почему ты сейчас выглядишь так, будто сам его убил?

— Если б я его убил, то, по крайней мере, знал бы точно, что тут произошло. А пока настолько ничего не понимаю, будто перед моим прибытием сюда через этот дом протопало стадо слонов. Кстати, ты, я полагаю, знаешь, кем был сэр Гордон Бедфорд?

— Знаю. Очень богатый джентльмен в среднем... ну, скажем, в позднем среднем возрасте с разнообразными интересами и любовью к изучению ночных бабочек. Был даже почетным профессором Оксфордского университета, не правда ли? Он умер. Это случается с каждым. Наверно, ему надоела жизнь, и он оставил прощальное письмо, в котором объяснил мотивы своего шага. Это тоже случается со многими.

— Да. Только есть одно «но», — Паркер иронично улыбнулся. — Да, письмо он оставил. Но не одно прощальное письмо, а целых два. И каждое из них содержит совсем иной мотив этого, как ты называешь, шага. А это, насколько мне известно, не очень часто встречается, не так ли?

— Ну наконец-то! — Джо встал. Вся сонливость мгновенно исчезла, будто кто-то вылил ему на голову кувшин ледяной воды. — Я знал, что ты что-то прячешь в рукаве, старый, хитрый плут. Ага! Теперь отчетливо все себе представляю: приезжаете, ты находишь прощальное письмо самоубийцы, вздыхаешь с облегчением, а потом куда-то заглядываешь и... находишь другое письмо! Как говорят в школе: с той же силой, но в противоположном направлении. А потом начинают звонить разные высокопоставленные лица, для которых того факта, что ты являешься заместителем начальника Департамента уголовного розыска, вполне достаточно, чтобы спустя две минуты после начала расследования требовать от тебя результатов: имя убийцы, его мотивы, а также полного разоблачения гнусного отравителя и подписанного им в присутствии двух свидетелей признания в своей вине. Ах, ты мой бедный! Но теперь не волнуйся — я с тобой!

Джо рассмеялся и потушил сигарету. Потом стал серьезным.

— Это примерно так выглядело, Бен?

Паркер забарабанил пальцами по столу.

— Твоя наблюдательность и фантазия делают тебе честь — предположения близки к истине.

Джо кивнул.

— Расскажи мне, что знаешь, и беремся за работу. — Он снова взглянул на часы. — Правда, сейчас такая рань... Но, как говорится, кто рано встает, тому.... — он умолк.

— А я ни о чем другом и не мечтаю, — сказал Паркер. — Но, к сожалению, ты мне слова не даешь сказать. Так вот, слушай....

Глава четвертая

В самом центре коллекции, между двумя огромными ночными бабочками...

Паркер глубоко вздохнул.

— Должен тебе сказать, что в течение последних двадцати минут звонили мне сюда: сначала мой шеф, потом шеф моего шефа, потом один министр, потом снова мой шеф под давлением какого-то могущественного финансиста, и наконец, еще один министр. Все по сути с одним требованием: скорейших результатов расследования. В конце концов, я сам позвонил шефу, умоляя, чтобы он всем, включая репортеров, заблокировал связь со мной. Честно говоря, у меня было не больше десяти минут времени, чтобы обменяться несколькими словами с жителями дома и осмотреться в комнате, где обнаружено тело. Этого было достаточно, чтобы позвонить тебе. Но сперва о Бедфорде... — Паркер на несколько секунд умолк, а потом заговорил быстро, будто отдавая себе отчет в том, что время неумолимо бежит, а где-то в огромных кабинетах ждут у телефонов важные особы, которые совершенно не разбираются в методах ведения полицейского расследования, но готовы к немедленной и самой суровой критике, если что-то пойдет нет так, как им хочется. — Бедфорд не был ни мультимиллионером, ни биржевым магнатом, смерть которого могла бы отразиться на курсе акций. Он, конечно, был очень богат и еще недавно вел бизнес в нескольких областях, но в последнее время вышел из него, и насколько мне известно, посвятил все свое время жене, с которой познакомился несколько лет назад и на которой женился спустя несколько недель после первого знакомства, а также ночным бабочкам, которых любил с детских лет и которые всегда оставались главным увлечением его жизни. Ну, ты уже знаешь, что он даже получил почетную степень доктора наук за свои труды, посвященные жизни ночных бабочек. В качестве исследователя жизни этих насекомых он, разумеется, был известен лишь небольшому кругу специалистов, и я понятия не имею, откуда ты, например, можешь о нем знать... — Но Джо не ответил, а лишь усмехнулся, и Паркер продолжал: — В Сити и в правительственных кругах Бедфорд был больше известен как финансовый эксперт. Говорят, у него были просто гениальные способности предвидения последствий подписанных контрактов и путей развития международной торговли. Он даже был постоянным советником нашего правительства при подготовке к подписанию международных договоров. Он знал много тайн, и через его руки проходило множество секретных проектов, касающихся таможенных тарифов, цен, международного оборота финансов и сотни других областей, о которых ни ты, ни я ничего не знаем. Его честность и добросовестность вошли в поговорку. Надо помнить о том, что люди, занимающиеся международной торговлей, всегда подвергаются опасности предложения взяток и

разного рода подкупа. Во многих странах принятие такого рода «комиссионных» не считается преступлением, а всего лишь доходом, получаемым вследствие занимаемой должности. У нас тоже кое-где можно встретить такое отношение. Так вот, Бедфорда как раз и ценили больше всего за его непреклонное отношение к попыткам подкупа и к любым полулегальным отношениям. А поскольку он обладал твердым характером, то неумолимо преследовал все проявления такого рода, как только нападал на их след, и немедленно заявлял об этом открыто, невзирая на положение и статус подозреваемого в злоупотреблениях. Вследствие этого не одна репутация была загублена раз и навсегда. У него было много врагов, его боялись, хотя и называли «Катоном[1] финансов». Самоубийство такого человека, а точнее, выяснение, самоубийство ли это, и если да, то по какой причине, — естественно, очень волнует высокопоставленных лиц. Поэтому они и наседают на меня, чтобы я сообщил им результаты предварительного расследования. Разумеется, я сразу же проинформировал кого надо о том, что хочу пригласить тебя в помощь. К счастью, они немедленно согласились. Ибо доверяют не только твоим способностям, но и твоему умению хранить тайны. А как первое, так и второе может нам сегодня очень пригодиться, потому что, должен сказать прямо, если мы быстро чего-то не сделаем, то, как мне кажется, можем оказаться перед лицом того, что бульварная пресса называет «неразрешимой задачей». Если отпечатки пальцев не помогут и если никто не расколется, я не знаю, что тут можно сделать. Впрочем, если бы не эти два письма... — Тут его перебил стук в дверь.

Джонс просунул краснощекое лицо в приоткрытую дверь:

— Наши люди уже закончили, шеф. Через десять минут приедет машина за покойником. Оставить его пока в кабинете в том же положении, в каком нашли?

— Да! — Паркер встал. — Мы хотим еще раз осмотреть это место, и думаю, тело покойного может нам пригодиться. Пусть люди из морга подождут. Я сам скажу им, когда можно будет забрать тело.

— Так точно, шеф!

Джонс исчез. Паркер двинулся в сторону двери, но задержался еще на минуту, чтобы закончить свой рассказ Алексу:

— В шесть утра, ну, может, на несколько минут позже, секретарь покойного Роберт Рютт позвонил живущему поблизости врачу, доктору Гарднеру, и с тревогой сообщил ему, что обнаружил сэра Гордона Бедфорда сидящим за столом в своем кабинете и не подающим признаков жизни. Врач прибыл спустя десять минут и немедленно констатировал смерть. Письмо, лежащее на столе перед покойным, характерный запах остатков кофе в чашке и такой же запах из уст покойного дали доктору основания предположить, что сэр Гордон покончил жизнь самоубийством при помощи калиевой соли синильной кислоты, то есть того KCN, о котором ты спрашивал, или попросту говоря, цианистого калия. Запас этого вещества, впрочем, находился тут же под рукой в кабинете, поскольку сэр Гордон употреблял его для того, чтобы убивать насекомых.

— Понятно, — сказал Алекс. — Ну что ж... Пойдем взглянем...

— Минуточку. У врача, к счастью, хватило ума самому ничего не трогать и другим не позволить — он остался у тела покойного и немедленно позвонил в ближайшее отделение полиции, а они, в свою очередь, тут же

[1] Марк По́рций Като́н (лат. *Marcus Porcius Cato*, 234—149 до н. э.) — древнеримский политик и писатель, известный как новатор римской литературы и консервативный борец против пороков и роскоши.

сообщили нам. Бедфорд был известен всей здешней округе; он родился в этом доме, здесь прошло его детство...

Алекс улыбнулся своим мыслям, но тут же снова стал серьезным.

— Что смешного? — с подозрением спросил Паркер.

— Нет-нет, ничего. Не обращай внимания. Пошли...

И двинулся первым. Паркер догнал его возле двери и открыл ее.

Поскольку единственное большое окно кабинета было заслонено шторой, а комнату освещала лишь стоящая на столе небольшая лампа, Джо с минуту стоял, напрягая зрение, чтобы осмотреться в полумраке.

Паркер пересек кабинет и включил висящую под потолком шестиламповую люстру.

Сэр Гордон Бедфорд сидел за столом, а точнее, лежал на нем верхней половиной тела. С того места, где стояли Паркер и Джо, нельзя было увидеть лица покойного.

Джо осмотрелся.

Полка с книгами, письменный стол, другой стол, поблескивающий стеклянными пробирками и никелем аккуратно расставленных приборов... Небольшой столик, а на нем пишущая машинка и рядом маленький стульчик... А вокруг, по всем стенам комнаты от окна до двери тянулись два ряда больших стеклянных коллекционных ящиков, заполненных неподвижными бабочками, насаженными на булавки и выложенными на фоне темного бархата, которым была обита внутренность ящиков. Эти бабочки напомнили Джо эскадрильи самолетов на ночном небе. Не двигаясь с места, он спросил:

— Дом был заперт изнутри?

— Да.

— И на всех окнах решетки? Я заметил их снаружи по дороге сюда.

— Да, на всех. Ну, тебе знаком этот стиль: резные, изогнутые, ажурные и на первый взгляд тонкие, но на самом деле весьма солидные и прочные. Люди тех времен заботились о своей безопасности... Они хотели спать спокойно.

— И действительно, — тихо сказал Алекс, — уснули они все уже на веки вечные, аминь!

Он подошел к окну и раздвинул шторы. Снаружи был сад, полный георгин. Джо смотрел на цветы, ощущая за своей спиной присутствие неподвижной фигуры у стола и слыша ровное, спокойное дыхание Паркера.

— А входная дверь?

— Оснащена автоматическим замком и засовом. Даже калитка в этом доме всегда заперта на ключ. Сэр Гордон категорически требовал от всех домочадцев, чтобы в те дни, когда он находится здесь, у каждого был свой ключ к автоматическому замку и чтобы каждый, выходя, запирал за собой дверь на этот замок. Он хранил здесь секретные документы, которые приносил для ознакомления на уикенды, и поэтому хотел иметь абсолютную гарантию, что никто чужой не сможет легко проникнуть в дом. Наш специалист первым делом исследовал все замки и решетки. Все в полном порядке. Никаких следов взлома. Входная дверь была заперта изнутри на засов. Так что можно смело заявить, что если это не самоубийство, то...

— ...то убийцей является кто-то из домочадцев, не так ли? — Алекс отвернулся от окна. — А кто находился в доме в минувшую ночь?

— Следующие лица:

жена покойного, Сильвия Бедфорд,

его брат, Сирил Бедфорд,

его секретарь, Роберт Рютт,

его невестка, жена Сирила, Джудит Бедфорд,

горничная Агнес Уайт.

— А что, кухарки у них нет?

— Есть, но она уехала к больному сыну.

— Понятно. Секундочку... Кажется, ты сказал: «в те дни, когда он находился здесь...». Стало быть, Бедфорд не жил в этом доме?

— Нет. У него была квартира в Сити, а здесь он лишь проводил некоторые уикенды и периоды, когда хотел спокойно поработать над изучением жизни своих любимых бабочек. Постоянно в этом доме находились лишь его брат с женой и прислугой.

— Та-а-ак... — Джо взглянул на стол.

— Теперь перейдем к письмам, — Паркер подошел к столу.

Джо двинулся за ним и остановился напротив покойного.

Гордон Бедфорд был почти великаном. Его мощные плечи закрывали почти всю поверхность стола, а пальцы свисающей вниз правой руки, под которой на полу виднелись осколки маленькой кофейной чашки с золотым ободком, похожи были больше на пальцы боксера, чем ученого. Когда Паркер с некоторым усилием приподнял голову и плечи покойного, Алекс содрогнулся. На лице сэра Гордона застыла таинственная и жуткая гримаса, та самая, которую Гиппократ тысячи лет назад назвал насмешливой улыбкой смерти.

Яд, по всей видимости, подействовал мгновенно.

Паркер осторожно выпрямил мертвое тело, оперев его плечами на спинку кресла. На секунду Алексу показалось, что мертвый хозяин этого дома сейчас расхохочется. Но искривленные неподвижные губы не шевельнулись.

Паркер указал пальцем на письмо, лежащее на столе.

— Это я обнаружил сразу, — сказал он. — Все здесь уже сфотографировано, зафиксировано и со всего сняты отпечатки пальцев, так что любую вещь можно брать в руки. Возьми этот листок и прочти.

Алекс взял и прочел:

«*...для иной души, не столь чистой и не столь восприимчивой к искушениям этого мира. Умоляю тебя. В моей жизни есть проблемы, которые долго копились, пока не стали причиной моего нынешнего шага. Быть может, они никогда не станут явными. В этой области немногое доходит до ушей незаинтересованных. Впрочем, нет никакого смысла углубляться в подробности. Люди, которых я мог бы назвать, и которые могли бы с легкостью подтвердить, что все содержащееся в этом письме является правдой, никогда этого не сделают, и никто не заставит их выдать себя. Никто никогда не докажет никакой их вины. А истинная правда такова: я родился в семье порядочных и честных людей, мои родители и их родители были людьми безупречными, да и сам я начал свою жизнь как человек честный, каковым и намеревался остаться до самого ее конца. Однако, к сожалению, я поддался искушению. И уже тогда хотел покончить с собой. Я знал, что не смогу лгать так легко, как другие. Но мне не хватило мужества. А потом, когда понял, что ничего не смоет с меня совершенного преступления, я начал увязать все глубже. Моя прекрасная репутация помогала мне в этом. Всем казалось, что я последний из людей, кого можно заподозрить в нечестности и взяточничестве. Тем не менее, я был обманщиком и взяточником, и проделывал все это с такой непонятной мне самому страстью, будто верил, что одно грязное пятно смывает другое. А может, я думал, что таким образом научусь быть циником? Что в конце концов забуду, чем на самом деле являются все мои достижения? Но я не забыл. Решение, которое сегодня должен превратить в действие, назревало во мне давно. Оно не является для меня ничем новым, хотя для многих моих знакомых и коллег по работе будет, наверно, большой неожи-*

данностью. Нет, нет, я вовсе не «Катон финансов». Я даже не обычный честный человек. Я множество раз предавал свою страну и свое честное имя ради барышей. И ничего уже не могу вернуть назад. Но признаваясь в этой ужасной правде за минуту до смерти, я верю, что, быть может, Господь всемогущий простит хотя бы малую часть моей огромной вины, а люди, которые доверили мне так много и которых я так жестоко обманул, поверят, что я не был совсем уж плохим. Я сам себе вынес приговор. Пусть моя судьба станет предостережением для всех тех, кто считает, что деньги являются целью и движителем всего в этом сложнейшем из миров. Чистую совесть нельзя купить ни за какие деньги. До свидания, моя дорогая Сильвия! Ты была светлым лучом в моей жизни. Ты была чистой, верной и честной, в сто раз достойнее меня. Я пишу «до свидания», ибо верю, что мы еще когда-нибудь встретимся там, куда уже не доходит эхо человеческих слабостей, а длительное покаяние, наконец, искупает все грехи. Да будет так! И это единственное, что меня утешает: желание увидеть тебя в том, лучшем мире. Пусть твоя большая душа и безукоризненная честность найдут хоть немного сочувствия ко мне. На веки вечные твой Гордон».

Алекс сложил письмо и осторожно положил его на край стола.

— Ну и что ты об этом думаешь? — спросил Паркер и, взяв письмо, вложил его в большой белый конверт, вынутый из бокового кармана пиджака.

— Настолько слащаво и банально, что могло бы даже быть правдивым, — сказал Джо. — «Чистую совесть нельзя купить ни за какие деньги...» Все это правильно, но очень плохо написано... — Он осматривался вокруг, и всюду взгляд его натыкался на бабочек с раскрытыми крыльями, больших и маленьких, тусклых и неожиданно разноцветных, насаженных на булавки, мертвых и неподвижных, как... Джо перенес взгляд на стол. — Тело сейчас находится точно в том же положении, в каком было обнаружено?

— Да. Если даже и есть какие-то минимальные изменения положения тела, то у нас имеются снимки, и мы можем внести поправки...

Джо обошел стол и посмотрел вниз, вдоль вытянутой руки покойного. Под ней лежала разбитая чашка со следами остатков кофе. По другую сторону тела лежало разбитое блюдечко.

— А что ты об этом думаешь? — спросил Алекс, указывая на блюдечко, затем присел и понюхал фрагмент разбитой чашки.

— Ну что?.. — Паркер пожал плечами. — Он явно держал в руках чашку на блюдечке, как это многие делают. Когда выпил — смерть наступила мгновенно. В этот момент чашку он, вероятно, держал в правой руке, а блюдечко в левой...

— Да, ты прав... — Алекс покивал головой. — Стало быть, чашка упала, когда он выронил ее из стынущей руки, а блюдечко соскользнуло у него с колен... Вот тут есть след от кофе... — Он указал на брюки покойного. — Так... — Джо еще раз обошел кресло и снова посмотрел вниз. — Это должно было произойти так... Любопытно...

— А мне куда больше любопытно, почему тебя не интересует второе письмо самоубийцы?

— Нет, как же! Очень даже интересует! — Джо поднял брови. — Но еще больше меня интересует, что здесь произошло. Это первое письмо было напечатано на пишущей машинке, и даже подпись стоит машинописная. Это вот та машинка?

— Да, — Паркер кивнул, подошел к маленькому столику и легонько ударил по клавише плоской открытой пишущей машинки. — Это порта-

тивный «Андервуд», купленный полгода назад и всегда досягаемый для всех домочадцев. Оба письма написаны на этой машинке. Второе я нашел вот тут... — Паркер подошел к столу и поднял лежащую там раскрытую книгу. Под ней находился сложенный вдвойне лист бумаги. Паркер молча протянул его Алексу.

«*Я больше так не могу. Я встал на пути любви двух людей, которых ценю и уважаю. Если бы я не ушел, то стал бы виновником их длящейся всю жизнь трагедии. А поскольку их счастье представляется мне гораздо более важным, чем моя жизнь, размышляя о них и о себе, нашел единственное решение, которое представляется мне возможным. К сожалению, я не смог бы жить без этой единственной женщины в моей жизни, которую так полюбил. Любимая, не сердись! Не обижайся на меня за этот шаг. Пойми, что я здесь страдал бы непрерывно, глядя на вас. А там... там будут лишь тишина и пустота... Страшно подумать, что я уже никогда больше не буду держать тебя в своих объятиях, Сильвия, моя единственная. Но в борьбе с роком еще никто не побеждал. Так, видимо, и должно быть. Спокойной ночи. Храни тебя Господь. Вспоминай обо мне иногда. Это все, о чем могу тебя попросить. Я любил тебя так, как никто никогда никого. Спокойной ночи — навсегда...*»

Закончив читать, Джо передал письмо Паркеру, а тот вложил его в конверт в котором уже находилось первое письмо.

— Да. Очень забавно.

— Меня это забавляет несколько меньше... — сказал Паркер. — Ну, ты хоть что-нибудь из этого понял?

— В лучшем случае, сэр Гордон Бедфорд кажется человеком, который, желая совершить самоубийство, пытался найти себе наиболее эффектный повод для этого. Пока что он открыл нам два из таких поводов: угрызения совести и обманутая любовь. Жаль только, что он предложил нам оба этих повода одновременно. Кроме того, меня интересует, как можно писать такие, что ни говори, экзальтированные письма на пишущей машинке?.. А ведь он умел пользоваться пером... — Джо подошел к столу и еще раз поднял раскрытую книгу, из-под которой Паркер минуту назад вынул второе письмо. Посередине книги, в углублении, созданном выпуклостью страниц, лежала авторучка. — Я полагаю, с нее сняли отпечатки пальцев?

— Конечно.

Джо положил авторучку на стол и взглянул на книгу.

— Это его рукопись в переплете, — громко объявил он то, что и так с первого взгляда было ясно. — Похоже на то, что как раз ее редактировал, потому что всюду видны поправки ручкой. — Он умолк и пробежал глазами по рукописи, беззвучно шевеля губами. Потом вполголоса прочел: — «В окрестностях Западного Лондона перелеты Atropos L. начинаются в период...» — Джо поднял голову и взглянул на Паркера, который глядел на него, стоя неподвижно и скрестив руки на груди. — Интересно, да? Я думаю, что такой специалист, как сэр Гордон, прекрасно знал, в какой период начинаются перелеты Atropos L. в окрестностях западного Лондона.

— Ради Бога, о чем ты говоришь? — Паркер подошел и заглянул Алексу через плечо.

— О том, что я удивлен, почему сэр Гордон прервал именно в этом месте. Как видишь, это последняя поправка в рукописи. Все указывает на то, что он дочитал текст именно до сих пор и хотел вписать это предложение, но что-то помешало ему, и он его не закончил...

— Ну-у... — Паркер взял в руки авторучку. — Может, просто, не успел сделать этого перед смертью?

— Вот-вот. Но мне представляется несколько неправдоподобным, чтобы он остановился, не закончив предложение, отложил авторучку и совершил самоубийство. Как ты думаешь?

Заместитель начальника криминального отдела, не отвечая, вынул свой блокнот и быстро написал в нем лишь одно слово: «Убийство!!!» Поставив последний восклицательный знак, он поднял авторучку, осмотрел стальное перо и сравнил обе записи.

— Да, это те же чернила, светло-зеленые.

Будто не слыша его слов, Алекс закрыл рукопись и прочел надпись на наклейке, находящейся на середине верхней стороны плотного переплета:

Гордон Бедфорд.
СТРАНСТВИЯ ATROPOS L.
(Попытка определения характерных черт явления
на основе исследований, проведенных в 1956—1961 гг.)

Джо положил рукопись на стол, точно на то место, откуда ее взяли, посмотрел на покойного, который сидел теперь со слегка отклоненной головой, глядя в пространство неподвижными, сощуренными в страшной усмешке глазами.

— Бабочки и кредиты... — Алекс внимательно вглядывался в лицо покойника. — Он похож на такого, каким и был: спокойный, сдержанный, культурный англичанин, человек порядочный, честный и солидный. Этот выдающийся подбородок свидетельствует об убеждении, что жизнь — это не крутая, полная ям и выбоин дорога, а скорее — ровное шоссе, по которому можно прекрасно ехать при условии соблюдения правил дорожного движения... Он почитывал Шекспира, брезговал ложью, употреблял хороший одеколон, любил монархию и верил, что человек должен добросовестно трудиться, каждый на той должности, на какую его поставили судьба и право рождения... В душе он презирал слабых и неуверенных, не знал страха, уважал прямую открытую игру. Он родился с опозданием на несколько десятков лет. Вероятно, был большим педантом... — Джо еще раз бегло окинул взглядом высокий, прорезанный двумя параллельными морщинами лоб покойного, под которым теперь уже навечно обрели покой упорядоченные и разложенные по полочкам сведения о шестиногих ночных крылатых созданиях и о платежном финансовом потенциале экзотических стран. — Интересно, почему на нем такой толстый свитер? Ночь была очень теплой и даже собиралась гроза...

— Кажется, у него был ревматизм, — ответил Паркер. — Там, на полочке рядом с баром, лежат обезболивающие таблетки.

— Да-да... — Джо вернул взгляд на стол. — А в этой рамке, вероятно, изображение его возлюбленной Сильвии, ради которой, если верить одному из писем, он покинул эту земную юдоль, полную слез... Интересно, как она выглядит. — Он взял в руки маленькую рамку с помещенным в нее небольшим снимком формата шесть на девять. Несколько секунд разглядывал фотографию, после чего покивал головой. — Если это миссис Сильвия Бедфорд, то она, как мне кажется, обладает стройной, грациозной фигурой, но, к сожалению, здесь трудно увидеть черты ее лица. Впрочем, посмотри сам.

Джо протянул Паркеру рамку. Паркер без особого интереса глянул на нее, потом посмотрел еще раз и наконец придвинул рамку к самым глазам.

— А это еще что такое? — пробормотал он.

— Вот именно... — Джо взглянул на покойного. — Надеюсь, сэр Гордон не был фетишистом. В Меланезии живут некоторые примитивные пле-

мена, у которых существует обычай рисовать портреты умерших на своем теле, чтобы продлить их жизнь. Но я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь, отправляясь в последнее путешествие, забирал с собой голову любимой... Интересно, этот недостающий фрагмент где-нибудь тут находится? Комнату хорошо обыскали?

— Думаю — да, — кивнул Паркер и почесал затылок. — Конечно, такая маленькая вещь, как человеческая голова, вырезанная из фотографии, могла остаться незамеченной моими ребятами, особенно если она пряталась где-то среди бумаг, но все же...

Джо наклонился и посмотрел в корзину для мусора.

— Туда заглядывал?

— Да, — кивнул Паркер. — Мы нашли там лишь одну бабочку, по-видимому, уже ему ненужную... Впрочем, ее детально сфотографировали, и если на ней окажутся какие-либо отпечатки пальцев, я тут же их получу... Я велел все разложить так, как лежало до нашего прибытия...

Алекс сунул руку в корзину и выпрямился, держа в пальцах большую бабочку. Она была мертвой и проткнутой большой иглой.

— Очень легкая, — тихо сказал Алекс. — Она явно погибла давно и успела уже совершенно высушиться...

Паркер подошел, и они вместе рассматривали мертвое насекомое.

— Гадость... — скривился заместитель начальника криминального отдела. — Не понимаю, как благоразумный человек может...

Он умолк, потому что Алекс уже не смотрел на бабочку. Его взгляд быстро перемещался от ящика к ящику и вдруг застыл.

— А это что такое? — прошептал Джо и, по-прежнему держа бабочку в пальцах, быстро подошел к застекленному ящику, висящему на стене за спиной покойного.

Ящик был почти пуст. На темном бархатном фоне выделялись две огромные ночные бабочки, желтоватые, с толстыми мохнатыми брюшками, покрытыми поперечными коричневыми полосками, а в длину — голубой линией. Посредине туловища у них находился узор в виде человеческого черепа.

Обе бабочки были абсолютно идентичны с той, которую держал в пальцах Алекс. Над бабочками в ящике была размещена надпись:

ACHERONTIAE — ATROPOS L.
«МЕРТВЫЕ ГОЛОВЫ»
(пойманы в Лондоне 1—7 июня 1959 г.)

Но оба склонившиеся над ящиком мужчины смотрели не на огромных бабочек. Застывшим изумленным взором они всматривались в третий объект, размещенный точно посередине, между двумя насекомыми.

Это была женская голова, вырезанная из небольшой фотографии и наколотая на булавку...

Глава пятая

У нас уже есть данные...

Первым пошевелился Паркер. Он подошел к ящику так близко, что почти коснулся лбом стекла, отделяющего его содержимое от остальной комнаты.

— Чтоб мне на этом месте провалиться... — сказал он приглушенным голосом. — Чтоб мне превратиться в бабочку, и пусть меня насадят на шпильку, если это не та голова, которой недостает на нашей фотографии!

— Несомненно... — Алекс еще с полминуты разглядывал вырезанную из фото голову, потом снял со стены ящик и вытянул в руках перед собой. — Атропос... — пробормотал он. — Как же их звали?.. Атропос, Клото, Лахесис... Три сестры...

— Какие сестры? — Паркер повернулся на каблуках и посмотрел на друга.

— Атропос — это была как раз та, которая перерезала ножницами нить человеческой жизни...

— Точно? Ты в этом уверен?

— Совершенно... — Джо едва заметно улыбнулся. — Мифология, в отличие от полицейского расследования, имеет тот плюс, что все в ней неизменно и никакие неожиданности невозможны... — Он подошел к письменному столу и поочередно вытянул два боковых ящика, плоских и пустых, если не считать нескольких карандашей и резинки. — Наш покойник, как видно, не пользовался ящиками стола...

— Вероятно, потому, что привозил с собой на уикенды все, что было ему нужно для работы. — Паркер пожал плечами. — В ящиках совсем ничего нет...

Джо подошел к другому — лабораторному столу — и начал разглядывать лежащие на нем предметы. Потом открыл шкафчик с надписью «Осторожно — яд!», заглянул туда, отодвинул герметически закрытую банку с белым порошком, затем снова осмотрел стол, вытянул один из боковых ящиков, закрыл его, вытянул второй, снова осмотрелся и подошел к кофеварке, укрытой в полке с книгами. Вероятно, после тщательно проведенного полицейского осмотра полка была немного отодвинута. Джо заглянул туда, раздвинул маленькие, чистые чашечки, аккуратно поставленные в один ряд, и, пошарив рукой в глубине за кофеваркой, выпрямился. Все это время Паркер внимательно следил за его действиями, стоя посреди комнаты.

— Больше тайников здесь нет... — сказал Джо. Он еще раз подошел к столу и осмотрел сумку с пробирками, вынул каждую пробирку и посмотрел на свет. Потом заглянул вглубь сумки и выпрямился.

— В чем дело? — нахмурил брови Паркер.

— Минуточку... — Джо подошел к лежащим на столе инструментам, перебрал их, взял длинные прямые ножницы, внимательно осмотрел и положил на место.

— Что ты ищешь?

— О... — Алекс сделал неопределенный жест. — Когда я сказал, что Атропос перерезала ножницами нити человеческих жизней, мне пришло в голову, что тот, кто вырезал эту голову из фотографии, тоже должен был сделать это при помощи ножниц... Но где эти ножницы? Потому что те большие, которые лежат на столе, совершенно не годятся для этой цели... Видишь ли, здесь из этого снимка голову вырезали маленькими загнутыми ножницами, которыми женщины пользуются при уходе за ногтями или для очень точных работ с шитьем и вышиванием. Край бумаги искривлен одним движением при вырезании...

Паркер подошел к столу, и они вместе внимательно еще раз рассмотрели снимок.

— Да, — пробормотал он. — Представь себе, что и я сразу подумал об этом, но позже, когда ты обнаружил эту голову в ящике, я обо всем забыл. Может, они спрятаны между книгами?

Джо покачал головой.

— Тот, кто вырезал эту голову, мог либо оставить ножнички где-то на видном месте, либо их спрятал... — Джо взял со стола увеличительное

стекло и подошел к застекленному ящику. — Здесь есть немного пыли и отчетливо видны отпечатки пальцев. Тот, кто интересовался этим ящиком, не очень заботился о том, чтобы скрыть этот факт... Но возможно, он действовал в резиновых перчатках... Раз уж мы об этом заговорили — одна пара таких перчаток лежит в ящике этого большого, лабораторного стола... Когда ты получишь результаты дактилоскопии и доклад судмедэксперта?

— Примерно через полчаса, надеюсь. Я велел им очень и очень торопиться, а мои люди знают, что если я такими словами их прошу, значит есть для этого серьезные основания.

— М-даа... — вздохнул Джо. — Это интересное дело. И наверно, впервые должен признаться тебе, Бен, что меня будут очень интересовать все возможные отпечатки пальцев в этой комнате...

— Как это? Ведь мы еще никого не допросили!

— Именно поэтому.

— Не понимаю... — признаваясь в этом, Паркер был абсолютно искренен. — Неужели ты хочешь сказать, будто уже что-то знаешь?

— Ничего подобного! Пока что у меня в голове полный хаос. Но фактов — масса. А когда так много фактов, серое вещество нашего мозга получает огромное поле для фантазии. Самые худшие преступления — это те, где убийца не особенно напрягается, чтобы запутать следы...

— Так ты считаешь, что это убийство?

— Не знаю, — развел руками Джо. — У нас ведь пока еще нет комплекта данных, даже официальных... Но думаю, что да. То есть, я на девяносто девять процентов уверен, что это так.

— Благодаря двум письмам самоубийцы, конечно?

— Да нет, что ты! В конце концов, самоубийца в самом деле мог написать два разных прощальных письма. В одном из них он хотел скрыть истинную причину и дать фальшивую. А потом, под влиянием эмоций (потому что сам факт подготовки к совершению самоубийства уже большой стресс для человека, правда?), он мог забыть о том, заранее приготовленном письме и выложить всю правду... Нет-нет, письма меня совершенно не убеждают. А вот в том случае, если сэр Гордон был на самом деле убит, они приобретают огромный вес для расследования.

— Какой же?

— Если б я только знал! Послушай — это уже все? То есть, я хочу сказать — вы не нашли ничего больше?

— Нашли. В правом кармане брюк покойного находилась небольшая коробочка, одна из тех, которые лежат в правом ящике стола. А в коробочке капсула, содержащая цианистый калий.

Паркер подошел к покойному и осторожно вынул из его кармана коробочку. Алекс глянул на нее и отвернулся от стола.

— Ну, значит, мы готовы, — тихо сказал он. Потом склонился над столом и, отодвинув в сторону рукопись в переплете, взял в руки маленький черный блокнот. — Ты это уже читал?

— Еще не успел... — Паркер подошел, и они вместе склонились над блокнотом, на обложке которого золотыми буквами было вытиснено: IN MEMORIAM.

«...19.06 — проверить заказ авиабилета... Р. пусть звонит С. о том, что мы приедем на уикенд...

20.06 — Конечно, банка, попросить его, чтобы всыпал обратно. То же и с кофе. Потом быть с ней мягким.

21.06 — Сжечь! Помнить о разложенной работе... Велеть ему написать несколько слов. Сжечь!!!»

— Гм-м... — Паркер покачал головой. — Интересные заметки... Как-то не похоже ни на экономические, ни на энтомологические записи...

— Да уж... — Джо снова взял увеличительное стекло и подошел к застекленному ящику. — Красивая девушка... Темные волосы, большие, слегка раскосые глаза, серьезный взгляд... Красивое лицо, но без тени улыбки. Интересно, склонны ли к правдивости эти губы? Физиогномика — весьма обманчивая наука... Эти губы выражают чувственность и слегка великоваты... В них больше жизненной энергии, чем того, вероятно, требовал образ жизни этой дамы... — Джо повернулся к покойному. — Если этот снимок сделан недавно, миссис Бедфорд должна быть значительно моложе своего мужа.

— Она моложе на тридцать лет. — Паркер вынул из бокового кармана пиджака свой блокнот и заглянул в него. — Да, на тридцать. Даже точнее — на тридцать один. Ей — двадцать семь, а ему было пятьдесят восемь...

— Из этой простой арифметической разницы Шекспир ухитрился бы сочинить трагедию, в которой было бы в пять раз больше трупов, чем у нас в этой комнате. Но, конечно, мы можем фатально ошибаться, хотя одно из писем подбрасывает нам именно этот мотив смерти сэра Гордона, а не какой-либо другой. Женская головка между двумя черепами тоже имеет свое значение, если именно на него намекает нам автор этой шуточки.

— Со стыдом должен признаться, что меня эта шуточка совсем не смешит... — Паркер подошел к двери, приоткрыл ее и высунул голову. В возникшей щели Джо увидел сержанта Джонса, беседующего с высокой молодой девушкой, одетой в черное платье, белый передничек и чепец с белыми кружевами на голове. Это явно была горничная.

— Джонс!

— Да, шеф?

Толстощекий сержант вытянулся.

— Если это не займет у вас слишком много времени и не помешает в приятном утреннем времяпрепровождении, — сказал заместитель начальника криминального отдела, — то будьте так добры немедленно отправить на автомобиле в лабораторию этот коллекционный ящик для проверки отпечатков пальцев на его поверхности и на этой головке, которая там внутри приколота булавкой...

Джонс глянул и тихо присвистнул.

— Так точно, шеф!

— Пошли... — Паркер взял Джо под руку и бросил через плечо Джонсу: — Когда будут готовы отпечатки, сразу позови меня!

— Ясно, шеф!

Но прежде чем они отправились в столовую, Джо еще раз взглянул на стол в кабинете, задержался и медленно перечислил:

— Микроскоп... чистые предметные стекла в коробочке... булавки в жестяной открытой коробке... стеклянный сосуд с ватой, накрытый прозрачной крышкой... пинцеты разных калибров, стоящие в маленьком стояке... эта сумка... в одном ящике эти коробочки, в другом — резиновые перчатки, нужные, видимо, как средство защиты при отравлении несчастных бабочек цианом на вате...

Джонс снова приоткрыл дверь и просунул в щель голову:

— Можно ли его уже забрать, шеф? — он указал глазами на неподвижную фигуру за столом.

— Да, — кивнул головой Паркер и вместе с Алексом направился в столовую. — И что ты обо всем этом думаешь? — спросил он. Видно было, что он совершенно растерян.

— Что я думаю? — Джо пожал плечами. — Я думаю, что... Ну, не знаю.. Пока нет оснований слишком много думать в настоящую минуту. Подождем...

— Так-то оно так, — угрюмо согласился Паркер и сел, придвинув ногой стул. — Но процесс мышления в ходе расследования относится к моим профессиональным обязанностям.

— У убийцы тоже есть что-то вроде профессиональных обязанностей. Прежде всего, он должен сделать все, чтобы не позволить поймать себя. И тут, если, конечно, твой контроль дверей и решеток был эффективным, мы пока знаем лишь следующее: сэр Гордон Бедфорд был убит одним из пяти людей, находящихся в эту минуту здесь, под охраной твоих великолепных сотрудников. Тот факт, что я еще ни одного из этих людей не видел, ничего не меняет.

— Я тоже так думаю, хотя менее уверен, чем ты. Но пять человек — это не один, и чтобы выделить из них этого одного...

Они умолкли. Из кабинета донеслись звуки тяжелых шагов медленно передвигающихся людей и голос сержанта Джонса:

— Сюда, парни...

Алекс встал и подошел к двери, ведущей в холл. Он слегка приоткрыл ее. Входная дверь в дом была широко распахнута. Четверо людей, сгибаясь под тяжестью носилок с телом, шли по направлению к выходу.

— Господи Иисусе! — сказал один из несущих. — Ну и тяжелый!

И с этими прощальными словами в свой адрес сэр Гордон Бедфорд в последний раз пересек порог дома, в котором некогда явился в этот мир.

Одновременно послышался вой полицейской сирены, сначала слабый, потом нарастающий, и когда ее звук достиг высшего предела, она умолкла перед воротами дома.

Джо повернулся на пятках.

— Это, кажется, кто-то к тебе, — сказал он Паркеру, который уже торопливо шел к выходу.

Алекс сел за стол, закрыл глаза и на ощупь вынул из кармана пачку любимых сигарет «Gold Flake». Не открывая глаз, сжал сигарету губами и зажег спичку. На несколько секунд перестал думать о смерти сэра Бедфорда, стараясь вслепую поднести огонь точно к кончику сигареты.

Скрипнула дверь. Джо быстро открыл глаза, зажег сигарету и увидел Паркера с большим конвертом в руках.

— У нас уже есть данные дактилоскопии, — Паркер сел за стол и поспешно вскрыл конверт. В нем находился лишь один лист бумаги. — Вот послушай: «Описание отпечатков, обнаруженных на предметах и мебели в комнате покойного сэра Гордона Бедфорда:

1. На внутренней и внешней поверхности ручки двери, ведущей в холл, находятся отпечатки пальцев, идентифицированные как принадлежащие миссис Джудит Бедфорд и мистеру Роберту Рютту, у которых контрольные отпечатки были взяты предварительно. Отпечаток большого пальца мистера Рютта в одном месте находится поверх отпечатка указательного пальца левой руки миссис Джудит Бедфорд, и это указывает на то, что мистер Рютт прикасался к двери позже, чем миссис Джудит. Кроме этого, на двери нет никаких других отпечатков, и это свидетельствует о том, что все имеющиеся ранее отпечатки были тщательно стерты.

2. На ручке окна в исследуемом помещении нет никаких отпечатков — вероятно, ручка также была тщательно вытерта.

3. Ручка двери, ведущей в столовую: многочисленные, наложенные отпечатки, оставленные, вероятно, в промежутке от нескольких до двадцати часов ранее, чем отпечатки на дверной ручке в холл, поскольку они

покрыты тонким слоем пыли, которая не появилась бы там раньше указанного срока (как это следует из предварительного осмотра помещения).

4. Кофеварка — никаких отпечатков, аппарат также был тщательно вытерт.

5. Чашки и блюдца, стоящие рядом с кофеваркой, — отпечатки пальцев мисс Агнес Уайт, горничной.

6. Ложечки — те же отпечатки мисс Уайт.

7. Дверца шкафчика, содержащего яд, и банка с ядом — никаких отпечатков — тщательно вытерты.

8. Сахарница, стоящая на полке вместе с кофеваркой, — отпечатки пальцев сэра Гордона Бедфорда и предшествующие отпечатки пальцев мисс Уайт, горничной.

9. Пишущая машинка — явственные отпечатки пальцев сэра Гордона Бедфорда на многих клавишах; оставлены недавно.

10. Чашка, разбитая у ног покойного: отпечатки пальцев горничной Агнес Уайт и более поздние — сэра Гордона Бедфорда.

11. Разбитое блюдечко — то же. Отпечатки пальцев Агнес Уайт, позже сэра Гордона Бедфорда.

12. Рамка фотографии, стоящей на столе: отчетливые отпечатки пальцев покойного сэра Гордона Бедфорда, миссис Джудит Бедфорд и мисс Агнес Уайт.

13. Авторучка, поверхность стола, открытая рукопись, лампа на столе — несут на себе исключительно отпечатки пальцев покойного сэра Гордона Бедфорда.

14. ПИСЬМА:

а) на письме № 1, говорящем о финансовых махинациях, имеются отпечатки пальцев сэра Гордона Бедфорда. ПРИМЕЧАНИЕ: отпечатки сделаны как бы вялой, безжизненной рукой — они слишком явственны в некоторых местах и слишком слабы в других (возможно, нанесены после смерти Г. Бедфорда);

б) на письме № 2, найденном под рукописью, нет никаких отпечатков пальцев. ПРИМЕЧАНИЕ: по отпечатанным на бумаге буквам видно, что по ним провели тряпкой, и это означает, что письмо было тщательно вытерто. Представляется вероятным, что это примечание может относиться также и к первому письму, но оно написано с применением очень старой машинописной ленты, — отсюда минимальное количество краски, что не позволяет с достаточной точностью определить, имело ли место вытирание письма №1.

ОБЩЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Оба письма написаны на одной и той же пишущей машинке, но применялись разные печатные ленты. Письмо №2 написано с применением новой ленты, а письмо №1 — старой, стершейся. Конечно, это может быть одна и та же лента, иначе сношенная в разных местах, хотя это представляется маловероятным, потому что степень изношенности резко отлична, а пишущая машинка «Underwood» автоматически изменяет ход ленты таким образом, что когда каретка движется в одну сторону, используется верхний край ленты, а когда в обратную — нижний. Данное примечание я прилагаю на тот случай, если это может оказаться важным в расследовании, хотя, конечно, это не относится к чисто дактилоскопическим исследованиям... Привет, Бен, и держись! (Подпись)». — Паркер поднял голову. — Это все... — Он вынул из кармана конверт, в котором находились оба «прощальных» письма, достал их и положил перед собой на столе. — Да, он прав. Одно письмо напечатано со слабой, еле красящей лентой, а другое — с совершенно новой.

— Надо это проверить, — Алекс встал. — Прекрасно работает ваша лаборатория... Но как же я мог этого не заметить?.. — Он двинулся к

двери. — Я еще явно не проснулся. — Джо остановился и сказал идущему за ним другу: — Послушай, Бен, а можно получить в этом доме чашечку крепкого кофе?

— Кофе? Думаю — да. Правда, в полицейских инструкциях ничего не написано насчет поения и кормления сотрудников полиции в домах, где совершено преступление, но...

— Но, что ни говори, а мы действуем здесь в интересах хозяина, или точнее, в честь его памяти... — Джо потер рукой лоб. — Как видишь, я начинаю нести чушь... Попроси кофе, но самое главное — пусть его принесет та симпатичная девушка, с которой недавно разговаривал в холле твой неоценимый сержант Джонс. Это, наверно, мисс Агнес Уайт, отпечатки пальцев которой обнаружил наш дактилоскопист на предметах домашнего употребления.

— Да, это она, — кивнул Паркер. Он подошел к двери, ведущей в холл и, открыв ее, сказал: — А, очень хорошо, мисс, что вы здесь... Надеюсь, в этом доме можно получить две чашки крепкого кофе, правда?

Джо усмехнулся, услышав смущенные слова девушки:

— Да, сэр... Конечно, сэр!

Быстрые легкие шаги, что-то белое мелькнуло в щели приоткрытой двери и исчезло... Паркер, не отпуская ручки двери, сказал еще кому-то, невидимому в холле:

— Когда я приказал вам охранять вход в дом, Джонс, то не имел в виду столь детального выполнения моего приказа. Вы не обязаны держать за руку никого из домочадцев, даже если это симпатичная, милая барышня в белом чепчике... Существуют другие способы не допустить того, чтобы они покидали дом...

— Так точно, шеф... — в голосе Джонса не прозвучало ни малейшего смущения. — Но с другой стороны, шеф, Агнес рассказала мне массу интересных вещей об этих... — он понизил голос, и Джо увидел его в дверях, поскольку сержант наклонился поближе к Паркеру и сказал почти шепотом: — Об этих Бедфордах. Тут в последнее время много чего произошло до нашего приезда...

— Гм... — Паркер кашлянул. — В таком случае, Джонс, держите ее за руку и дальше, а потом поговорим. Присмотрите только, как она приготовит нам кофе, а то тут недавно один из домочадцев выпил чашечку, в которой оказалось многовато цианистого калия...

— О, не беспокойтесь, шеф, — сержант скромно опустил глаза. — Агнес нам такого не сделает. Мы с ней, если можно так выразиться, подружились. И даже решили сходить вместе в кино, когда она и я будем свободны от работы.

— Желаю успеха! — сухо сказал Паркер. — А также, чтобы вас пустили на фильм с пометкой «Детям до 16-ти вход воспрещен», — он подмигнул. — Так что там говорит эта малышка?

— Что сэра Гордона Бедфорда наверняка убили. Она утверждает, что это вовсе не был человек, склонный к самоубийству... Она говорит, что все в этом доме сварили бы его живьем в ложке воды, если бы не боялись. И говорит, что, наверно, кто-то из них наконец не выдержал...

— Гм... — Паркер кивнул. — Ладно, мы еще об этом поговорим. А пока — смотрите в оба за этими, — он указал пальцем в потолок. — Никто не имеет права выйти из этого дома без моего личного разрешения, не забывайте!

— Конечно, шеф...

Джонс еще раз блеснул зубами и исчез, тихонько закрыв за собой дверь.

Алекс открыл дверь в кабинет, вошел туда и подошел к пишущей машинке. Он быстро провел пальцем по печатной ленте и взглянул на ее обратную сторону.

— Твои эксперты совершенно правы... — Он вставил в машинку чистый лист бумаги и напечатал: ЭТО СОВЕРШЕННО НОВАЯ ЛЕНТА. НА НЕЙ НАПИСАНО БУКВАЛЬНО НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ СЛОВ...

Джо встал и вручную прокрутил ленту назад. На гладкой черной поверхности светлели буквы: «Я больше так не могу. Я встал на пути любви двух людей...»

Алекс провернул ленту до конца письма. Затем следовал текст, только что напечатанный им самим.

— Поскольку оба письма напечатаны на одной и той же машинке, а на этой ленте виден отпечаток только одного, мы должны прийти к простому выводу, что то письмо напечатано раньше. И раз на пишущей машинке есть масса отпечатков пальцев сэра Гордона, причем сделанных совсем недавно, следует принять тот факт, что он сам написал это письмо самоубийцы... то есть.. короче говоря — ушел с дороги своей жены и какого-то другого человека, которого уважал...

— Так выходит, — покивал головой Паркер. — На чашке, которую он держал в руках, и на разбитом блюдечке есть лишь его отпечатки, если не считать более ранних отпечатков пальцев горничной, которая, по-видимому, моет и ставит чашки возле кофеварки. Так же обстоит дело с авторучкой, рукописью и так далее. Жаль только, что нет отпечатков его пальцев на ручке двери, ведущей в холл, хотя он вошел сюда именно через эту дверь... Но самое худшее то, что его отпечатков нет на кофеварке, хотя он должен был сам себе приготовить кофе, которым отравился. Ну и плюс еще это второе письмо...

— И еще тот факт, что на этой рамке, — ввернул Алекс, — есть также отпечаток пальца миссис Джудит Бедфорд... Думаю, сейчас самое время выпить кофе и поговорить с этими людьми. Мне тут пришло в голову... — он умолк.

— Что? — спросил Паркер.

Но Джо лишь тряхнул своими светлыми, короткими волосами.

— Не будем играть в пророков, — тихо сказал он. — Во всяком случае, мне кажется, что в этом деле есть пара моментов, с которыми у нас могут возникнуть небольшие проблемы и огорчения... Но может, кто-нибудь сам признается? — он улыбнулся. — Будем на это надеяться. — Джо посмотрел на часы. — Я здесь уже полчаса и не делаю ничего другого, кроме как обнаруживаю вместе с тобой все новые, совершенно не связанные между собой фрагменты. Пока что все это так хаотично, что трудно даже запомнить, что к чему относится... Господи, целых полчаса! Сейчас, наверно, позвонит кто-нибудь из твоих начальников. Вероятно, им кажется, что полчаса — это масса времени, которое ты напрасно потратил, вместо того чтобы ловить преступника...

Раздался стук в дверь.

— Кофе уже готов, шеф, — сказал сержант Джонс, указывая пальцем за свою спину. — Куда его подать?

— В столовую, — Паркер быстро подошел к двери, соединяющей кабинет со столовой, но Джо опередил его и вошел первым.

— Доброе утро, — сказал он в ответ на проворный книксен, которым приветствовала его появление горничная, стоящая на пороге двери в холл. — Будьте добры, мисс, поставьте это все там на столе, — он указал на поднос, который она держала в руках. — О, и бутерброды есть! Я совсем забыл о еде, а ведь сегодня еще не завтракал...

Паркер вошел следом, внимательно наблюдая за движениями горничной, которая поставила поднос на стол, сняла с него тарелку с бутербродами, две чашки и кувшинчик, который дымился, распространяя приятный запах свежезаваренного кофе.

Горничная взяла поднос, снова молча сделала книксен и, слегка покраснев, направилась к двери.

— Минуточку... — Джо подошел к столу и поднял салфетку, которой были накрыты бутерброды. — М-м-м... как же все тут великолепно!

— Может, что-нибудь еще подать? — тихо спросила девушка, покраснев еще больше.

О, нет. Этого нам вполне достаточно... Но не могли бы вы, мисс, задержаться на минуту? Мы хотели бы выяснить у вас некоторые детали...

— Да, сэр. Конечно, сэр.

Джо сел и налил себе кофе.

— Ну бери же, скорей! — сказал он Паркеру, который медленно приближался к столу. — А вы, мисс, почему не садитесь? Мы ведь не гости семейства Бедфорд, правда? — Джо встал и отодвинул для нее стул. После легкого колебания девушка подошла и села на краешек стула, опустив глаза и сжимая руками поднос, который осторожно поставила на стол перед собой. — Мисс Агнес Уайт, не так ли? — спросил Джо и взял бутерброд.

— Да, сэр...

— Так вот, мисс Уайт, как вы прекрасно знаете, здесь ночью произошел ужасный трагический случай, и мы хотели бы услышать ваши ответы на несколько вопросов. Вы хорошо помните, что делали вчера на протяжении всего дня?

— Думаю, да, сэр... — сказала Агнес Уайт, и Джо, который, поднося ко рту бутерброд, смотрел на нее очень внимательно, заметил, что румянец на глазах сходит с ее лица.

Девушка побледнела.

— Я вас слушаю, сэр, — тихо сказала она.

Глава шестая

Наблюдения мисс Агнес Уайт

Джо сделал еще один глоток кофе.

— Превосходный! — сказал он с одобрением. — Вы сами его заваривали, мисс?

— Да, сэр... Конечно, сэр.. — она впервые подняла глаза. Они выражали легкое удивление в сочетании с любопытством. Но было в них и кое-что еще: быть может, страх, а может, какое-то другое чувство, которое Алекс пока не мог определить.

— Я спрашиваю лишь потому, что не могу понять, почему сэр Гордон, имея в доме человека, который так хорошо умеет заваривать кофе, заваривал его себе сам при помощи кофеварки.

— О, это вовсе не так сложно для понимания. Сэр Гордон всегда работал по ночам, и тогда обычно он находился один в кабинете. Ему было неудобно после полуночи будить меня или кухарку, потому что мы ведь работаем с рассвета, и тогда он установил у себя в кабинете эту кофеварку. Он пил очень много кофе, сэр. У него было низкое давление, и даже доктора советовали ему, чтобы он так делал. Он однажды сам так сказал, сэр, когда миссис Джудит спросила его за обедом, как он может пить ежедневно столько кофе. Я сама это слышала, потому что как раз подавала им за столом...

Она упрямо тряхнула головой. Было видно, что вспоминает все это в точности. У нее были действительно красивые, подлинно золотые волосы, свернутые в узел на затылке. Они прекрасно обрамляли ее хорошенькое личико с большими спокойными голубыми глазами.

«Да-да, они такими кажутся, — подумал Алекс, — но действительно ли у нее спокойно на душе?»

— Итак, сэр Гордон Бедфорд был, как говорится, человеком склонным к дурным привычкам, не так ли?

— О, нет, сэр, я бы так не сказала! — Она энергично закрутила головой в знак несогласия.

Это ее движение было очень грациозным. Джо взглянул на нее с симпатией. Она было по-своему прелестна. Высокая, сильная, красивая и настолько психически здоровая, насколько здоровыми могут быть лишь девушки, выросшие в горных деревушках.

— Вы родом из Шотландии, верно? Где-то из окрестностей Шерна?

— Да, сэр. А как вы узнали?

— Акцент, — улыбнулся ей Джо. Она ответила легкой улыбкой и покраснела. Потом как бы облачко пробежало по ее лицу, и она снова стала серьезной. Заметив некоторое недовольство на лице Паркера, Джо быстро сказал: — Однако, мы говорили о сэре Гордоне Бедфорде. Итак, вы утверждаете, что у него не было вредных привычек, верно?

— Кроме кофе, пожалуй, нет, сэр. Он не пил, не курил, даже не любил, когда кто-то другой пил или курил в его присутствии. Мистер Сирил всегда должен был выходить со своей трубкой в сад, если сэр Бедфорд был тут, или шел в свою спальню, чтобы дым не мешал брату. Сэр Гордон не переносил даже пива в доме.... Он говорил, что алкоголь — это величайшее бедствие человечества, так же, как и табак...

Джо невольно остановил свою руку, которую уже сунул в карман за своей неразлучной пачкой «Gold Flake».

— А как вы думаете — он был прав?

— Думаю, что да, сэр. Хотя мне даже нравится, когда мужчина иногда немного выпьет и закурит трубку. Мой папа, так он вообще трубки изо рта не вынимал, а когда умер, мама эту трубку тайком ему в гроб положила, потому что, как она сказала, не представляет себе его на том свете без трубки... И выпить он тоже любил... Но при этом папа был очень порядочным человеком. Никто к нему никогда ничего не имел, и он ни к кому тоже... — Она умолкла, а потом продолжила: — Но сэр Гордон думал иначе... Ну он уже умер, бедный, не надо его осуждать... — она машинально перекрестилась.

— Вы, вероятно, католичка, мисс?

— Да, сэр, как и все в наших краях.

— Кухарки в доме нет? — неожиданно спросил Джо.

— Нет, сэр. Ее сын в армии и заболел. Он служит в авиации и отравился чем-то, кажется, какими-то испарениями бензина... Она поехала к нему позавчера, но вчера звонила, что ему уже лучше и что завтра она вернется...

— Значит, в течение этих двух дней вы, мисс, сами занимались приготовлением пищи и хозяйством, не так ли?

— Вроде да... — девушка задумалась. — У меня вся вторая половина дня в субботу была свободна, только после ужина мне надо было помыть посуду, приготовить спальни ко сну и немного убраться. А вот вчера я весь день работала, но тоже не одна.

— А кто же занимался приготовлением ужина и кто его подавал в субботу, раз кухарка уехала, а вы были свободны?

— Видите ли, сэр, дело в том, что сэр Гордон, он вообще был, я бы сказала, слегка старомодным... то есть... я, конечно, очень извиняюсь, сэр....

— Ничего, ничего... — Алекс поощрительно покивал головой. — Говорите так, как вам кажется правильным, и не думайте сейчас о вежливости по отношению к вашим работодателям.

На этот раз девушка едва заметно улыбнулась, как бы с благодарностью, и чуть склонила голову.

— Ну, то есть, я хотела сказать, сэр... Понимаете, сэр Гордон считал, что женщины, которые не умеют хорошо готовить и самостоятельно не могут обслуживать мужчин, являются как бы не вполне женщинами. Он любил, когда миссис Сильвия спускалась к нам на кухню и готовила обед вместе с кухаркой. А когда бывало иногда, что у нас обеих выходной, — тогда миссис Сильвия и миссис Джудит сами готовили и подавали к столу. И это нравилось сэру Гордону больше всего — он говорил, что нет ничего вкуснее того, что ему приготовила собственная жена... — Она умолкла, потом, подумав, добавила: — И я думаю, сэр, что тут он был немножко прав, потому что женщина, даже если у нее такой богатый муж, как сэр Гордон, все равно должна сама заботиться о нем.

— А миссис Сильвия любила это делать?

— Не знаю, сэр. Я всего лишь горничная, и миссис Бедфорд не говорила со мной о таких вещах... Но я бы не сказала, что она это особо любила. Она вообще не любила готовить, хотя умела совсем даже неплохо... Это только миссис Джудит говорит, что миссис Сильвия якобы даже куска хлеба маслом намазать не умеет...

— Значит, они любили уикенды в кругу семьи и проводили время, как прекрасная, любящая семья?

— Не знаю, сэр, все ли любили. Во всяком случае, сэр Гордон точно любил такое времяпрепровождение, а ему, сами понимаете, никто перечить не мог. Так что, в конце концов, так на так выходит: любили или не любили, а делали, как сэр Гордон желал. И нечему тут удивляться, потому что в конце концов — он тут был хозяин, а все остальные от него зависели.

— Да-да... — Джо покивал головой с пониманием, будто сам в жизни не делал ничего другого, кроме как проводил уикенды с семьей Бедфордов. — А жены братьев, наверно, не очень любили друг друга, да? Как вы думаете?

Горничная уже было открыла рот, но тут же спохватилась и снова закрыла его. Она посмотрела на сидящих перед ней мужчин с выражением легкого упрека на лице. Потом неуверенно покачала головой.

— Покорнейше прошу простить меня, джентльмены, но я ведь тут работаю, и если позволите заметить, мне не следует высказываться ни об этих людях, ни о том, что здесь в доме происходит и кто тут о чем думает и что говорит о других...

— И это правильно, — очень серьезно поддакнул Джо. — Я считаю, что вы совершенно правы. Не следует выносить грязь из дома, в котором работаешь. Однако нам всем следует помнить о том, что человек, который был вашим работодателем, мисс Агнес, был, вероятнее всего, убит несколько часов назад. И это главное, что имеет значение в данную минуту. Мы же не торговки, которые пришли посплетничать, мы находимся здесь для того, чтобы отыскать убийцу и отдать его в руки правосудия. Именно поэтому нам необходима вся информация, которую мы только можем получить. Я уверен, что вы и сами прекрасно это понимаете, не так ли?

Но Агнес, казалось, не слышала его последних слов.

— Убит... — прошептала она. Девушка посмотрела на дверь кабинета, и в ее глазах внезапно появился страх. — Я сразу же так и подумала,

но потом, когда эти полицейские, что пришли первыми, сказали, что они нашли прощальное письмо, я подумала, что, может, и правда... Но сейчас, когда вы сказали про то, что я сразу подумала...

— А почему вы сразу подумали, что сэр Гордон был убит?

После этого вопроса наступила абсолютная тишина, которую нарушил Паркер, чиркнув спичкой о коробок. Девушка не шевельнулась. Казалось, она собирается с мыслями.

— Не знаю, — сказала она, наконец, беспомощно. — Когда вы так спросили, то должна сказать, что правда не знаю. Но он... он, пожалуй, принадлежал к людям, о которых известно, что они не отнимут у себя жизнь... А все остальные тут... они его все ненавидели, и поэтому мне так сразу подумалось... — Девушка умолкла и закрыла рот рукой. — Что я говорю, дура? — Она со страхом посмотрела на Алекса, но Джо, как будто не слыша ее последних слов, внезапно сменил тему.

— Я спрашивал у вас, кто приготовил в субботу ужин, и еще хотел спросить, кто убирал в воскресенье во второй половине дня?

— Я, сэр...

— Вы были в кабинете сэра Гордона?

— Да, сэр.

— И что вы там делали?

— Принесла вымытые чашки и блюдечки и поставила их в тайник, где стоит кофеварка.

— Который это был час, примерно?

— Ну, может, пять, может, полшестого, сэр...

— А позже вы уже туда не входили?

Девушка кивнула головой.

— Я вошла туда еще после ужина, сэр...

— Да? В котором часу?

— Наверно, было уже одиннадцать, а может, даже чуть позже...

— А что вы там делали в столь поздний час?

— Я вошла, потому что после ужина сэр Гордон вместе с мистером Сирилом, ну, то есть, со своим братом, пошли ловить бабочек в саду. А я закончила мыть посуду и хотела уже идти ложиться. Но мне надо было отнести в кабинет еще две чашки и посмотреть, достаточно ли сахара в сахарнице, потому что я знала, что сэр Гордон будет работать всю ночь...

— А откуда вы об этом знали? Сэр Гордон сказал это вам?

— Да... То есть нет... Во время ужина, когда я была в столовой, он сказал мистеру Роберту, то есть, мистеру Рютту, своему секретарю, что просит его прийти к нему в семь утра, а также пригласил на это же время мистера Сирила со снимками... И что сейчас он пойдет ловить бабочек, а потом еще немного поработает...

— Минуточку... — Алекс поднял руку, чтобы остановить горничную и не потерять того, что он хотел у нее спросить. — О каких снимках шла речь?

— Я точно не знаю, сэр... Но у мистера Сирила там наверху, возле его спальни, есть фотолаборатория, и он всегда делает снимки для сэра Гордона... Одни бабочки... Ужасные снимки, сэр, потому что они сделаны вблизи, и у них такие головы, как у лошадей, только страшные очень... Жутко смотреть... И наверно, мистер Сирил и мистер Роберт должны были приготовить все для сэра Гордона, потому что ведь сэр Гордон вместе с миссис Сильвией должен был сегодня вечером лететь в Америку, чтобы прочесть там доклад...

— Понимаю. Но вернемся к вчерашнему вечеру. Итак, вы поняли, что сэр Гордон будет работать ночью, и отнесли чашки в бар с кофе-

варкой, а также посмотрели, достаточно ли сахара. И что? Сахара было достаточно?

Девушка улыбнулась, но тут же стала серьезной. Ее явно позабавило, что полиция хочет узнать, достаточно ли было сахара. Все это Джо легко прочел на ее лице, прежде чем она ответила. Но то, что она сказала, было для него неожиданностью.

— Да, сэр, сахара было достаточно, и я огляделась, не надо ли еще чего. Из моего окна в подвале хорошо видно то место, где господа ловили бабочек на этот экран вчера, и потому знала, что сэр Гордон сейчас не вернется. А он, должна вам сказать, сэр, — насколько любил чистый и свежий воздух, настолько же не любил, даже просто не переносил, когда при нем открывали окна... У него ужасный ишиас... и я раз видела, как его скрутило... Он тогда ходил на костылях... В кровати он лежать не мог, а каждый шаг причинял ему боль... Он говорил, что малейший сквозняк может сразу свалить его... Поэтому требовал, чтобы проветривали лишь тогда, когда его нет в комнате.

Алекс наморщил брови.

— Минуточку, — сказал он быстро, бросив на Паркера короткий взгляд, который Агнес Уайт наверняка не заметила. — Итак, вы вошли в кабинет, поставили чашки в бар возле кофеварки и что потом сделали?

— Я подошла к окну, открыла штору и отворила окно настежь. Проветривала так комнату минут пять, потом закрыла окно и, кажется, вышла... Да, сразу вышла...

— А вы всегда носите при себе тряпку, чтобы вытирать пыль?

— Иногда, сэр. Это зависит от того, что я делаю и который час.

— А тогда в кабинете при вас была тряпочка?

— Нет, сэр. Я была только в платье без передника. Знала, что никого уже не встречу, потому что обе дамы и мистер Рютт наверху, а сэр Гордон и мистер Сирил в саду. И еще помню, что у меня не было тряпочки, потому что я несла чашки. Впрочем, она мне там и не нужна была.

— Понимаю. А чем же тогда вы вытерли ручку окна после проветривания?

— Я не понимаю, сэр...

— Я спрашиваю... — медленно сказал Алекс, не сводя с девушки глаз, — чем вы вытерли ручку, которой открывается и закрывается окно в кабинете сэра Гордона? Вы ведь вытерли ее, мисс Агнес, не так ли?

Агнес Уайт удивленно посмотрела на него и отрицательно покачала головой.

— Нет, сэр. Я точно ее не вытирала... А для чего ее вытирать? Она же не была грязной. Кроме того, у нас не вытирают ручки тряпками, а чистят порошком.

— Вы могли сделать это машинально...

— Но ведь у меня не было с собой ничего, чем могла бы ее вытереть. Нет, сэр, я ее точно не вытирала...

— А может... — быстро спросил Джо, — вы работаете в резиновых перчатках, чтобы беречь руки?

— Только когда имею дело с кислотой и щелочью, сэр... У нас есть кухонный робот, куда их надо всыпать. Но их не было у меня на руках уже недели две... Может, они и практичные, но когда их надеваешь, пропадает чувствительность в пальцах и хуже работать...

— Значит, вы могли бы под присягой показать, что, закрыв вчера вечером окно, вы не вытирали его? — В голосе Джо было такое напряжение, что Агнес Уайт посмотрела на него испуганно.

— Да, сэр. Пожалуй, могла бы. Даже точно — могла.

Джо встал, подошел к окну, вернулся, потом посмотрел на горничную и улыбнулся.

— А упоминал ли сэр Гордон когда-либо в вашем присутствии о том, что в шкафчике на столе он хранит цианистый калий?

— О, да, сэр. Нас всех предупредили, и прежде всего кухарку и меня. Еще два года назад, когда он привез этот цианистый калий, специально спустился к нам и предупредил, что хотя банка будет закрыта в шкафчике на ключ, всегда может случиться так, что кто-то из нас может на нее наткнуться. Он сказал, что даже малейшее прикосновение к банке может оставить на пальцах тончайший осадок, который вызовет мгновенную смерть, если он попадет в еду, или даже если человек такой рукой просто прикоснется к губам. Когда он уезжал, всегда запирал кабинет на ключ. А когда был здесь, всегда держал эту банку в шкафчике, закрытом на ключ...

— И ни у кого не было ключа ни от этого шкафчика, ни от кабинета?

— Нет, сэр. Все остальные запасные ключи находятся в доме, но они спрятаны где-то у миссис Джудит.

— Понятно. А теперь хотел бы вернуться к вопросу об отношениях дам. Итак, вы считаете, что миссис Джудит Бедфорд не любит свою невестку?

— Я этого не сказала, сэр. Но если быть честной, я, между нами говоря, скажу так: миссис Джудит пожалуй, никого не любит, кроме мистера Сирила. Потому что она очень несчастна. А может, ей кажется, что она несчастна? Ну чего, спрашивается, можно еще требовать от жизни, когда ты уже не очень молода и не очень красива, а муж у тебя намного младше и к тому же такой красивый мужчина, как мистер Сирил?..

Алекс, который, слушая горничную, делал вид, что разглядывает старинный буфет, на самом деле очень внимательно наблюдал за ней и сразу заметил, что девушка снова покраснела. Теперь она сидела выпрямившись, и ее золотые волосы, прямой нос и высокая, хорошо развитая грудь делали ее похожей на статую молодой богини из того самого сурового, архаического периода греческого искусства. Она действительно была красива в эту минуту.

— Скажите, мисс Агнес, а мистер Сирил Бедфорд — он человек настолько же состоятельный, как и его брат? — спросил он.

— Пожалуй, нет, сэр. Я, правда, вроде и ничего об этом не должна знать, но ведь всегда что-то знаешь, когда живешь с людьми на таком безлюдье. Мистер Сирил, я думаю, сам сможет вам рассказать все точно, но мне кажется, у него было только то, что давал ему брат...

— Так, может, миссис Джудит не любит миссис Сильвию потому, что сама является женой бедного брата, а та — женой богатого? Так ведь тоже бывает...

— Не знаю, сэр...

— А как протекала жизнь в промежутках между посещениями сэра Гордона и миссис Сильвии?

— Очень скучно, сэр, — сказала Агнес искренне. — И я думаю, что не только для меня. Мистер Сирил и миссис Джудит — они оба почти не выходят из дома, ну, то есть, даже реже, чем я или кухарка. Мистер Сирил всегда либо сидит возле этих георгин в саду, потому что он большой любитель садоводства и вырастил у нас тут один такой ранний сорт этих цветов... Они видны даже отсюда... вон там в окно... а я ему немного при этом помогала... — ее лицо снова покрылось легким румянцем, — потому что я деревенская девушка и люблю копаться в земле... А иногда мистер Сирил сидел в фотолаборатории, ну и там проявлял и увеличивал разные фотки... А миссис Джудит, она занималась домом, хозяйством и часто ходила за

покупками вместе с кухаркой. Ни единого раза, пока я тут живу — а это уже три года, — они вдвоем никуда даже не выехали... А мистер Сирил, как мне кажется, даже в центр города никогда не выезжал и не ходил. Даже портной к нему сюда приезжал, когда нужен был... Ну, разве что иногда мистер Сирил ходил к парикмахеру, тут неподалеку, или на прогулку по окрестностям... и все...

— И что — они не принимали никаких гостей?

— Никаких, сэр...

— Гммм... Итак, позавчера у вас был выходной, не так ли?

— Да, сэр...

— И где вы были? В кино?

— Да, сэр.

Джо быстро поднял глаза. Он заметил, что Паркер тоже с интересом посмотрел на девушку. Видно, и его ухо, обладающее опытом, приобретенным на основании тысяч допросов, уловило фальшивую нотку в тоне, которым были произнесены последние слова горничной.

— И на каком фильме?

— На... на...— Агнес Уайт сжала губы. Она явно не умела лгать или не ожидала этого вопроса, и он ввел ее в замешательство. Она опустила голову.

— Что с вами? — спросил Алекс, вставая.

— Нет-нет, ничего... Все в порядке...

Джо подошел к ней, взял за подбородок и приподнял к свету ее голову. По щекам девушки катились слезы.

— Вы не были в кино, правда? — мягко спросил Джо.

— Не была, — шепнула Агнес так тихо, что Джо скорее понял по движениям губ, чем услышал ее слова.

— А где вы были?

Она молча тряхнула головой, закрыла глаза руками и начала тихонько всхлипывать.

Джо бросил на Паркера заинтригованный и несколько беспомощный взгляд.

— Успокойтесь, пожалуйста, — сказал Паркер. — Мы ведь не хотим сделать вам ничего плохого. Мы лишь хотим узнать, что делали обитатели этого дома в течение последних суток... А вы ведь тоже обитатель этого дома...

Агнес Уайт перестала плакать, но ее губы по-прежнему дрожали, когда она ответила:

— Но я... я не могу вам сказать, где я была...

Теперь умолкли все трое: девушка со светлыми волосами в костюме горничной, заплаканная и расстроенная, и двое мужчин, стоящих по обе стороны ее стула, выбитых на несколько секунд из колеи непредвиденным результатом допроса.

Вдруг Джо Алекс склонился к ней и негромко спросил:

— Скажите мне искренне, мисс Агнес... Вы были у врача?

Если бы Джо сказал, что покойный сэр Гордон Бедфорд через минуту войдет в эту комнату живой и здоровый, это, наверно, не произвело бы на девушку такого впечатления, как его последние слова.

Значит... значит, вы знали? Откуда вы могли узнать? — Она смотрела на него, широко открыв рот и мгновенно превратившись в маленькую деревенскую девочку, оказавшуюся перед лицом чего-то, чего она не в состоянии понять.

— Просто я так подумал... — совершенно неожиданно для самого Алекс погладил ее по голове. — Вот посмотрите: стоящий перед вами мистер Паркер мог бы быть вашим отцом, а я уже был солдатом на фронте,

когда вы еще пешком под стол ходили... Вы можете быть с нами искренни... Вы опасались, что у вас может быть ребенок?

Девушка молча кивнула головой.

— И ваши опасения оказались необоснованными?..

Агнес снова кивнула.

— Ну так замечательно! — Джо вздохнул с облегчением. — И что вы намерены теперь делать? Уедете отсюда?

— Да! — сказала Агнес с внезапной энергией. — Я вернусь домой...

— У вас там кто-то есть?

— Да... — слезы снова появились в ее глазах. — Жених... Он... Он автомеханик. Мы оба с ним собираем деньги на маленькую мастерскую, он — там, а я — здесь. Мы пообещали друг другу, что, когда накопим сколько надо, сразу поженимся... — Она посмотрела в окно. — А теперь я уж и не знаю, что будет. Я его целый год не видела... Как раз собиралась через две недели поехать домой в отпуск...

— Ну, значит, поедете раньше, — улыбнулся ей Джо. — Как-то будет. Все образуется. Нехорошо, когда молодая девушка слишком долго живет одна в большом городе...

— Ох, да, сэр, совсем нехорошо... — сказала Агнес Уайт, и на ее лице появился испуг. — Но вы ведь никому не скажете, что я...

— Мы связаны тайной следствия, — торжественно сказал Паркер. — И нашей обязанностью является также тщательно охранять тайны каждого гражданина, равно как и его имущество...

— Это хорошо, — девушка глубоко вздохнула, вытерла слезы, поправила чепчик и встала, выжидающе глянув на Алекса, который едва заметно улыбался.

Несмотря на то, что Джо так много знал о женщинах, они всегда изумляли его. Эта девушка вовсе не испытывала того отчаяния, какое хотела показать. Она была молода, здорова и одинока. И не такие еще истории происходили в глухих горных деревушках Шотландии. На самом деле, у нее не было никаких серьезных причин, чтобы тревожиться. Она вернется к своему жениху, выйдет за него замуж, и они будут счастливо жить до конца своих дней... Да, если, конечно, Агнес Уайт знает об убийстве сэра Гордона Бедфорда лишь то, что она им поведала.

— И еще одно, — сказал Джо, по-прежнему улыбаясь. — Наверно, в последнее время вам плохо спится, не правда ли? А скажите, в минувшую ночь вы тоже уснули поздно? Разные мысли, вероятно, не давали вам уснуть, а?

— Да, я тут все время не высыпаюсь, сэр... А вчера, кажется, уснула где-то в половине третьего...

— Да? А вы уже спали, когда сэр Гордон и его брат возвращались с охоты на бабочек?

— Я уже лежала в постели, и свет у меня не горел, но слышала, как они запирали входную дверь, а потом вполголоса разговаривали в холле. Кажется, мистер Роберт тоже был с ними. А потом мистер Сирил с мистером Робертом пошли наверх, а сэр Гордон — в свой кабинет. Его кабинет как раз над моей комнатой, и я слышала, как он ходил несколько минут, а потом сел и начал печатать на машинке... А потом я, кажется, уснула...

— Ясно... — Джо потер лоб. — А потом вы, кажется, уснули... — Он посмотрел на нее. — Ну что ж, мы сердечно благодарим вас. И если можно, попросим еще пару чашек кофе. Мы тоже мало спали этой ночью, а нас еще ждет масса работы...

— Конечно, сэр... Я сейчас принесу, сэр, — Агнес сделала книксен. И хотя у нее были слегка покрасневшие глаза, никто бы не догадался, что пять минут назад она пережила столь драматические минуты.

— И прошу помнить об одном, — добавил Паркер. — Мы ничего не помним из того, что знаем о вас, мисс, а вы не расскажете никому из домочадцев ничего из того, о чем мы тут говорили. Да?

— О да, сэр!

— В таком случае, — Алекс подошел к девушке и понизил голос, но говорил четко, и Агнес невольно наклонила голову, кивая при каждом его слове, — скажите нам пожалуйста, как складывались отношения ваших работодателей. У нас есть основания предполагать, что миссис Сильвию Бедфорд могло что-то связывать с другим мужчиной, и уж во всяком случае, мы можем подозревать, что она весьма горячо заинтересована в ком-то другом, а не в своем муже. Вам что-нибудь известно об этом?

— Знаю ли я... — Агнес снова заколебалась. — Видите ли, сэр, если уж быть искренней, то скажу вам, что и я, и кухарка, мы не раз говорили между собой на кухне о том, что сэр Гордон плохо делает, что держит при такой молодой жене такого молодого и симпатичного секретаря, тем более что он ведь сам не так уж молод и не так симпатичен... Но хотя и видно было, что миссис Сильвия любит бывать в обществе мистера Роберта, то с другой стороны, опять же видно было, что мистер Роберт очень предан сэру Гордону. Но кухарка говорит, что пусть даже один мужчина другому всем обязан, он все равно соблазнит его женщину, как только подвернется подходящий случай... Но это не значит, Боже сохрани, чтобы мы так думали, это только так мы по-деревенски между собой обсуждали, вы ведь понимаете, правда?.. А кроме этого... я даже не очень знаю, кто бы другой мог возле миссис Сильвии вертеться... Сэр Гордон был очень, ну очень суров и не вел такой жизни, как некоторые другие люди из его среды. Они никуда не ходили, ни на какие дансинги и ни в какие такие места, где люди пьют или танцуют. Сэр Гордон не любил ни пить, ни танцевать, а миссис Сильвия ведь не могла его заставить... Так что, если не мистер Роберт, то я даже не представляю, кто другой мог бы быть... — Она снова немного поколебалась. — Но мистер Роберт — да — он мог бы быть.... — добавила она. — Когда я в таком смысле об этом думаю, то мне кажется, что, пожалуй, да. А чему тут, собственно, удивляться? Женщина молодая и красивая такая, а муж — он почти мог бы быть ее дедушкой... — Агнес Уайт неожиданно улыбнулась. — А если это так — то даже и лучше. Скорее утешится и меньше будет плакать на похоронах. У нас в деревне люди как-то проще на это смотрят, чем в городе... Но может, это потому, что мы там в горах больше делаем того, что хотим, чем вы тут внизу... И нам, пожалуй, лучше... Может, мы все то же самое делаем, только меньше все это скрываем...

Она еще раз сделала книксен, улыбнулась и исчезла за дверью.

Джо еще некоторое время смотрел ей вслед.

— Быть может, мисс Агнес Уайт девушка несколько легкомысленная, и у нее действительно, горский темперамент, но во всяком случае, мы можем искренне признать, что хотя в Шотландии немного по-настоящему красивых девушек, но если уж где родится одна, то у нее кроме красоты есть еще столько обаяния, сколько нет у десяти француженок вместе взятых.

— Да, да, конечно... — Паркер поддакнул движением головы, но было видно, что он почти не слышал хвалебных высказываний своего друга о красоте горских девушек. — Не говоря о ее личном обаянии, следует признать, что она сообщила нам несколько весьма ценных сведений...

Перевод с польского Роберта СВЯТОПОЛК-МИРСКОГО при участии Владимира КУКУНИ по эксклюзивному праву, предоставленному автором.

Окончание следует.

Елена ЧИЖЕВСКАЯ

Добро и зло: абстракция или реальность?

Размышления по поводу романа Скотта Макбейна «Сребреники Иуды»

Падшие ангелы небесные, отягощенные земными пороками, становятся нечистыми, блуждающими духами. Мучаясь от утраты божественной благодати, эти потерянные души находят некоторое утешение в том, что совращают человеческие души, низводя их до своего уровня.

Тертуллиан «De anima» (160—220 гг.)

Как-то раз в одной из городских библиотек сразу обратила на себя внимание сильно потрепанная книга, лежавшая под рукой библиотекаря: ее, очевидно, только что сдал предыдущий читатель — и подумалось: это должно быть что-то интересное, если она успела пройти через столько рук. Конечно, сам по себе повышенный спрос еще не является гарантией того, что книгу можно отнести к хорошей литературе. Чего только не читают сейчас: и «звездные войны», и «женские романы», очень похожие один на другой, и детективы, особенно пригодные для чтения в поезде, и разнообразные «ужасы», которых так много, что к ним привыкаешь и перестаешь ужасаться. Сравнительно недавно все эти почтенные жанры назывались одним словом — «бульварщина». Однако само название книги — «Сребреники Иуды» — оставляло надежду на то, что в ней говорится о чем-то более важном в жизни человека: о верности, любви, предательстве, ответственности за себя и за своих близких, о том, что есть добро и зло...

Так и оказалось. Сюжет романа «в чистом виде» несложен: серийный убийца Крамер оправдан стараниями недобросовестного эксперта-криминалиста Стаффера, а затем в жизни самого эксперта, в жизни его родных и друзей запускается «цепная реакция» всевозможных бед, болезней, смертей. Однако с первых же страниц становится понятно: захватывающий детективный сюжет нужен автору для того, чтобы «как бы между прочим» вовлечь читателя в весьма серьезный разговор. Хорошо продумана и композиция романа: череда реальных *событий* здесь плотно увязана с точными *психологическими* наблюдениями, с одной стороны, а с другой — с сугубо *мистическими* явлениями, которые, однако, жестко (и жестоко) взаимодействуют с реальностью.

Обе линии романа, реалистическая и мистическая, причудливо переплетаясь, поражают воображение, рождают неожиданные ассоциации, озадачивают — потому и не получается спокойно закрыть прочитанную книгу и тут же о ней забыть. Задача *настоящей литературы* ведь и заключается в том, чтобы заставить размышлять о себе и своей жизни, чувствовать и переживать «чужое» как свое. (Тем более что «чужого» для нас на самом-то деле нет, особенно в нынешнем тесном мире, где отовсюду и до всех, как говорится, рукой подать.) В романе «Сребреники Иуды» подняты живые, насущные, *важные для всех нас* проблемы,

о которых, конечно, «скромно умалчивает» популярная бульварная литература, и потому хочется мысленно поблагодарить автора за талантливое и *своевременное* их предъявление нашей совести и разуму.

То, что при всей своей смысловой наполненности роман еще и «просто» увлекателен, — это дополнительный «плюс»: тем лучше он работает на авторскую задачу и тем лучше помогает читателю в самом нелегком труде — *думать*...

Начало третьего тысячелетия (или «миллениума», как модно сейчас говорить) стало настоящим водоразделом в жизни всего цивилизованного человечества. Еще нестарые люди, родившиеся в прошлом веке, с удивлением оглядываются вокруг: что происходит, когда все успело так измениться? И дело вовсе не в том, что в нашу жизнь уже прочно вошли персональные компьютеры, мобильные телефоны, смартфоны и прочие гаджеты (честно говоря, слово неприятное для русскоязычного слуха, но ничего — привыкаем). Они, конечно, удобны, и польза от них есть, хотя и вреда немало, — но речь не о них. «Что-то с совестью» случилось, как сказал герой одного культового фильма. Стали стремительно меняться привычные, вековые ценности: то, что еще совсем недавно было общепризнанно плохим, становится «нормальным», и дело явно идет к тому, что это «нормальное» вскоре и вовсе будет объявлено «хорошим». Простой пример: в прошлом веке никто (из по-настоящему нормальных людей) не сомневался, что фашизм — это зло; в нынешнем «миллениуме» он уже прямо на наших глазах превращается в «почти добро». Еще немного — и слово «почти» исчезнет. Некто могущественный и лукавый стирает из человеческой памяти миллионы убитых или ставших подопытным материалом людей; газовые камеры и крематории; грузовики, набитые людьми, с выхлопной трубой внутрь; добываемую из детей кровь; «гламурные» сумочки из человеческой кожи... Вот к *этому* и предлагается нам ныне пересматривать свое отношение?!

Совсем неслучайно с началом нового тысячелетия на либеральном Западе стало появляться множество «научных» и общественно-политических доктрин об «*относительности* понятий добра и зла». Диапазон рассуждений на эту тему очень широк.

Так, наиболее часто можно услышать, что понятия эти не объективны, а субъективны. Проще говоря, «кому как кажется, кому что нравится...» — таким образом, основополагающие *идеи* опускаются на уровень животных *инстинктов*. Есть такая старая шутка про дикаря: у него спросили, что такое зло. Он ответил: «Это когда воин из чужого племен придет и заберет у меня жену». — «А что же такое добро?» — «Это когда *я* приду в чужое племя и заберу чужую жену». Похоже, что сегодня в глобализующемся мире *очень серьезные силы* приведены в действие для того, чтобы «коллективное сознание» человечества низвести именно на такой уровень — ниже плинтуса.

Бывают доводы посложнее: добро и зло, мол, взаимозаменяемы, то есть одно способно легко переходить в другое — значит, различать их невозможно, да и не нужно. Или еще: зло — это «просто» отдельные плохие поступки людей, и такого понятия в целом не должно существовать... И т. д. и т. п.

В постперестроечное время у нас все же мало-помалу начало *заново* прокладывать себе путь мировоззрение, которое основывается на *опыте тысячелетий* человеческой истории: эти понятия абсолютны. Абсолютное добро — Бог, Создатель всего сущего. Абсолютное зло тоже существует и имеет своего вполне *определенного* носителя. Понтифик Павел VI в 1972 году вообще высказался недвусмысленно: «Дьявольщина — это не просто отсутствие чего-то, но живой, эффективно действующий враг...

Отказ признавать ее существование следует считать противоречащим учению Библии и Церкви, равно как рассмотрение ее... в виде... умозрительной персонификации неизвестных причин всевозможных несчастий».

Люди всегда более или менее резко разделялись по своему отношению к этому носителю зла. В христианском сознании он *противник* Бога и *враг* рода человеческого: иная простая душа, сделав что-то нехорошее, так прямо и скажет: бес, мол, попутал (что ответственности с человека, однако, не снимает). С другой стороны, пишет автор, «отправители сатанинских ритуалов, черные маги — это все *слуги* падших ангелов. Культ «вуду» на Гаити и в Африке, сатанинские секты, действующие в Антверпене, Авиньоне и Риме с XI века, осквернение церковных алтарей, похищение детей с целью жертвоприношения, кража церковных святынь и многое другое. Обыватели *не замечают*, но сейчас эта мерзость стала гораздо *активнее*, чем в прошлые времена... Сюда следует добавить разнообразных убийц, не имеющих отношения к сатанинским сектам, а действующих, как они сами потом признавались, по наущению внутренних голосов. Это части огромного целого... одержимости демонами».

В XX веке, «веке науки, технического прогресса и информации», — о парадокс! — поклонение этому «богу» пошло по нарастающей: так, в США уже с 70-х годов прошлого века *официально существует* «Церковь сатаны». (Впрочем, еще в конце сороковых были убраны из американских школ напоминания о библейских Десяти Заповедях — и это было вполне логично: нельзя же было напоминать про заповедь «не убий» после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.) Нынешний же «миллениум» ознаменовался в США уже откровенным воздвижением *памятника* Бафомету (он стал едва ли не главной достопримечательностью современной Калифорнии). То есть «бог» зла ныне воплощен в материале, чтобы каждый желающий мог поклониться ему «в лучших языческих традициях». И здесь вполне закономерно возникает мысль: не с его ли «помощью» сотрясают «самую благополучную страну в мире» чудовищные катаклизмы и совершаются там массовые убийства?..

В общем, что ни говори, а *извечный вопрос о добре и зле* неизбежно встает перед каждым из нас, задумываемся ли мы о глобальных проблемах, или просто пытаемся понять, что в нашей собственной жизни «не так»...

Вернемся к роману Скотта Макбейна «Сребреники Иуды». Что думает о добре и зле этот американский автор? Прежде всего, хорошо уже, что *думает*. Тем более что родное ему общество не сильно обременяет себя подобными размышлениями, хотя сама жизнь призывает (уже вопиет!) задуматься о проблемах не только *быта*, но и *бытия*. Скотт Макбейн нетипичен — и слава Богу.

Автор исследует проблему зла в трех его «ипостасях». Это зло «снаружи» — живущее в обществе; это зло «внутри» — в человеческой душе, и вместе они образуют, так сказать, реальное зло. Присутствует в романе и третья «ипостась» зла — сверхъестественная, мистическая, но при этом чрезвычайно активная.

Зло «вокруг меня» и зло «во мне» связаны между собой настолько тесно, что зачастую невозможно определить, что первично и что вторично. Еще сложнее вопрос с его «третьей ипостасью». С большой психологической достоверностью прослежен автором путь *предательства* сначала профессиональной *чести*, потом и своей *совести*, а наконец — и бессмертной *души* человеком, которому «помогают» в этом и близкие люди, и общество в целом, и... те, про кого говорят «не к ночи будь помянут».

Начинается все с жестокого, садистского убийства молодой девушки маньяком. Две сестры развлекались в ночном баре, затем одну из них увел

с собой парень, внешне даже привлекательный. «Лоре Дьюкс было двадцать три года. Сестры-близнецы работали кассиршами в банке. Обе высокие, привлекательные, белокурые, со стройными фигурами. Спортсменки, неунывающие оптимистки. Вечера в пятницу и субботу они неизменно проводили в барах и дискотеках, наслаждаясь жизнью до предела. С кем попало не спали, но в приятелях недостатка не было. Иногда, правда, им хватало одного на двоих... В общем, это были веселые, беззаботные девушки, любительницы танцев и мужчин. А потом Мелани убили». Здесь так и слышен голос строгого моралиста: «Сама виновата — зачем было вести такой образ жизни?!» Но ведь это не был какой-то особенный образ жизни: девушки жили обыкновенно — так, *как принято* в их социальной среде. Кого или что здесь винить? Девушек или *нравы их среды,* которая и есть часть общества (причем немалая)?

Очень интересен здесь другой момент. «Наблюдая с бокалом в руке, как они уходят в темноту, Лора вдруг остро ощутила тревогу... даже мороз прошел по коже, как будто кто-то пытался ее предупредить. *Конечно*, она не обратила на это внимания, как и *любой другой* на ее месте... Больше Лора сестру живой не видела».

Внутренний голос (ангел-хранитель?) предупреждал ее, и усиленно, но она *не обратила внимания*. Несмотря на «мороз по коже»... Почему? И еще: «любой другой» тоже бы не обратил внимания. Почему?

Потом было ужасное. «Это была Мел или, скорее, то, что от нее осталось, после того как убийца поработал ножом. Лора ее сразу опознала... и с тех пор жизнь для нее превратилась в сплошной ад... Теперь, три месяца спустя, она лишь отдаленно напоминала себя прежнюю. Сидела, ждала, когда свершится правосудие. Если бы только она *прислушалась* к своему внутреннему ощущению, остановила сестру, не дала ей уйти с дискотеки. *Если бы...*»

Здесь ответ на эти страшные «почему» очевиден: люди отвыкают быть *внимательными к своей душе*, живут только телом: поесть, выпить, заняться любовью, как модно говорить, хотя к любви это не имеет никакого отношения...

На суде показания сестры не были учтены, потому что в тот роковой вечер она была выпившей. «Правда, к тому времени она уже выпила несколько бокалов водки и текилы. Она призналась в этом во время дачи показаний в полиции. Но это ничего не значит — она была под газом, но определенно не пьяная. В ту ночь Мелани ушла с Крамером. Лора это знала и могла поклясться перед Богом». Очевидно, что для девушки это была *обычная* порция алкоголя и воспринималась всеми в баре как *нормальная*. Если бы только потом девушке не пришлось выступать в суде...

Усилиями авторитетного эксперта-криминалиста садист Крамер был оправдан по данному преступлению.

Итак, есть конкретный представитель зла, убийца, и он не так уж примитивен. Крамер не простой «мясник», у него есть «идеи». На суде «зрители пожирали его глазами. “Они меня ненавидят, желают смерти. Ну и что? В конце концов, кто они, эти ничтожества, живущие бесцветной, однообразной жизнью? Мусор, отребье”». Точно подмечены автором типичные черты «идейного» убийцы: *гордыня* и презрение к людям. Чувство своего превосходства и «сладость власти» над «прочими тварями». (Вспоминается раскольниковское: «Тварь я дрожащая или право имею?» Гораздо более просто устроенный Крамер оказывается чуть ли не его близнецом, хотя скорее — пародией на него...)

Есть в этой темной душе и отголоски *социального протеста*: «Крамер перевел взгляд с адвоката на эксперта-психиатра. “Жалкие идиоты. Ладно,

продолжайте пороть свою чушь. Я не возражаю. Вы за это получаете деньги. А правда... кого, в конце концов, она интересует?» Он преступник, но не дурак, и его наблюдения и рассуждения могут быть в чем-то верны...

Крамер изощренно лжив и коварен: «Он был образцовым заключенным [был посажен за другое, «случайное», убийство], занимался в тюрьме плетением корзин и не раз заявлял в интервью, что пытается найти Бога».

Немного далее мы узнаем, откуда он такой взялся. «Его детство прошло в трущобах Нью-Йорка. Комнатка у них была одна, так что мать, уличная проститутка, обслуживала клиентов прямо у него на глазах. Когда ему было семь лет, один из клиентов ее зарезал. А к восемнадцати годам Карл уже превратился в настоящего монстра и поимел свою первую жертву... Он научился искусно прятать кипящую ненависть под приветливой маской недалекого пьяницы... За пять недель он убил в Сан-Франциско пять женщин, постоянно экспериментируя, пытаясь найти оптимальный выход своей ярости, дающий полное удовлетворение. Своих жертв он жалел не больше, чем окурок, который выбрасывал в урну». Здесь так и слышится голос уже другого читателя — «толерантного» либерала: вот, мол, несчастная жертва тяжелого детства. В ответ можно привести сотни других примеров — людей с тяжелым детством, ставших великими музыкантами, учеными, священнослужителями... Так что зверские злодеяния таких, как Крамер, не могут быть оправданы *ничем*. И пожирающая его ненависть — тоже. В конечном счете, все в самом человеке родится и от самого человека исходит...

Но это *в конечном счете*. Автор не сомневается в существовании *мистических сил*, способных (и главное — усиленно стремящихся) воздействовать на человека и использовать его в своих мрачных целях.

Крамером управляет и «опекает» его зло потустороннее, и потому даже в тюрьме убийца чувствует себя вольготно: «Он вытянулся на своей металлической кровати... “Притворюсь раскаявшимся. А когда выйду отсюда... примусь за свое. Я не могу иначе... мне *не позволят”*. Карл Крамер закрыл глаза. Он думал о Лоре Дьюкс [сестре убитой]. Мысленно раздевал ее, затем разрезал на куски, смакуя подробности. И вскоре заснул. А рядом с ним встал ангел тьмы»...

Главный герой романа, специалист по криминальной психиатрии профессор Пол Стаффер — *успешный* (главный критерий нашего времени!) и импозантный внешне человек. «Красивый мужчина среднего роста, густые черные волосы. Правда, выражение лица слишком жесткое, почти безжалостное, особенно если смотреть при ярком свете». Хотя и говорится, что «внешность обманчива», но автор здесь прав: внутренний мир так или иначе обязательно проявляет себя вовне.

Профессор выступил экспертом на суде в защиту серийного убийцы Карла Крамера. Первоначально верил ли он сам в невиновность этого человека? Возможно, да. Или точнее, *хотел* верить. «Крамер не способен его одурачить — в этом Пол был совершенно уверен». Однако он относится к тому слишком *самонадеянному* типу людей, которым *не нужна правда*: у них есть определенное мнение, а действительность... что ж, ее надо просто правильно под это мнение «подогнать». Его старший коллега и единственный друг Бен уверен в виновности подсудимого, но у Пола есть на всё готовый довод: «По правде говоря... Бен был не очень хорошим психиатром. Публика требует крови — вот он и струсил». Подспудная причина такого ложного (зато психологически ему *выгодного*) мнения *о единственном друге* проста: «Боже, как он мне надоел! Скорее бы уж ушел на пенсию. Я бы... навел порядок и на кафедре, и в клинике». С дружескими чувствами здесь все ясно, а заодно и с

профессиональными целями: надо будет — пройдет по голове хоть бы и единственного друга.

Перед самым заседанием суда странные высказывания подсудимого Крамера вызвали у профессора *подозрения*, но он предпочел отмахнуться от них и «стал думать о другом: надеть ли завтра новый костюм... и с каким галстуком — желтым или красным, в котором он появился в первый день процесса? Обратят ли на это внимание телезрители?» Характерный момент: в обществе, где основополагающим понятием является «успех», важна не суть человека, а его «конфетная обертка». Потому и выступление Стаффера на суде получилось по-театральному ярким, а опасный преступник, умело *подыгравший* эксперту, был оправдан. Так на одной чаше весов оказывается *правда и справедливость*, а на другой — профессиональный *успех* вкупе с модным галстуком. И успех таки состоялся: «Дни Пола были насыщены исключительно приятными событиями: бесконечные телевизионные интервью, несколько ток-шоу, предложения от издателей...»

Что же, однако, говорит его *совесть* эксперта? «Разумеется, Крамер был убийцей. В *глубине души* Пол *знал* это еще до того, как начался процесс. Но признать ошибку значило потерять лицо. Поэтому он не признавался в этом даже самому себе».

Именно в таких *людях-посредниках,* как Пол Стаффер, остро нуждается «третья ипостась зла». «Крамер не сомневался, что на экспертизу к профессору Стафферу скоро выстроится очередь из уголовных преступников. Хвала сатане». А громкий успех — это щедрая *плата* таким посредникам за «работу». Но Стаффер даже не подозревает, какую лавину несчастий вызовет его «невинный» договор со своим худшим «я», нежелание прислушаться к своей совести. Вот уже и «первый звонок» прозвучал — самоубийство сестры зверски замученной Крамером девушки...

Однако успех — это мощный гипноз и отличное «противоядие» от угрызений совести. Опьяневшему от такого внимания к своей персоне Стафферу «теперь уже было совершенно ясно, что к серийным убийствам Крамер отношения не имел... Пол даже согласился выступить по [другому] делу об убийстве в баре. Если все пройдет успешно, через несколько месяцев Крамер выйдет». Жестокий маньяк — и с его помощью выйдет на свободу?! Зато это еще одна ступень в карьере криминального эксперта — и еще одно преступление против совести, еще один, уже более твердый, шаг к пропасти зла...

И ведь помог бы этому чудовищу профессор, если бы не жуткое происшествие. Стаффер привел в тюрьму группу студентов-практикантов, и Крамеру удалось учинить издевательство над одной из девушек. Здесь бы профессору и опомниться, раскаяться — но нет. «Силы тьмы показали ему правду... Но даже тогда Пол ничего не сделал, чтобы Крамер никогда не вышел на свободу. В своей *гордыне* он *предал* и убитую девушку, и ее сестру, и всех остальных, замученных монстром». Парадоксально, но понятие «гордыни» объединяет таких, казалось бы, разных людей, как убийца Крамер и профессор Стаффер. Кстати, христианство, уже «отжившее свой век» на сегодняшнем Западе, всегда утверждало, что гордыня — мать всех пороков...

Более того, оказалось, что у профессора созрела целая *теория*, которая должна потрясти своей новизной не только обывателей, но и весь научный мир. Ее-то он и представляет коллегам на международной конференции психиатров. Правда, из осторожности не сразу обрушивает ее на ученые головы. Начинает Стаффер с осуждения традиционной морали, так как *к этому* его аудитория *уже готова:* «В нашей стране, как и во многих других, мы больше не подвергаем гонениям молодых незамужних мамаш,

гомосексуалистов, неверных мужей и жен. Почему? А все потому, что осознали: их действия не подрывают основы общества... Люди имеют право быть *другими*... если только своими действиями *не причиняют вреда* окружающим».

Эти красиво построенные фразы встречены его слушателями благожелательно, да и читатель, почти усыпленный ими, готов уже присоединиться... Но — стоп! Говорите, «молодая незамужняя мамаша»? А как же ее ребенок, с раннего детства вынашивающий обиду на отца, который его бросил (а так хотелось иметь отца и любить его!), а затем — и обиду на весь мир? Хорошо еще, если он сумеет справиться со своей обидой, ненавистью и не возьмется мстить всем и вся — как тот же Крамер. А сама мать, оставшаяся с ребенком без помощи и средств и вынужденная идти на панель — как мать Крамера? (Здесь Стаффер — блестящий пример чрезмерно увлекшегося *теоретика*, начисто забывшего о фактах из собственной *практики*.) А отец-кукушка, которого оправдывает *толерантное* (еще одно модное слово, хотя правильнее сказать — равнодушное, безнравственное) общество? Так и пойдет он гулять по жизни *без любви* и *обязательств*? Не отсюда ли берутся в обществе разорители чужих семей, аферисты, разносчики венерических болезней и СПИДа и т. д. и т. п.? О других «позициях», названных профессором, можно рассказать не меньше. Вот вам и «незатронутые основы общества» — по Стафферу. Общество, хотим мы того или нет, представляет собой единый организм, и болезнь одного органа неизбежно скажется на всех остальных...

Однако в докладе профессора это были пока всего лишь «цветочки». «Ягодки» будут предъявлены дальше. «Пол понимал, что приблизился к опасному повороту... с утверждением, что совершившие ужасные преступления — просто больные, согласиться гораздо труднее... По этому вопросу не было твердого согласия даже среди психиатров, а о широкой публике и говорить нечего.

— И наконец, самое трудное. Педофилы, убивающие детей ради сексуального удовлетворения; обычные с виду люди, зверски убивающие одноклассников и коллег; мучители, поедающие плоть своих жертв, серийные убийцы, профессиональные наемные убийцы. Что делать с этими людьми? Уничтожить во имя мести? Навечно запрятать в тюрьму?

— Да, — отчетливо произнес женский голос откуда-то из центра зала. Раздалось еще несколько негромких реплик в поддержку незнакомки. А затем *тишина*.

Пол усмехнулся.

— А мой ответ — нет. Если мы отбросим в сторону нашу религиозную мораль и *подавим отвращение* [вот она — толерантность!] к этим деяниям, то... я выражаю надежду, что придет день, когда религиозные *понятия добра и зла больше не будут учитываться* в суде при рассмотрении серьезных преступлений. И тогда многие из сегодняшних «монстров», если мы перестанем их демонизировать, а будем пытаться им помочь, могут быть возвращены обществу как полноценные граждане. Тут главное — проявить понимание и суметь проникнуть в сущность.

Последние слова зал встретил *аплодисментами*».

С одержимым карьеристом Стаффером в данном случае все ясно. Про таких «теоретиков» есть хорошая поговорка: «Ради красного словца не пожалеет и отца». Но на нем ли *одном* лежит вина за все то ужасное, чему вскоре суждено будет случиться?..

Так, сразу после того злосчастного заседания суда «многие из публики выглядели потрясенными... Позор, конечно...». То, что казалось непонятным профессиональным служителям Фемиды, было очевидным для боль-

шинства людей в зале. И что же дальше? Апелляция? Сестра погибшей имела на нее полное право, но, потрясенная, даже не попыталась это сделать, и не нашлось *честного юриста*, чтобы подсказать ей и помочь...

А вездесущие *журналисты*? Уж на что пронырливый народ, да и сюжет для большой публикации был отличный. Видимо, не хватило гражданского мужества...

Общественное осуждение? Нет, повозмущались, как говорится, на кухне — и успокоились. Обычная позиция *обывателей*.

А что *специалисты*? После того злополучного процесса «большинство коллег-психиатров сочли, что Пол был прав». А где было *несогласное* меньшинство?.. Вопрос-то принципиальный!

И наконец, единодушное одобрение «теории» Стаффера *ученым миром.* Как говорится, дальше уже некуда...

Таковы проблемы (лучше сказать — болезни) общественные — то самое «зло снаружи». Но есть еще семья, друзья — самые *близкие* люди, про которых мы говорим «часть меня», и это зачастую даже лучшая часть. Ведь именно их влияние на человека может быть особенно благотворным.

Возьмем, например, Бена — хорошего специалиста, лучшего друга Пола и доброго человека. «Бен был заведующим кафедрой криминальной психиатрии в университете Сан-Франциско, то есть начальником Пола, но фактически на кафедре распоряжался именно Пол. «Почему я с этим мирюсь? — этот вопрос Бен задавал себе много раз... — Потому что Пол гений... способный проникнуть в самую глубь сознания пациента, к тому же имеющий замечательный талант с потрясающей оригинальностью излагать свои идеи в статьях и книгах». Как этот «гений» сумел проникнуть в сознание Крамера — мы уже видели. Умение же Стаффера «оригинально излагать идеи» (неважно — какие?) было, бесспорно, очень полезным для *научной репутации* факультета.

И далее: «Коллеги... упрекали Бена за попустительство, но тот не обращал внимания. Напротив, делал все возможное, чтобы дать молодому другу возможность успешно работать... Других друзей среди коллег у Пола не было и быть не могло, потому что на факультете его считали зарвавшимся нахалом». То есть, лишенного совести карьериста Бен вырастил сам. Оценка коллег была более прозорливой: «гениальным» в Стаффере оказалось только честолюбие.

Да так ли честен и сам Бен? Вот он заботится о *репутации* друга: «Если на основе твоей экспертизы серийный убийца уйдет от наказания, *с тобой* будет все кончено... *Тебе* не простят ни коллеги, ни общество». А как здесь насчет самой *сути дела*? Она неважна?

Показательны его же размышления после вопиющего случая со студенткой в тюрьме: «Конечно, следовало поговорить с Полом о Крамере... Однако сейчас это лучше не ворошить — можно сильно *задеть самолюбие* Пола. К тому же, если все выплывет наружу, то *репутация* кафедры и клиники будет сильно подмочена». «Самолюбие»... опять «репутация»... А где профессиональная честность?.. Поэтому, когда автор далее упомянет, что от Бена исходило излучение «легкое, как солнечный свет», — не хочется вполне с ним согласиться. Так бывает даже с хорошими авторами: персонажи оказываются более жизненными и достоверными, чем мнение о них самого их создателя.

Вот и Мэри, добродетельная жена-красавица профессора Стаффера — туда же... Сослуживцы «достали» ее из-за того, что ее муж выступал в защиту Крамера. Обсуждение у них на работе, видимо, было жаркое. А дома она сразу узнает от мужа страшную новость: сестра погибшей девушки совершила самоубийство. Какова же реакция Мэри?

«Пол, ты в этом не виноват. Ты написал заключение так, как считал нужным». (Хотя и сама в этом сильно сомневается.)

Так «с легкой руки» заботливой супруги Пол лишний раз убеждается в своей непогрешимости !

А добрейшая Флоренс, жена Бена? Она пришла в восторг от выступления Стаффера на конференции! В баре «Флоренс припечатала к щеке Пола свой фирменный поцелуй.

— Великолепно! Вы превзошли самого себя».

...Потом, когда в их жизнь вторгнется *через Пола* мистический ужас, она нелепо погибнет. Погибнет и Бен. Погибнут все, кто был связан с Полом, кроме его маленькой дочери Рэйчел... Когда Мэри попытается искать защиты от злой потусторонней силы у мужа, дочка скажет ей:

— Не надо звонить папе, мама. Потому что это *он все и устроил*.

Известный классик сказал очень точно: «Мы в ответе за того, кого приручили». Отличный повод задуматься каждому из нас...

...Итак, провокационное выступление Стаффера на международной конференции состоялось — и научное сообщество, по сути, выдало «индульгенцию» преступникам, совершив тем самым *предательство* по отношению к их жертвам, прошлым и будущим. «Продвинутое» сознание современной научной интеллигенции с облегчением избавилось от *неудобных* понятий добра и зла. Но избавиться на словах вовсе не означает избавиться на деле. (Некто мудрый сказал: лучшее, что мог придумать враг рода человеческого, — это убедить, что его не существует.) Злу была дана «карт-бланш», в игру с человеком вступила потусторонняя сила — и «цепная реакция» пошла...

...Темная сила предстает перед профессором в виде приятной блондинки Хелен. Поначалу Стаффер в полном недоумении по поводу ее внезапных исчезновений и появлений: он ведь убежденный материалист и психически здоровый человек! «Блондинка» рассеивает его недоумения: «Все происходит на самом деле... это не сон, не галлюцинации... Данная реальность отличается от той, которую ты привык воспринимать, но все равно это реальность...»

Интересно отметить, что «блондинка» появилась сразу после того, как профессор подумал о том, что надо бы сменить жену, которая ему, теперь такому успешному, уже «не пара», — то есть произошла этакая материализация мысли. И чем безнравственнее мысль, тем охотнее она подхватывается извечным врагом человека...

Исключительно интересный спор о *вечных истинах* состоялся на ужине у Бена и Флоренс. Вместе с Полом в гости к ним напросилась и «научная сотрудница» Хелен. Кто-то из гостей спросил у «свежей знаменитости» — Стаффера:

«— Но если вы не верите в Бога, то, наверное, и в дьявола тоже?

Пол улыбнулся.

— Разумеется. Бог, дьявол... В течение многих столетий церковь использовала эти понятия, чтобы манипулировать людьми... На самом же деле нет ни Бога, ни дьявола.

— А я встречал столько нехороших людей, — проговорил художник. — Откуда же у них это, как не от дьявола?

Все засмеялись.

— Уже давно пора отбросить этот вздор и посмотреть на мир с научной точки зрения...

— Значит, вечных истин нет? — задумчиво спросил художник. — Какая жалость!»

Ярко противопоставлены здесь две точки зрения: жесткого «человека науки», верящего только в то, «что можно пощупать», и воображающего, что его мнение — это «истина в последней инстанции», — и художника, с его образным мышлением и живыми чувствами. Как ни странно, но истина чаще дается именно таким, как он...

А далее в спор с Полом вступает сама представительница «не от мира сего» и своими парадоксальными доводами уничтожает его «научную позицию».

«— Да, вы современный человек, — произнесла Хелен, не скрывая иронии. — ...А вы не думаете, что так называемые научные факты зависят от *субъективного* восприятия мира?... Мозгом, который можно *запрограммировать* на любые образы. Как быть тогда?» (Блестящий довод, но верный — скажем забегая вперед — лишь в отношении сознания *не защищенного*...)

И еще один, странный, аргумент, но естественный для существа с другой продолжительностью жизни:

«— Предположим, что некие вечные истины все же существуют, — с вызовом произнесла Хелен. — Но у вас просто нет времени их постигнуть. Много ли может узнать об окружающем мире мотылек-однодневка?»

Когда потом профессор спросит у Крамера, кто же такая Хелен, то в ответ получит только молчание и ощутит идущее от него мощное излучение страха. «Серийный убийца, наводящий ужас на огромный город, боялся. Что могло вызвать у него такой ужас?» Вскоре Стаффер изменит свою позицию: «Прежде он не сомневался, что всевозможнейшие духи, нечистая сила и прочее — плод больного воображения. ...[Теперь] от его материалистической концепции устройства мира не осталось и следа».

Иногда две линии — реалистическая и мистическая — сплетаются особенно плотно в единый образ, поражающий *неожиданной правдой.* Вот «блондинка» предлагает Полу: «Давай я поведу машину. Автомобили — это единственное, что мне нравится в современном мире. Превосходное устройство для убийства». Здесь Скотт Макбейн, можно сказать, поднимается до высот ясновидения. Его роман написан сравнительно недавно, но все же *ранее того*, как грузовик, врезающийся в толпу людей, стал постоянным удобным орудием террористов.

И вот как оценивает хваленую «цивилизацию» и ее «достижения» даже это враждебное нам существо из иной реальности: «Они ехали через один из самых бедных районов Сан-Франциско. Пол с грустью смотрел в окно. Все вокруг так убого, несмотря на показной блеск. Римская империя закончила существование почти две тысячи лет назад, а достижений не так уж много. Дороги стали лучше, зато дома тесны и уродливы, а горожане невежественны и алчны до невозможности, никогда ничем не бывают удовлетворены. Все эти две тысячи лет человечество не оставляло стараний окончательно изгадить планету...

Они въехали в квартал красных фонарей. Пьянчуги, торговцы наркотиками, проститутки всех возрастов.

Пол бросил взгляд на Хелен.

— Я согласна, — произнесла она, — хвастаться нечем. Система *катится под откос* все быстрее и быстрее. Можешь мне поверить, я коечто повидала».

Она многое «повидала» за тысячелетия человеческой истории, но то, что видит сейчас, поражает даже ее: горами отбросов завалена и сама планета, и множество живых душ на ней...

Вот лишь одна типичная картинка из жизни «общества успеха». Она очень важна — как параллель обществу отбросов, в котором вырос Крамер.

(Неслучайно эти «параллели» в романе пересекаются — не на уровне *бытовой «упакованности»*, конечно, потому что там между ними «дистанция огромного размера». *Духовная суть* у них одна и та же!)

«Пол проклинал себя за то, что согласился взять этого пациента. Тони Бреннан был кинозвездой, культовой голливудской фигурой, влиятельным человеком и полным дерьмом.

— Так вот, Тони. У вашего сына, Джулиана, действительно проблемы. Он обнаруживает все классические признаки серьезной неадекватности. Совершил поджог в школе, ломает машины... и употребляет наркотики.

— Послушайте, мне нужно заключение психиатра, где будет сказано, что мой мальчик в порядке. Вы поняли? Именно за это я и плачу вам пятьсот баксов в час. А лечение меня *не интересует*.

...Пол внимательно смотрел на него [сына актера]. Все очень просто. Наркоман папочка, который сегодня осыпает сына деньгами, а назавтра бросается с кулаками. Мамочка оставила его много лет назад. Это ребенок, который вырос, на зная, что такое родительская забота и любовь. Одинокий, ожесточившийся, напуганный...

Пол ощутил волны, исходящие от Джулиана. Очень мощное излучение, пропитанное острой враждебностью и злобой к отцу. И Пол осознал: это случится очень скоро, сын убьет отца».

Голливудский «символ успеха», чтобы не испортить свой «имидж» любимца публики, покупает авторитетного эксперта — и тот в очередной раз продается.

...Стаффер уже немало сделал, чтобы стать для *«тех снизу»* своим, но «предела совершенству нет», и низкие его поступки следуют один за другим. «В основе любых отношений лежит *измена*. Уж я-то знаю», — подбадривает «блондинка» профессора. Конечно, это неправда — она выдает желаемое за действительное. Но «им» измена, предательство, совершаемые человеком, жизненно необходимы как «отмычка» к его душе.

Иногда на Пола находит просветление, и он «кожей» ощущает *опасность*, однако продолжает действовать заодно с Хелен. Не срабатывает даже инстинкт *самосохранения*. Понятно, что здесь действует темный гипноз, — но не только. Автор точно указывает на психологическую черту, свойственную очень многим попавшим в сети зла: человек рассчитывает *перехитрить* противника и надеется, что все «*как-нибудь обойдется*». Нет, не перехитрит, и не обойдется, потому что «те» намного опытнее и сильнее человека, оставшегося один на один со своим извечным врагом...

Вообще, анализ «третьей ипостаси» зла в романе глубок и достоверен. Автор сумел заглянуть «в самый корень».

Что влечет человека в эту темную область?

Очень часто — желание стать сильнее, *могущественнее,* пусть и весьма сомнительным путем. Добавим: часто — даже не примитивной корысти ради, а чтобы иметь полную возможность действовать самому и помочь другим («синдром Гарри Поттера»). Но вот злой парадокс, выводимый из объяснений самой Хелен, которой вздумалось пооткровенничать: «Понимаешь, каким бы ни был дух, он не способен управлять сознанием любого человека. Поэтому мы ищем тех, кто послабее. Примерно так же, как волк в стаде выбирает в качестве добычи самую слабую овцу». Какой удар по гордыне!.. Оказывается, не ты, «сильный», *управляешь*, — а тебя, слабого, *используют*...

С мечтой о всемогуществе тесно связана *жажда славы*. Вот они — золотые мечты себялюбца Пола Стаффера: «Обладать мудростью и силой ангела и все же пребывать в этом мире! Как можно отказаться от такого дара? И *наплевать* на последствия. Он будет *самым великим* из людей!»

Жаль, что не слышал он слов монахини Катерины, святой женщины и прозорливицы: «Стаффер — всего лишь *инструмент* для того, чтобы способствовать приходу в мир истинного хозяина монеты, сила которого огромна...» Со своей стороны подтвердит это и «наставница» Пола: «Поскольку приближался час прихода [Хозяина], я искала смертного, чье тело он мог бы занять». Еще более сокрушительный удар по его гордыне: оказалось, что ему уготовано было стать всего лишь оболочкой, мыльным пузырем!

Пол воображал себя *сверхчеловеком...* а послужит лишь жалкой *игрушкой* в страшной игре, ставка в которой — судьбы очень многих людей...

Нередко (особенно у людей, наделенных любознательным умом) — это стремление к *тайным знаниям* о том, что находится за пределами нашего материального мира. Стаффер заинтересовался литературой об оккультизме, много и быстро прочел — из жадного любопытства и без *критического осмысления* прочитанного. Но настоятельница монастыря, опытная и мудрая сестра Марта предостерегает (в том числе и читателя) от излишней тяги к «потусторонней теме»: «...Опасно даже сосредоточивать на этом *внимание*, поскольку силы зла способны легко подчинить себе человеческий разум. Некоторые по глупости думают, что могут безнаказанно развлекаться оккультизмом. Они не правы: [«те»] исподволь проникают в их сердца и часто *подолгу ждут*, чтобы потом дать волю своей разрушительной силе».

Дух зла дает Стафферу, «хорошо себя зарекомендовавшему», «заветную» монету — сребреник Иуды, один из тридцати. Он и поведет человека все дальше в бездну, поманив его *призрачным всезнанием:* «...Это не простая монета. Она позволяет владельцу проникнуть в высшее знание... он приобретает способность ангела тьмы проникать в суть вещей...» И у Пола на какое-то время действительно открывается *некое* духовное зрение: «В эту ночь Пол и Хелен... подключались к сознанию человеческих существ, читали их сокровенные мысли... Пол наблюдал, как... уродуются души. Как их душат удавы себялюбия. Жалят скорпионы алчности, рвут на части волки ненависти. В действительности богатые оказывались бедными, сильные — слабыми, алчные — неудовлетворенными, умные — глупцами и все — слепыми...»

Любое качество и свойство ценно не столько само по себе, сколько по тому, как оно используется на деле. Что дало *таким образом* полученное ясновидение Полу Стафферу? Укрепило желание и расширило возможности помогать людям? Нет. «Человечность полностью покинула Пола. Он безразлично наблюдал людские беды и страдания, как будто заглядывал в муравейник. Для него это были существа из другого мира». Долго ли может длиться у человека *такое* состояние озарения? Ответ неутешителен: «...[Вскоре] его существо распадается... У владельцев последних сребреников период просветления и упадка души очень короткий».

Итак, любознательность человека, сама по себе качество ценное, может стать для него ловушкой, если он лишен *духовно-нравственного стержня.* Позиция автора здесь выражена четко: «Пол, видимо, не успел прочесть изречение блаженного Августина: “Нет ангела более могущественного, чем наш собственный разум, когда мы крепко держимся за Бога”».

И конечно же, самая соблазнительная приманка — это *свобода,* величайшая ценность для человека. Получив монету, Пол мнил себя абсолютно свободным, но когда ему нужно было самостоятельно принять жизненно важное решение, оказалось... что воля к этому у него *отсутствует.* «...Пол был *в плену* у монеты... Раб амбиций и гордыни, он не мог спастись. И превратился в *раба*».

В иные моменты у читателя даже может возникнуть искушение обвинить во всем роковую монету. (Это на ту же тему — «бес попутал, а я не виноват».) Но вот мнение опытного экзорциста отца Дэвида:

«— Сребреники Иуды... приобретают силу только в руках человека, который попал в сети зла. В иных случаях ничего не происходит.

— Попал? — повторил кардинал Вышинский. — Каким образом?

— *Продал душу* дьяволу».

Неслучайно *главная вина* в романе возложена на Стаффера. И мы можем проследить, шаг за шагом, *как* этот человек «попал в сети зла». Начиналось-то всё с «маленькой» сделки с совестью (с кем не бывает?), и ведь была еще возможность спохватиться, остановиться — но *не захотел*... В страшный час, когда у «сверхчеловека» Стаффера вырывается крик: «Почему именно я?» — он слышит ответ: «...Это должен был быть предатель, гордец и себялюб, *готовый* продать душу. Ты оказался единственным, кто зашел так далеко».

Так неужели Стаффер оказался *хуже* серийного убийцы?! В чем он «зашел так далеко»? Именно в своей готовности, о которой говорила служительница тьмы. Он все понимал — и сделал *осознанный выбор*. Ведь монахиня Катерина всеми силами пыталась убедить его сохранить «бесценное сокровище — вечную жизнь»: «Его нельзя купить, им нельзя завладеть, его нельзя украсть. Нет такой силы ни на земле, ни на небесах, которая могла бы отобрать у тебя этот дар. Только ты *сам* можешь от него отказаться...» Слова святой проникали прямо в душу. Но... его душа была вся изъедена ржавчиной гордыни. Пол принял решение ...

— Я отказываюсь от власти Бога. Отказываюсь от спасения моей души во веки веков».

Потому и нельзя милосердно отнести Стаффера к тем, кто «не ведает, что творит». Даже чудовищный маньяк Крамер, будучи спрошен напрямую, не пошел бы на тот жуткий торг, который лишает человека главного его *сокровища* — бессмертной души. «В тюремной камере Карл Крамер почувствовал смерть своей госпожи. Его охватила... *радость освобождения*... С исчезновением с лица земли Хелен не стало энергии ненависти, которой она его накачивала». Затем в камеру умирающего преступника приходит отец исповедник, чтобы попытаться увещевать его, хотя надежды на успех у него нет, — он просто исполняет свой служебный долг. И тут происходит неожиданное, над чем стоило задуматься и самому отцу исповеднику.

«Отец исповедник посмотрел на умирающего Крамера, пытаясь подавить поднимающуюся из глубины души ненависть. А как еще можно было относиться к человеку, который посеял на земле столько горя?.. Соборовать этого монстра, для которого Бог — ничто...

— Крамер, ты раскаиваешься?

...Прозвучало еле слышное:

— Да.

Начальник тюрьмы изумленно посмотрел на бывшего монстра. А по щекам отца исповедника потекли слезы.

Душа Карла Крамера стояла у развилки пути... и он *сделал выбор*...»

Тяжела была вина Крамера, но Стаффер все же пошел дальше него по пути в бездну...

Беда еще в том, что зачастую человек понимает свободу превратно — как абсолютную *вседозволенность и безнаказанность*. Именно такую «безграничную свободу» *лживо* обещает человеку его враг, а на деле лишает и самой малой. Человек действительно был создан разумным и свободным — в смысле *свободы его выбора*. Но неограниченной вседоз-

воленности попросту не может быть в Божьем мире, где *все свободны,* но *все и связаны* друг с другом — как дети одного Отца...

Вот глубокие суждения монахини Катерины: «...Бог предоставил людям свободу выбора. Любое Божье создание *может* Его отвергнуть. Но *отвергая Его, они отвергают и себя.* (!) После этого любовь ко всему, что им было дорого, гаснет, как будто никогда не существовала. Ибо злу любовь неведома».

Здесь стоит задуматься над каждой фразой. Главное же слово, конечно, *любовь.* Так может быть, хотя бы на самых близких, любимых людей не распространяется душевное оскудение Стаффера? — Нет, ему стала безразлична даже единственная дочь, которую он любил больше всего на свете. Отец исповедник объясняет Мэри: «...Вселившийся в Пола злой дух... прежде всего стремится посеять в нем *равнодушие* ко всем, кого он любил. Иначе [он] *не сможет им управлять.* Убить любовь — это первое, что стараются сделать силы зла». (!)

Что может быть страшнее, чем *утратить любовь* — к близкому человеку, своей земле, делу, мечте? Разве это жизнь?..

Над всеми *фальшивыми ценностями,* внушаемыми тьмой, царит его величество *Обман*. Даже красивый сад, явившийся Полу в видении, — всего лишь мираж. В отличие от того дивного сада, который было дано видеть Мэри. Она спрашивает у отца исповедника:

«— Этот сад существует на самом деле?

— Да, но в ином пространстве. На стороне добра. В отличие от феноменов, которые создают силы зла, этот сад настоящий. Дело в том, что зло — это искаженное, извращенное добро, и потому оно *не может создать* ничего нового».

Все, что ожидает получить легковерный человек, оказывается *призраком*: могущество, слава, знания, свобода и красота. Как у гениального Гоголя в «Ночи на Ивана Купалу»: золото оборачивается битыми черепками. Единственное, что остается настоящим в мире обмана, — это *предательство*. Оно настигает и самих предателей. «...Природа монеты такова, что она предает даже тех, кто ею владеет», — говорит отец исповедник. И это естественно: *зло не может стать добром* даже для тех, кто ему служит, — это противно *его природе*... Ужасен будет конец самой служительницы «великого Магуса»:

«Он прижал ее к себе.

— ...Понимаешь, дорогая, чтобы стать искусителями людей, нам необходимо убить в себе любовь. Иначе нельзя.

Хелен пыталась вырваться, но тщетно. Магус ее задушил, не переставая улыбаться».

Подобными примерами уже не в романе, а в самой жизни могут служить, кстати, судьбы многих рок-звезд, тоже верой и правдой служивших «Магусу».

...Несчастья, беды, смерти и катастрофы нарастают в романе лавиной. Злосчастный сребреник Иуды можно сравнить с камнем, упавшим в воду, от которого расходятся круги все дальше и дальше. Первый, самый малый круг, — это семья самого Стаффера. Затем — круг его знакомых и друзей. Затем — еще шире... Наконец в этот мир приходит, во всем своем могуществе и безобразии, сам Хозяин Монеты, Магус,— и горе вам, люди... Заканчивается всё грандиозным землетрясением в Калифорнии. Только заканчивается ли?..

С большой художественной силой автор показывает: чем глубже *духовное падение* человека, тем опаснее силы зла, которые человек вызывает из бездны в свой *личный* мир, в *общий* мир людей.

...Однако что же это разговор у нас все о зле да о зле? А где *добро*, которое должно с ним бороться и побеждать, как это обязательно бывает в народных сказках? В романе и добру уделено немало места. Почему меньше? А потому что добро, как правило, открыто и понятно, а зло скрывается под разными личинами, и распознать его гораздо труднее.

И все же *законченных* злодеев в романе, как и в жизни, не так уж много. Добрых (точнее говоря, *незлых*) значительно больше. Почему же зло так возрастает — и количеством, и «качеством»? Что же получается — люди *бессильны* перед злом? Не могут или не хотят бороться?

Автор старается ответить на эти вопросы — сказать хотя бы самое важное. И потому ставит перед нами проблему *веры*. Во что и как мы верим?..

Вот несчастная Лора, доведенная до отчаяния жестокостью и несправедливостью жизни. «Веры больше в ее сердце не было, потому что нет в этом мире мошенников никакого любящего Бога. Это очередной обман, плод воображения, а существует только дьявол — зло откровенное и безграничное». А была ли вообще когда-нибудь вера у этих симпатичных близняшек? Если бы была — вероятно, уберегла бы их от зла — и в себе, и извне. Впрочем, *некая* вера в сердце Лоры оставалась — в «другого бога», а уж тот свое взять сумеет... Не эта ли «вера» и толкнула ее на самоубийство?

Вот совсем другой человек, Мэри, — благочестивая женщина, примерная жена и заботливая мать... Обратим внимание: трагические события в ее доме (гибель любимого кота, полтергейст, травма дочери, явление злого духа «во плоти») обвалились на нее не все сразу, они нарастали последовательно, и была еще возможность *осмыслить* происходящее. (Но как раз с осмыслением духовной стороны жизни у нас труднее всего.) Она этого не сделала, что кажется странным в женщине *верующей*. Почему впала она в состояние *паралича* как раз *перед* нашествием этих бед? «Она вспомнила, что забыла перед сном прочитать молитву, и тяжело вздохнула. Невероятно! Эта привычка укоренилась в ней с раннего детства, превратилась чуть ли не в рефлекс... Она прочтет молитву завтра. Бог за один день не успеет соскучиться. Это вообще не важно. Небо не упадет на землю». Но ведь *привычка* молиться — это еще не вера, и вера не может быть *рефлексом*, наподобие слюноотделения перед принятием пищи. Потому и «не было у нее защиты» от сил тьмы, что сама Мэри и сознает.

— Я потеряла веру, — признается она Катерине.

— Тогда посмотри на свое дитя и зарядись верой от нее, — слышит она в ответ.

Да, *чистый душой* ребенок может оказаться мудрее взрослых и даже *спасти* и мать, и отца... (Надо бы помнить об этом, когда мы принимаем решение избавляться от них — еще не родившихся...)

Впрочем, чего уж требовать от «простых смертных», если даже служитель Церкви, кардинал Ватикана, едва устоял против искушения. Темная сила подстрекает его присвоить могущественную монету и занять с ее помощью папский престол... при этом, конечно же, «не ради самой власти и выгоды, а ради усиления могущества Церкви», — вот такой хитроумный соблазн и изощренное коварство. И оказывается, что сам кардинал... нетверд в вере. Прежде всего, практически. Так, в один из «моментов истины» он сам упрекает себя: «Ты... должен был остановить зло, но оказался неспособным... Высокая должность — это еще не святость... В Царстве Божием чиновники-бумагомаратели не нужны. Когда ты в последний раз помогал бедняку? Ухаживал за больным? Одаривал любовью отверженного?»

Здесь он честно напоминает себе о важнейшем качестве христианина — *сострадании*, то есть *потребности* (а не просто обязанности!) разделить тяготы того, кому ты можешь хоть чем-то помочь.

Нетверд священнослужитель и в теории. Выясняется, что он... не принимает учения собственной Церкви о мировом зле. «Как и многие, кардинал Бенелли предполагал, что конец света наступит в виде какой-то глобальной катастрофы или самоубийственной ядерной войны. В крайнем случае христианская религия могла медленно угаснуть, как свеча, под напором технологий. Но в приход ангелов тьмы, описанный в Библии и пророчествах отцов Церкви, он серьезно *не верил».* Мнение главы Церкви, и даже само Писание, оказались для священнослужителя недостаточно авторитетными. Недаром же сказано: кто предупрежден, тот вооружен, — а этот высокопоставленный иерарх Церкви оказался *в растерянности* перед тяжелыми испытаниями...

Ничего не могут противопоставить злу люди «вроде бы хорошие», но застрявшие или обессилевшие на *полпути* между добром и злом. Грубовато, но верно оценивает народная поговорка таких «половинчатых» людей: ни Богу свечка, ни черту кочерга. Вообще говоря, *все мы* в той или иной степени *виновны* в том, что происходит с нашим миром — отвернувшимся от добра и потому *не защищенным* Благодатью.

Но что на самом деле зависит от нас, обычных людей? Вот главный герой романа — при всем его честолюбии, просто маленький человек, как подавляющее большинство из нас: он не президент, не сенатор, не главный прокурор, — и в плане решения общечеловеческих проблем от него практически ничего не зависит, даже если бы он вдруг очень того захотел. И есть в романе монета, мощный символ зла, вокруг которой «лихо закручен» весь сюжет. Но оказывается, что эта монета, при всей мощи ее отрицательной энергии, сама, *без «маленького» человека*, не может *ничего* — а значит, последнее слово, окончательное решение в любом случае остается за человеком.

Велик человек при всей его «малости»! Если мы часто *не можем* что-то сделать, то мы всегда *можем не делать* того, что противно нашей совести. Эрнест Хемингуэй называл это «мужеством неучастия» — в подлости, обмане, жестокости. И это — уже *много*...

Есть и другие люди — как монахиня Катерина, отец исповедник, сестра Марта, девочка Рэйчел... О таких говорят, что они — *соль земли*. Катерина — «простая женщина под шестьдесят лет. В монастыре она с восемнадцати, жизнь провела в созерцании — «попусту растратила», как сказал бы искушенный в жизни циник, любитель поглумиться над религиозной моралью. Но Катерина, напротив, считала свою жизнь необыкновенно наполненной. От других людей ее отличал благословенный дар проникновения в суть вещей и вера — дар от всеблагого Бога». Чем и как была наполнена ее жизнь — этого «успешным» людям не понять. И это тема отдельного разговора...

«Благословенный дар проникновения в суть вещей» — следствие *духовной чистоты* Катерины. В отличие от краткого и избирательного «дара», полученного обольщенным Стаффером, — дар Катерины неизменен, безошибочен и действенен: она владеет истинным знанием жизни и людей, великой силой стоять в добре, противостоять злу и умением наделять этой силой других. Веру Катерины автор называет «даром от всеблагого Бога», потому что ее вера не была сухой *формальностью* — это было *горячее желание* ее сердца, обращенное к Творцу. И потому эта «простая женщина» смогла сделать то, чего не мог даже иерарх Церкви. Значение и влияние таких людей исключительно велико, но и к каждому

из нас обращен призыв отцов Церкви: «Спасись сам — и вокруг тебя спасутся тысячи».

О добре в романе сказано главное: его основа — *любовь*. Любовь, говорит евангелист Иоанн, это самое насущное *в* человеке и *для* человека, потому что Сам Бог есть любовь. Отец исповедник высказывает поразительные мысли о любви, которых не встретишь даже у гораздо более именитых авторов, чем Скотт Макбейн: «...В мире существует непостижимый парадокс. Дело в том, что любовь в известном смысле беспомощна... Любовь никогда ничего не разрушает и в борьбе со злом не будет использовать зло. Но одновременно любовь — это самое могущественное, что есть во Вселенной, потому что когда души объединяются в любви, то им не в силах противостоять и самое большое зло. Между душами не остается даже ничтожной щелочки, куда ему можно протиснуться». Это блистательный ответ тем, кто любит порассуждать о слабости добра и силе зла.

Есть у добра и огромное *преимущество* перед злом, но не всегда осознаваемое, к несчастью, его носителями. Это их *единение* на основе взаимопонимания, прощения — и общей цели!.. Невозможно такую связь разорвать и такую силу одолеть — только надо это уразуметь и прочувствовать, не поддаваясь ни на какие уловки...

Совсем иное дело круговая порука зла: она строится на обмане, страхе, ненависти и потому легко рушится. Распалась она и в романе, а одно из ее звеньев — проклявшая себя душа Пола — лежала погибшая в озере *небытия*. Ужасный конец. Навсегда.

Но — о чудо! К ней протянулась спасительная ниточка от Апостола любви Иоанна, затем присоединились души отца исповедника, Мэри, Бена и Флоренс; потом пришли души Мелани и Лоры, которые одни и могли простить своему убийце. Затем еще, еще... Цепочки любви вбирали в себя все больше душ, росли, сплетаясь между собой в чудесные узоры Небесного Царства...

И пусть это описание не вполне соответствует каноническому богословию, но есть в нем *художественная правда:* для любви, добра — и правда! — невозможного нет...

«Последние дни все Вы мне снитесь…»

Письма Миколы Сурначева к семье с фронта

Фонд Миколы Сурначева в Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства (ф. 214) — самый маленький. И в этом есть некая трагическая символичность: 28-летний поэт был убит 20 апреля 1945 г. под Берлином, а личный архив его не уцелел — тоже погиб в пламени Второй мировой войны. Вот и фонд М. Сурначева состоит всего из двух единиц хранения — двух стандартных архивных конвертов. Причем документы самого поэта лежат только в первом из них, и это вовсе не стихи, а письма, присланные родным в 1944—1945 гг. В другой же единице хранения — тоже письмо, но не Миколы, а его младшего брата Федора (1923—1944), также не вернувшегося с фронта. А был еще и старший брат Ефим (1911—1941), которого постигла такая же судьба. Вот она, трагедия семьи, трагедия поэта и его не сохранившегося рукописного наследия!

Как сказано в предисловии к описи фонда, «документы Н. Н. Сурначева поступили в Центральный государственный архив-музей литературы и искусства БССР от поэта А. И. Вертинского 20 марта 1965 г.». Самому же Анатолю Вертинскому их передал отец Миколы, Николай Ефимович Сурначев, во время личной встречи в самом начале 1960-х гг.[1] В предисловии к описи, написанном еще в 1982 г. архивистом О. М. Чертиной, обращают на себя внимание некоторые факты, не совпадающие с теми, что подаются в широкодоступных справочниках и даже в воспоминаниях родственников. Так, например, утверждается, что поэт родился 1 января 1917 г., в то время как в других источниках обычно называется осень или декабрь. А местом учебы М. Сурначева называется не Гомельский, а Смольянский сельскохозяйственный техникум, что под Оршей. Безусловно, эта биографическая информация еще требует уточнения.

Однако вернемся к упомянутым письмам. Эти документы особенной популярностью у исследователей не пользовались[2] — такое впечатление, что, наобо-

---

[1] См.: Сурначоў М. Акопны спеў: Вершы. Лісты. Успаміны / [Уклад. П. Пранузы]. — Мінск: Мастацкая літаратура, 1986. С. 89. Там же приводятся цитаты из некоторых писем.

[2] Как исключение — публикация (с небольшими сокращениями) письма от 2.08.1944 г. в журнале «Беларусь» (1985, № 5) в подборке писем военного времени «Да штыка прыраўняўшы пяро», подготовленной сотрудницами ЦГАМЛИ Л. Балыниной и Н. Соколовской.

рот, несколько смущали. Ведь Микола Сурначев — это же талантливый «поэт лирического склада, чрезвычайно внимательный к частной детали, к живописной подробности» (так его охарактеризовал критик Рыгор Березкин), мастер необычных метафор («месяц ранены знік з куста», «сонца расстралялі гарматы» и др.), метких эпитетов, разнообразной и богатой ритмики. А тут — стопочка коротких, предельно лаконичных писем. Некоторые из них — открытки, на которых уже с первого взгляда улавливается дух военного времени: зеленая надпись «ВОИНСКОЕ», лозунг «Смерть немецким захватчикам!», стихи В. Лебедева-Кумача и цитаты из приказа И. Сталина, рисунки, где на одних — воодушевленные советские солдаты, идущие с винтовками в атаку, а на других — загнанный окровавленный пес со свастиками, протыкаемый огромными вилами, а на вилах — три флага: британский, советский и американский… Есть и открытки с портретом Н. Г. Чернышевского и его словами: «Историческое значение каждого русского человека измеряется заслугами родине, его человеческое достоинство — силою его патриотизма». Некоторые другие письма, как видно по сгибам, были сложены треугольником — именно в таком виде обычно и доставляла их полевая почта. На всех написан адрес родной деревни М. Сурначева: *«БССР, Гомельская область, Журавичский р-н, Сверженский с/с, д. Слобода»*. Обратный же адрес — в основном *«Полевая почта 07784 “Е”»*. В качестве адресата обычно указывался отец Николай Ефимович Сурначев, хотя в письмах Микола обращался и к матери Ксении Мартыновне, и передавал привет сестре, брату, тете, дяде и другим родственникам. Судя по всему, сохранилась только небольшая часть писем Миколы Сурначева: по его словам, к концу 1944 г. он послал родным «уже писем 30».

Но даже такой, «сугубо прозаический» Сурначев может быть интересен. И эти десять маленьких писем к семье дополняют то, что уже писалось о поэте, обогащают его образ новыми чертами, а биографию — новыми деталями.

Девять из девяти писем отправлены в 1944 г. *«Я жив, здоров… Живу неплохо. Обо мне беспокоиться не стоит»*, *«Здоровье мое хорошо»*, *«Питание хорошее»*, *«У меня нового ничего нет. Живу неплохо»*, — писал М. Сурначев семье. На самом же деле все обстояло куда сложнее и опаснее. В письме, отосланном 31 декабря 1944 г. другу и коллеге по перу Павлюку Пранузе, он признался в том, что так тщательно скрывал от родных:

«Здравствуй, друг!

Очень рад, что наконец-то мы нашли друг друга. Знай, Павлюк, много мне пришлось пережить. Семь с половиной месяцев в госпитале. Твой адрес и множество написанных в окопах стихотворений пропало…

Я сейчас тоже на Висле. Скоро ударит великий гром, и я буду участником. По-прежнему на командной работе. Занимаюсь артразведкой. Стихов почти не пишу. Некогда. От тебя жду большого письма.

Твой друг Николай»[1].

В письме от 2 апреля 1945 г. М. Сурначев написал родным о получении ордена Красной Звезды. Но, как и можно было предполагать, ни словом не упомянул о том, что стало поводом для этой почетной правительственной награды. Подробности читаем в наградном документе: *«В боях за гор. Пиритц 5 и 6 февраля 1945 г. тов. Сурначев под сильным артиллерийским и минометным огнем противника пробрался в город, выбрал НП в расположении противника и умело руководил огнем батареи, в результате чего под его руководством батарея уничтожила 2 противотанковые пушки, 3 пулеметные точки с прислугой и 20 солдат и офицеров противника.*

Будучи ранен, тов. Сурначев продолжал управлять огнем батареи»[2].

---

[1] Сурначоў, М. Акопны спеў… С. 46. Перевод с белорусского наш. — *В. Ж.*

[2] Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Режим доступа: http://podvignaroda.ru/?#id=24758791&tab=navDetailManAward.

Это было довольно серьезное ранение в живот: лейтенанта Сурначева вынесли с поля боя и в очередной раз направили в госпиталь[1] (с. 60), но он не хотел беспокоить родных, сообщать им об этом.

Человек скромный и не горделивый, он не любил хвастаться перед близкими и друзьями своими подвигами, как не любил признаваться однополчанам в том, что он поэт. Только однажды он читал свои стихи солдатам — во время передышки между боями возле города Кюстрина на Одере[2] (с. 145). По воспоминаниям сослуживцев, М. Сурначев был очень добросовестным и ответственным командиром взвода, в боях показывал пример настоящего мужества и самоотверженности. В отношениях с солдатами проявлял отзывчивость и внимательность, «не приказывал, а как будто просил, чуть ли не по-отцовски заботился о своих бойцах»[3] (с. 144).

Именно эти черты — заботливость и ответственность — проявляются и в его письмах к родным. Он часто интересовался, как здоровье у родителей, как учатся брат и сестра, желал родственникам жить дружно и не ссориться. Кроме этого, старался помогать материально: высылал почтой аттестаты, по которым семья могла получать часть его заработной платы, и очень беспокоился, когда оставался в неведении. В письмах Миколы Сурначева звучат настоятельные просьбы писать почаще. Он спрашивал родных, почему от них так давно не приходят письма. И, наоборот, искренне радовался, когда, наконец, получал долгожданную весточку. Словом, семья Сурначевых жила теми же заботами и переживаниями, что и тысячи других семей во время войны.

Особенно драматично воспринимаются теперь упоминания о младшем брате Федоре. *«От Феди я получил письмо. Он жив и здоров»*, — написал Микола 7 ноября 1944 г., не зная о том, что, пока письмо шло, наводчик орудия истребителя танков Федор Сурначев умер от ран в Восточной Пруссии. Но семья еще несколько месяцев оставалась в неведении: *«Я написал его командиру — может, он сообщит, куда Федю отослали»*, *«Федя, видно, попал в другую часть, а поэтому не пишет»*…

Как мы уже упоминали, одно письмо Федора Сурначева сохранилось в архивном фонде его брата:

«Здравствуйте, многоуважаемые родители Папа, Мама, Аня и Ваня!

Во первых строках моего письма разрешите передать вам, что письмо ваша получил, за которае щира вас благодару. Коля в какой школе учился, там же учился наш капитан, и я от него узнал занимаймаю должнасть Коли. Теперь пара слов о своей жизни. Я нахожусь у границ Германии и скоро пойдем уничтожать врага в его логови. Чувствую сибе отлично. Работаю я, как писал и ранше, шафером. От Лиды и Наты писем не получал. Коля писал с дому письмо, так что от Коли и от вас получил. Пишите, какие новости в деревни. Покуда оставайтесь живы и здоровы. Ваш сын и брат Федя»[4].

Но вот трагическая весть дошла до семьи, о чем свидетельствует черновик заявления райуполномоченному при народном комиссариате заготовок по Журавичскому району, написанный отцом, Николаем Ефимовичем Сурначевым, на обороте самого раннего из сохранившихся писем Миколы: *«Я имею четверо детей франтавиков, с них три сына и одна дочь, двое погибла в период Отечественной вайны: 2 сына — Сурначев Ефим Николаевич 1911 года рожд., погиб 1941 году по Масковской железной дороге, станция Фойня*[5]*, и втарой Сурначев*

---

[1] Сурначоў М. Акопны спеў… С. 60.

[2] Там же. С. 145.

[3] Там же. С. 144.

[4] БДАМЛМ. Ф. 214, оп. 1, ед. хр. 2, л. 1.

[5] На самом деле Ефим Сурначев, доброволец народного ополчения, погиб в бою на Волховском направлении под Ленинградом.

Федор Николаевич, 1923 рож., 21 октября [в] В[осточной] Прусии. В настоящая время сын и доч В[оенный] фельшар...»[1]. Поскольку Микола упоминается в заявлении как еще живой, можно предположить, что писалось оно примерно в апреле 1945 г.

До последнего своего дня Микола Сурначев оставался оптимистом. Он понимал, что война скоро окончится, и уверял семью, что с ним «ничего плохого не случится». *«Что будет потом — увидим, однако думаю, что новый урожай встретим вместе»*, — написал поэт в последнем письме.

Через 18 дней он погиб смертью храбрых. После него осталось несколько десятков стихотворений, немало журналистских публикаций и вот эти письма, которые, несмотря на свой скромный объем, рассказывают так много.

Мы намеренно процитировали письмо брата и заявление отца с сохранением всех грамматических ошибок, чтобы подчеркнуть один важный момент: хоть Сурначевы во время войны переписывались в основном по-русски, их родным языком был белорусский, что отражалось и на правописании. Кроме того, отец и брат поэта не имели специального гуманитарного образования; и даже сам Микола Сурначев, до войны несколько лет проучившийся на литфаке Гомельского, а затем Минского пединститутов, хоть и изредка, но тоже допускал ошибки, обусловленные межъязыковым влиянием. Таким образом, письма поэта публикуются согласно авторскому написанию.

Микола СУРНАЧЕВ

Письма к родным

№ 1

Здрасте, дорогие родители!

Я жив, здоров. Нахожусь в 70 км от Варшавы. Живу неплохо. Обо мне беспокоит[ь]ся не стоит. Поляки к русским относятся очень хорошо. Они очень благодарны, что мы изгнали немцев из их родины.

Получаете ли Вы по аттестату 650 руб.? Нужно сходить в Журавичский военкомат. Там и получите. Мне пока не пишите. Я буду Вам часто писать. Целую всех.

Ваш сын и брат *Коля.*

25.II.1944 г.

№ 2

Дорогие родители!

Как живете? Письма от Вас идут неважно. В последнее время получил 2—3 куцых открытки без всяких подробностей о житье-бытье.

Я сменяю место жительства. И Вы больше по этому адресу не пишите. Если мое письмо это получите до 15 августа, тогда пишите один ответ. Я вам буду писать все время из дороги. В дорогу выезжаю, на новое место, с 1 сентября.

Здоровье мое хорошо. Беспокоить не следует. Живите дружно. Ибо мне будет обидно слушать плохое. Последние дни все Вы мне снитесь. Я не знаю, что и думать.

Писем Вам пишу много. Каждую неделю одно письмо, а иногда два. Почему не получаете — не знаю. Со мной ничего плохого не случится — будьте спокойны.

---

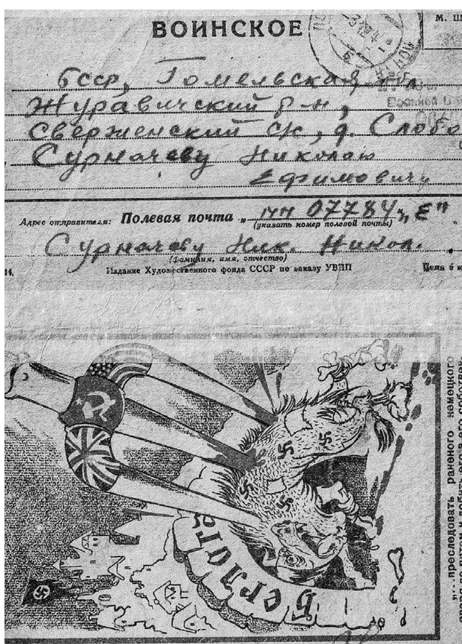
[1] БДАМЛМ. Ф. 214, оп. 1, ед. хр. 1, л. 1 обр.; здесь страница заканчивается, а продолжение черновика не сохранилось.

У Вас, видно, скоро осень, рожь жнете, сено косите. Как хотелось бы навестить. Может, в конце сентября и навещу.

Целую папу, маму, Аньку, Ваньку[1], Вареньку, тетю Феклу, дядю Ермалая, Максима, Алексея, Феню. Всех своих благородных земляков.

Ваш *Коля.*

2.VIII.44 г., Кавказ



№ 3

Дорогие родители!

Поздравляю Вас с праздником Октября. У меня все хорошо. Вчера выпили по 200 гр. в честь победы. Надеюсь, и Вы там отметили праздник.

От Феди я получил письмо. Он жив и здоров[2]. От Лидки[3] возвратилось письмо назад. Не знаю, в чем дело. Пишет ли она Вам?

Учатся ли Ванька и Анька? Где Ната[4]? Почему Вы мне не пишете?

Я Вам выслал почтой 1600 рублей денег. Получили или нет? Спросите на почте.

Как здоровье таты и мамы?

Как живете?

Ваш сын *Коля.*

Привет всем тетям, дядьям, братьям и сестрам.

7.XI.44 г.

№ 4

Здравствуйте, дорогие родители!

Ничего не понимаю — от Вас ни одного письма не получил. Или Вы мне не пишете, или письма Ваши не доходят — не знаю.

Я выслал Вам 2 тысячи 500 руб. (один раз 1600 руб. и другой раз 900 руб.). Выслал аттестат на 650 рублей. Через Журавичский военкомат получать будете эту сумму ежемесячно. Буду высылать дополнительно рублей 250—300.

Настя нам ничего не пишет. Лидка тоже. От Феди получил одно письмо. У меня все хорошо. Не беспокойтесь. Питание хорошее.

Пишите!

Целую всех, ваш сын *Коля.*

Мой адрес:
ПП 07784 «Е»
Сурначеву Ник. Ник.
1.XII.44 г.

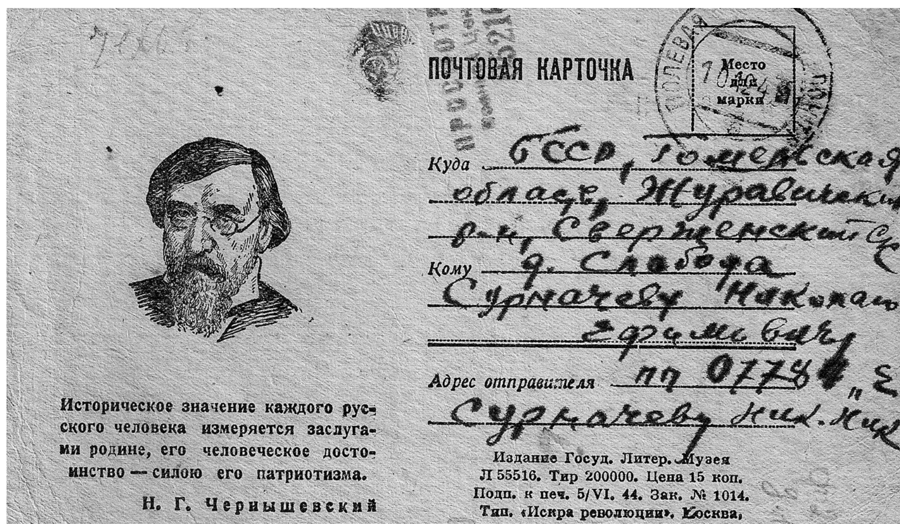
---

[1] Анька, Ванька — Анна Николаевна и Иван Николаевич Сурначевы, сестра и брат поэта.

[2] На тот момент Федора Сурначева уже не было в живых: он умер от ран 21 октября 1944 г.

[3] Лидка — Лидия Николаевна Сурначева (Войленко; род. 1922), сестра поэта.

[4] Ната (Настя) — Анастасия Николаевна Сурначева, сестра поэта.



№ 5

Здравствуйте, дорогие родители!

Каждый день я ожидаю почты — и она мне ничего не приносит. Ни одного слова, ни одной вести.

Или Вы мне ничего не пишете, или моих не получаете?

Я Вам выслал уже около 2800 рублей. Выслал аттестат на 650 рублей. Вы его получите через военкомат.

Пишите, пишите.

Целую всех.
Ваш сын и брат *Коля.*

9.XII.44 г.

№ 6

Добрый день, родители!

От Вас пока ничего не слышно. Я уже написал дядю[1] Ермалаю. Постарайтесь послать мне заказное письмо — оно, может, дойдет.

Я выслал вам уже около 2800 рублей. Да за этот месяц в военкомаце[2] получите 650 рубл. Почему же молчите?

Целую всех.
Ваш сын *Коля.*

12.XII.44 г.
Мой адрес:
ПП 07784 «Е»
Сурначеву Н. Н.

№ 7

Здравствуйте, дорогие родители!

Вчера я получил от Вас первое письмо. Сколько радости! А я Вам послал уже писем 30. От Феди я получил только одно письмо. Больше не слышно. Я написал его командиру — может, он сообщит, куда Федю отослали.

---

[1] Так в оригинале.
[2] Так в оригинале.

У меня нового ничего нету. Все время занятия. Свободного времени очень мало. Писем от Лидки нету. Вы прислали только одно письмо.

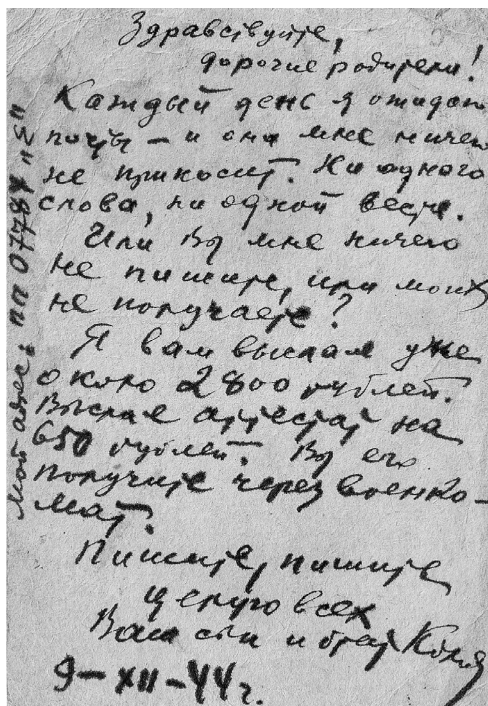
Питание у нас хорошое[1]. Так что обо мне не беспокойтесь. Пусть Ванька хорошо учится. Жалко, что Анька не учится.

Вас прошу жить дружно. Не ссориться. Война, видно, скоро окончится. Так что не беспокойтесь.

Привет всем родным и знакомым. Крепко целую всех: мамашу, отца, Ваньку, Аньку, Нату. Пишите почаще. Ваш сын и брат *Коля*.

Мой адрес: *ПП 07784 «Е» Сур[начеву] Н. Н.*

[декабрь 1944][2]


Здравствуйте,
дорогие родители!
Каждый день я ожидаю почты — и она мне ничего не приносит. Ни одного слова, ни одной вести.
Или Вы мне ничего не пишете, или моих не получаете?
Я вам выслал уже около 2800 рублей. Выслал аттестат на 650 рублей. Вы его получите через военкомат.
Пишите, пишите.
Целую всех
Ваш сын и брат Коля
9-XII-44 г.
Мой адрес: ПП 07784 «Е»

№ 8

Здрасте, дорогие родители!

Вчера я получил от Вас еще одно письмо, писанное Анькой. Только она не ставит число, когда пишет. И я не знаю, долго ли оно идет.

У меня нового ничего нет. Живу неплохо. Обо мне не беспокойтесь.

Что делает Ната? Анька мне написала, что она уехала в Могилев. Пусть она зря не тоскует. Хватит время устроиться. Ванька пусть старается учиться.

Скучать о нас не нужно. Федя, видно, попал в другую часть, а поэтому не пишет.

Вот и все. Целую крепко.
Николай.

Ваш сын и брат.
Высылайте мне Лидкин адрес.
Мой адрес: *ПП 07784 «Е»* (тот же)
18.XII.44 г.

№ 9

Здравствуйте, родители![3]

Я уже получил от Вас два письма. Искренне благодарю. У меня новостей нет — все па-старому. Как Вы? Что нового?

Обо мне не волнуйтесь. Я жив и здоров. Почему Ната мне не пишет? Пришлите ее адрес и адрес Лидки.

Целую всех.
Ваш *Коля.*

24.XII.1944 г.
Мой адрес: *ПП 07784 «Е»*

С Новым годом, дорогие!
Микола.

---

[1] Так в оригинале.
[2] Письмо не датировано; оттиск штемпеля не вполне разборчив.
[3] Письмо написано по-белорусски; публикуется в переводе.

№ 10

Здрасте, дорогие родители!

Я по-прежнему жив и здоров. Дела мои идут хорошо. Сегодня меня поздравили с правительственной наградой — орденом «Красная Звезда».

Живу совсем неплохо. Питание отличное. Масла не хочется кушать. Так что Вы о мне не беспокойтесь. Прошу только писать почаще письма. Это будет большая радость для меня. Правда, вчера я послал Вам одно. И от Вас получил, посланное 28 февраля. Днями думаю послать посылку: костюм, туфли и кожанку. Дойдет или нет — не знаю. Я еще из Варшавы выслал Вам свою фотокарточку. Сегодня высылаю еще одну.

Живите дружно. Яблоки Вы мне не оставляйте. Пока я приеду — новые вырастут. Думал быть дома в конце марта, да не вышло, нельзя. Что будет потом — увидим, однако думаю, что новый урожай встретим вместе.

Целую всех друзей и знакомых.

Ваш сын *Коля.*

2 апреля 1945 г.

Мой адрес: *07784 «Е»*

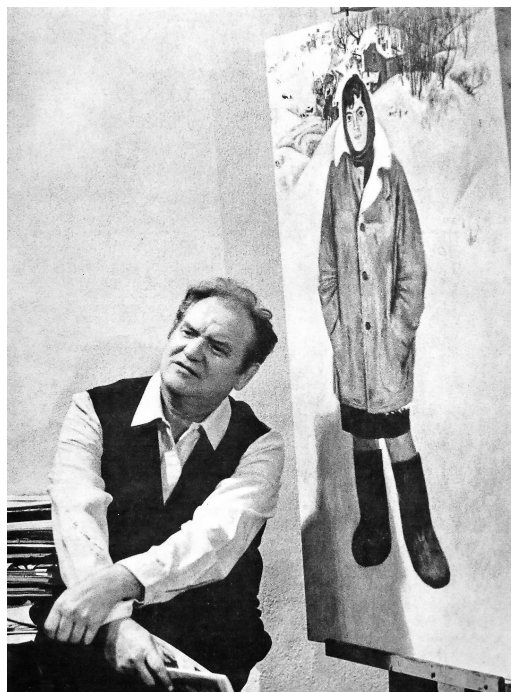
Сурначеву Ник. Ник.

Вступительная статья и подготовка к публикации
Виктора ЖИБУЛЯ.

Надежда УСОВА

Забытый классик

Воспоминания родственников о народном художнике СССР Е. Е. Моисеенко (1916—1988) и его семье



Белорусы, к сожалению, не знают творчества уроженца Уваровичей народного художника СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий Евсея Евсеевича Моисеенко: в крупных белорусских государственных музеях нет его картин[1]. Биография его типична для художников этого поколенияя: родился в многодетной крестьянской семье на Гомельщине, в 15 лет уехал учиться в художественный техникум в Москву, за талант был принят вне конкурса в Институт живописи, скульптуры и архитектуры в Ленинграде (бывшую Академию художеств), где учился у опального формалиста А. Осмеркина. В 1941 году ушел ополченцем на фронт, попал в плен, выжил и продолжил учебу. Остался в Ленинграде, где через несколько лет стал профессором батальной мастерской. Каждая из его картин на военные темы мощного гражданского звучания становилась событием художественной жизни СССР. Но так случилось, что ни одно из крупных его произведений не поступило в белорусские музеи при жизни мастера.

Сам Моисеенко не проявлял особой заинтересованности (Третьяковская галерея и Русский музей стояли в очередь за его полотнами), а желание иметь в музеях в Минске и Гомеле картины крупного советского художника-земляка несомненно были, но Экспертная комиссия при Министерстве культуры БССР, состоявшая в 1970—1980-е годы из заслуженных и народных художников БССР, на предложения директоров музеев о приобретении картин ленинградского художника-белоруса всегда откладывала этот вопрос на будущее и отдавала предпочтение местным художественным лидерам. Среди белорусских художников не было ни одного его прямого ученика, хотя многие известные живописцы подражали его стилистике, заимствовали тематику. Моисеенко был закрытым человеком, знал себе цену, вел переписку только с Василем Быковым.

---

[1] В Буда-Кошелевской картинной галерее им. Е. Е. Моисеенко находится единственное оригинальное полотно мастера — ранний этюд 1946 года, переданный галерее учеником Моисеенко А. Марушкиным, которому в знак благодарности за помощь подарила в последние годы жизни вдова мастера.

Его уважали и побаивались за суровость, прямоту и открытость. Насколько известно, он, профессор батальной мастерской Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, не приглашался (в отличие от своего коллеги и земляка народного художника СССР москвича Г. Нисского) возглавить Государственную приемную комиссию в Белорусском государственном театрально-художественном институте. Хотя Моисеенко почти ежегодно в 1970-е годы бывал в Беларуси — приезжал в Уваровичи к матери и сестрам. Он не только по-родственному навещал свою семью, помогая им деньгами, приглашая в Ленинград, но и черпал вдохновение из родных мест, часто используя деревенские пейзажи в своих картинах, несмотря на то, что с отрочества оторвался от родины, органично впитав в себя ленинградскую художественную культуру. Некоторые картины художника 1960-х годов («Земля», «Матери, сестры», «Из детства») написаны в Уваровичах, часто моделями выступают его родственники. Художник никогда не скрывал, но и не декларировал свою белорусскую национальность, не уставал отмечать важную роль семьи — матери, отчима и особенно деда — и деревенского детства в формировании его как художника. *«Мне кажется, воспоминания детства в зрелом возрасте с удивительной какой-то явью преследуют художников, они пробуждают воспоминания, воскрешают тех людей. В детстве человек становится тем, кем он будет в будущем.*

Вспоминаю детство как самую счастливую пору жизни, когда испытываешь бесценное чувство защищенности. Человек определяется в детстве. Наши корни — в семье, в ее нравственной почве, отношениях с окружающим миром. От первых впечатлений исходит и чувство Родины, какое небо над тобой, которые дожди тебя омывали, на которую землю ты шагнул с порога. От этих исконных слоев жизни и начинается творчество», — утверждал он.

Странным образом срывались и попытки организовать его выставки на малой родине — в Гомеле. Из воспоминаний художников старшего поколения известно о визите гомельских художников в 1970-е годы в Ленинград. Они навестили Моисеенко с просьбой устроить выставку. Моисеенко и сам предполагал показать свои работы в Гомеле. В библиотеке Гомельского краеведческого музея хранится книга с дарственной надписью, где Евсей Евсеевич написал: «*…Надеюсь увидеть в ваших стенах свою персональную выставку».* В1977 году эта книга была передана Валентине Михайловне Лямцевой, сотруднику советского отдела Гомельского областного краеведческого музея им. А. Луначарского, которая специально ездила в Ленинград к Е. Е. Моисеенко на переговоры о выставке, где он и подписал ей эту книгу. Была договоренность о том, что «при первой же возможности» сделают выставку в Гомеле. Но выставка из-за инертности руководства так и не была организована. Уже после смерти мастера другой сотрудник Гомельского музея, Анна Петровна Кравцова, в 1989 году снова едет в Ленинград, чтобы организовать уже посмертную выставку Моисеенко, где знакомится с вдовой художника Валентиной Лаврентьевной Рыбалко и его лучшим другом известным ленинградским скульптором, автором памятника А. С. Пушкину Михаилом Аникушиным, которому с радостью представляют гомельчанку. Снова договариваются о выставке по завершении ремонта в выставочном зале в Гомеле. В. Л. Рыбалко ушла из жизни, не дождавшись выставки мужа на его родине. Не проявляли должной настойчивости ни администрация местных музеев, ни сам художник. Была упущена и единственная возможность получить несколько картин мастера после его смерти в 1988 году, когда из-за отсутствия прямых наследников они из его мастерской распределялись по различным музеям СССР.

Празднование 100-летия со дня рождения художника в России в 2016 году прошло тихо и незаметно, словно в подтверждение старой поговорки: так проходит земная слава. Народный художник СССР, получивший в советские времена весь арсенал наград (и вполне заслуженно), не удостоился выставки к 100-летию со дня рождения ни в Государственном Русском музее в Ленинграде—

С матерью Матреной Сергеевной у родного дома. 1975 г.

Петербурге, где жил с 1935 по 1988 годы (за вычетом военных лет, когда он был в плену), ни в Москве, в Третьяковской галерее, где хранится значительное количество его лучших произведений. С большим трудом благодаря личной инициативе пары энтузиастов из Минска и Петербурга удалось найти в фондах бывшего «Ленфильма», отреставрировать, оцифровать и показать единственный документальный фильм о Моисеенко — «Монолог художника» 1975 года, снятый известным режиссером Семеном Арановичем в Уваровичах в год получения мастером Ленинской премии.

Юбилейные торжества непосредственно в день его столетия прошли только на родине, в Минске и в Уваровичах, позднее, в 2017 году — вечер памяти в С.-Петербургском Институте живописи, скульптуры и архитектуры, где он учился и впоследствии преподавал почти 30 лет. Два крупнейших российских музея, имеющие самые полные коллекции художника, «не заметили» памятную дату классика советского времени. В чем причина? Неужели годы обесценили его творчество?

Певец Красной конницы и романтики «той единственной Гражданской», воспетой поэтами-шестидесятниками, Моисеенко спустя 30 лет после смерти оказался в ряду «красных» живописцев, конъюнктурных художников, «ангажированных советской властью». Выставки поколения этих художников, в особенности баталистов (студии М. Грекова, например) выглядят неуместными в 2010-е годы — времени иного многопланового взгляда на историю XX века, понимания трагической полифоничности истории Гражданской войны, поэтизации и готовности к реабилитации Белого движения. (Вспомним хотя бы триумфально прошедший романтический фильм об адмирале Колчаке, недавнем заклятом враге советской власти.)

Даже на единственной в юбилейный год выставке, которую организовал Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств, — удалось избежать показа его картин на тему Гражданской войны — важной части творческого наследия художника.

Да, героями многих его картин были те самые «комиссары в пыльных шлемах», воспетые Окуджавой. Моисеенко создал тревожную, поэтическую живопис-

ную сагу о Всадниках победы и возмездия, которых он мальчишкой воспринимал настоящими героями. Он был убежденным советским художником, хотя и беспартийным, тяжело пережил смену идеологемы в первые перестроечные годы и фактически не пережил их: родился и умер вместе со своей ушедшей эпохой.

Возможно, его живопись спустя всего 30 лет после смерти мастера, в XXI веке, утратив идеологическую актуальность, устарела и потеряла художественные качества? Нет, так сказать нельзя: Моисеенко — Мастер, новатор в живописи, пример для подражания и копирования, со своим уникальным, узнаваемым с первого взгляда творческим почерком. Это не подлежит сомнению. Он — мечта музеев и коллекционеров, на художественном рынке СНГ практически нет его произведений, владельцы его картин берегут их и не спешат с ними расставаться, выжидая и дожидаясь заоблачных цен. Страховые суммы его картин уже очень велики: «поднять» выставку Моисеенко в 2016 году на его родине, в Минске, опять не удалось. Книги-альбомы о нем советских лет не появляются на прилавках букинистических отделов магазинов, а каталог его последней юбилейной выставки, изданный на средства учеников, пользуется коммерческим успехом. Кажется, время второго открытия белорусами Моисеенко, уже посмертного, — дело будущего, когда наступит переоценка его творчества на суде времени. Что из его наследия останется, что уйдет в тень — пока неизвестно. Наша задача — ввести его творчество в белорусский художественный контекст, из которого он не по своей воле выпал при жизни. Белорусы должны знать Моисеенко и как художника, и как неординарную личность.

Первые шаги к этому были сделаны земляками мастера уже в XXI веке: в 2007 году создана районная картинная галерея в городском поселке Буда-Кошелево, которая получила имя Е. Е. Моисеенко. Автор проекта здания — племянник Моисеенко — архитектор Сергей Григорьевич Моисеенко, выпускник Ленинградского института им. Репина. Этот заказ сначала был поручен ему как «однофамильцу» (другие архитекторы браться за него не хотели, так как здание перестраивалось из старого административного), но когда выяснилось, что он родной племянник, то дело было решено окончательно, и Сергей Григорьевич вместе с женой Еленой Аркадьевной Стояновой увлеченно взялись за решение поставленной задачи, воспринимая ее как дань памяти мастеру. Галерея была торжественно открыта, работает и постоянно пополняется литературой о Е. Е. Моисеенко и приносимыми в дар произведениями его учеников.

В 2016 году один из крупнейших банков Беларуси — «Белгазпромбанк» приобрел для своей корпоративной коллекции в Минске «Натюрморт»1970-х годов кисти Моисееенко, который выставлен в постоянной экспозиции коллекции Банка. Так в Минске появилась первая картина художника. К 100-летнему юбилею вышло первое в Беларуси небольшое монографическое издание «Яўсей Майсеенка» из серии «Славутыя мастакі з Беларусі», где воспроизведены 30 репродукций его произведений.

Во время подготовки юбилейного вечера памяти в Минске и в Уваровичах в 2016 году состоялось знакомство минских музейных сотрудников с родным племянником мастера гомельским архитектором Сергеем Григорьевичем Моисеенко, его сестрой Валентиной, проживающей в Уваровичах, и женой Еленой Аркадьевной Стояновой, которые поделились своими воспоминаниями о дяде.

Они показались нам тогда интересными, живо и образно изложенными и достаточно информативными. В семье родных художника сохранились малоизвестные фотографии, которые дают возможность проникнуть и в эту скрытую от посторонних глаз личную сторону его жизни, идентифицировать художественные образы родных мастера — мать, сестер, племянников, отчима и деда по конкретным фотоизображениям. Фотоальбом этот невелик — около 20 фотографий, но очень важен и показателен для уточнения биографии мастера.

По моей просьбе Сергей Григорьевич Моисееенко записал эти воспоминания, которые в авторской редакции представляем читателям.

Сергей МОИСЕЕНКО

О Евсее Моисеенко — моем дяде

В семье, где родился Е. Е., было четверо детей: Матрена Евсеевна Моисеенко — 1914 г. р., Евсей Евсеевич Моисеенко — 1916 г. р., Иван Изотович Моисеенко — 1925 г. р., Мария Изотовна Моисеенко — 1929 г. р.

Е. Е. был вторым в семье ребенком.

Мать Е. Е. Матрена Сергеевна Моисеенко, урожденная Жилицкая, вышла замуж за Евсея Прокофьевича Моисеенко в 17 лет. Они жили в доме мужа, где у них родилось двое детей — Матрена и Евсей. Незадолго до рождения Е. Е. в семье случилась трагедия — в молодом возрасте умер отец Е. Е. — Евсей Прокофьевич. По рассказам бабушки, он глубокой осенью чинил крышу. Была очень холодная и ветреная погода. Он простудился, серьезно заболел и умер незадолго до рождения сына Евсея, которого и назвали в честь умершего отца. Отец Прокофий Наумович после смерти старшего сына Евсея сказал: «Невестку Матрену с двумя детьми в белый свет не отпустим, будет жить с нами». Через несколько лет младший брат умершего Евсея Прокофьевича Изот Прокофьевич женился на Матрене. В их браке родилось еще двое детей — Иван и Мария. Вот почему у детей разные отчества.

Мария, младшая дочь, — это моя мать. У старших троих — не было детей, а у моей мамы Марии — двое: я и младшая сестра Валя. Я родился в 1960 г., а сестра — в 1962 г. Мы были единственными племянниками у всей родни. Моя мать с моим отцом жили менее двух лет, затем разошлись, поэтому отца я практически не помню.

Старшая сестра Е. Е. Матрена Евсеевна не была замужем, и мы жили в одной хате с дедом Изотом Прокофьевичем (отчим Е. Е.), с бабушкой Матреной Сергеевной (мамой Е. Е.), с тетей Матреной Евсеевной (старшей сестрой Е. Е.), с моей мамой Марией Изотовной и моей младшей сестрой Валей. Дедушка Изот умер в возрасте 64 лет в 1964 году. С этого времени мы жили впятером в одной хате: бабушка, тетя, мама, сестра и я, единственный мужчина.

Мама была скромным, застенчивым человеком. Всю жизнь работала в Уваровичах в небольшом швейном цеху. Работала по дому, в огороде, не любила шума и суеты. А моя тетка Матрена Евсеевна была «боевая». Ездила в битком набитых автобусах в Гомель за 30 км от Уваровичей за вкусным гомельским хлебом, селедкой, помидорами, огурцами и другими продуктами и товарами. Нередко она брала меня и сестру с собой. Именно с тетей Мотей, как мы ее называли, мы ездили почти каждый год в Ленинград в гости к Евсею Евсеевичу и Валентине Лаврентьевне, а также к дяде Ивану и тете Ане. Брат Е. Е. Иван Изотович с женой Анной Александровной жили в поселке Петро-Славянка в 16 км от Ленинграда. Иван молодым уехал в Ленинград и работал на железной дроге машинистом товарных поездов.

В Ленинград мы, как правило, ездили во время двухнедельных школьных зимних каникул. Первые дни гостили у Е. Е., а затем у дяди Ивана.

1963 год. Весна, конец мая. Мне три года. Моя тетя Мотя в первый раз привезла меня в Ленинград к Е. Е.

Они с Валентиной Лаврентьевной уже семь лет жили на Суворовском проспекте в очень красивом сталинском доме. Большую квартиру в двух уровнях с мастерской они получили в 1956 году.

31 мая — мой день рождения. Дядя Евсей подарил мне трехколесный красный велосипед и головной убор-картузик, т. к. в Питере было прохладно. Недалеко от дома на Суворовском был колхозный рынок в Тульском переулке, которым пользовались Е. Е. и В. Л. Мы все (я в картузике, на новом велосипеде) пошли на рынок.

На обратном пути Е. Е. встретил знакомого. Мы остановились. Этот дядька решил по-доброму надо мной пошутить — сдвинул мне мою кепку на глаза. Моя реакция была неадекватной. Я безнадежно расстроился и разревелся. Мне была непонятна широкая счастливая улыбка Е. Е. в этой ситуации. Трагедия была настолько сильной, что домой меня в кепке несла на руках тетя, а Е. Е. нес велосипед.

Велосипед привезли в Уваровичи. В те времена в деревнях на улицах не было асфальта. Катая пацанов на задней оси в качестве пассажиров, я его быстро поломал. Мой красный велосипед оказался на чердаке.

Яркое детское воспоминание. Прогуливаясь по нашей Комсомольской улице, Е. Е. обратил внимание на нашего соседа деда Тихона, который жил через три хаты от нас. Деду было лет 85. К его дому на улице было пристроено легкое деревянное крылечко. Он там сидел и дымил, как паровоз, с утра до вечера курил махорку. Борода, усы и пальцы деда Тихона были желтого цвета от махорочного дыма. Дед был очень колоритный — хоть картину пиши! Длинные волосы, большая борода, настоящий старец! Е. Е. попросил мою маму, чтобы она пригласила деда Тихона к нам на ужин «повечерять». Наверное, Е. Е. решил его получше разглядеть и побеседовать. На улице темнело, гулять я не пошел, лежал на диване. Накрыли стол по-деревенски: вареная картошка, длинные перья зеленого лука, огурцы, сало. На стол поставили большую бутылку самогона. Поставили чарки. Е. Е. начал наливать первые сто граммов. Дед говорит: «Я с чарки не пью, поставь мне стакан и наливай полный». Евсей налил себе полчарки и деду — по его просьбе. Сидели долго. Пили, ели, разговаривали. Когда провожали деда Тихона, большая бутылка самогона опустела. Е. Е. предложил проводить его до дома, но дед Тихон категорически отказался и со своей «костэчкой», благополучно добрался до дома сам. Утром сели завтракать-«снедать» и с улыбками вспоминали вчерашний ужин.

1967 год. Мне семь лет. Я пошел в первый класс. Сестре 5 лет. Летом на 5—6 дней к нам приехал Е. Е. К слову, я не помню, чтобы он приезжал зимой. Условия жизни в небольшой старой деревянной хате были некомфортными: холодная вода из колодца, туалет на улице, торфяное отопление. Газовой плиты не было. Мама и тетя готовили на керогазе. Нам не разрешали ставить газ, т. к. хата была для этого не пригодна. Эти шесть июльских дней, к счастью, были солнечные и теплые. Мне они очень запомнились. Е. Е. пригласил, может быть, единственного в поселке Уваровичи фотографа-любителя, дядьку Адама, с фотоаппаратом «Смена 8М», очень высокого мужчину в костюме и всегда в кирзовых сапогах. Эта фотосессия была, пожалуй, самой главной, которая собрала несколько поколений нашей семьи. Была бабушка Матрена, родная сестра бабушки Фекла, Е. Е., тетка Матрена, моя мама Мария и мы с сестрой. Эти семейные фотографии потом были напечатаны во многих книгах о Е. Е.

В это лето он мне запомнился очень полным, «большим» в физическом смысле. Таким грузным он никогда не был. Его просторная светлая рубашка с короткими рукавами еще усиливала это мое ощущение. На руке у Е. Е. были часы, которые мне очень понравились и запомнились. Позолоченный тонкий круглый корпус, белый циферблат с изящными золотыми стрелками и коричневый кожаный ремешок.

Еще одна семейная фотосессия была спустя шесть лет, в 1973 году. До приезда к нам он побывал в Европе. В Уваровичи приехал в явно не нашей летней одежде. На нем были летние темно-синие брюки с большим количеством накладных карманов и всевозможных красивых деталей, но не джинсы. На ногах — роскошные темно-коричневые кожаные босоножки. Рубашка — светлая, почти белая, в мелкую клеточку, очень «западная». Это было очень красиво и стильно. Вообще Е. Е. всегда выглядел и одевался очень хорошо.

Приезжал он всегда налегке — небольшая сумка, в ней вещи и принадлежности для рисования. Принадлежности для рисования были тоже очень непро-

стыми. У нас я таких никогда и не видел. Блокнот для зарисовок был с пружиной, и листы легко переворачивались, их не нужно было придерживать рукой, как в советских тетрадях. Карандаши — со съемными грифелями, разные по толщине и цвету, очень красивые, с импортными названиями. Один черный карандаш меня тогда поразил — он был в массе своей грифель, толщиной 6—7 мм, с блестящим черным покрытием. Е. Е. зарисовывал, делал набросок, а я стоял сзади и с любопытством смотрел. Он рисовал линией, без тона. Его наброски были легкими, как будто рисунка и нет. Рисовал он очень быстро, молниеносно, выхватывая какую-то суть из того, что рисовал. Однажды я видел, как он делал набросок старых больших петель — «завес» на больших воротах старого сарая. Спустя время эти «завесы» я увидел в полотне «Из детства».

Ленинград. В Академическом саду. Начало 1960-х.

Новогодние праздники в Уваровичах для нас с сестрой начинались в середине декабря с двух больших посылок из Ленинграда. Е. Е. присылал нам апельсины и конфеты. В наши с сестрой Валей школьные годы (1967—1977) на зимних каникулах мы с теткой Матреной ездили почти каждый год в Ленинград в гости к Евсею Евсеевичу и Валентине Лаврентьевне, а также к дяде Ивану и тете Ане.

Тетка набивала две огромные сумки буйной бульбой (крупной картошкой), наливала две-три резиновые медицинские грелки крепким самогоном, укладывала в сумки по большому куску сала, и мы отправлялись в путь. Одну сумку несла тетка, вторую — тянули мы с сестрой.

На Витебском вокзале г. Ленинграда нас всегда встречал Е. Е. Мы на такси ехали к ним на Суворовский проспект. Каждый раз, поцеловав нас при встрече на Витебском вокзале, Е. Е. произносил свое любимое: «Черт подери, я же просил не везти картошки!» Подхватывал две неподъемные сумки и нес их до такси. Через полчаса мы оказывались на пороге их квартиры на седьмом этаже на Суворовском проспекте.

Валентина Лаврентьевна с радостью нас принимала. Квартира была двухкомнатная, обе комнаты, гостиная и спальня, были очень большими — метров по 35 каждая. Большими были прихожая, ванная и кухня. Над всей площадью квартиры на восьмом этаже находилась мастерская Е. Е., в которую вела деревянная лестница из гостиной. Все предметы и мебель в мастерской были прижаты к периметру стен, было приятное ощущение пустоты и простора. Огромная плоскость скользкого, покрытого лаком паркета позволяла нам с сестрой, одев в прихожей тапочки на войлочной подошве, скользить по этому полу, как по льду. Мы так увлекались этим «фигурным катанием», что взрослые вынуждены были нас останавливать. Е. Е. очень спокойно относился к нашим развлечениям. Аскетичная обстановка была и в жилых комнатах. Было ощущение, что в квартире мало мебели. В гостиной — большая библиотека вдоль стены, большой стол в центре, буфет, черно-белый телевизор «Электрон», маленький радиоприемник «Рос-

Сестра Матрена Евсеевна с племянником Е. Е. Моисеенко Сергеем. Уваровичи. 1962 г.

сия». За стеклом буфета стояли две бутылки спиртного — армянский коньяк «Арарат» и водка «Столичная», рядом — предназначенные для спиртного четыре маленькие серебряные чарочки, похожие на церковную утварь. На буфете стояла вазочка с засушенными колосками, привезенными Е. Е. как-то летом из Уваровичей. За большим столом в гостиной нас всегда и принимали. Пища была простая, привычная, как в Уваровичах, — вареная не толченая картошка, салаты, сало. Исключение составляла превосходная ароматная настоящая ветчина, которую, кроме как на этом столе, мы больше нигде не видели. После еды пили черный индийский чай «Три слона», который заваривали прямо в чашках. К чаю — печенье, чаще — овсяное. За ужином долго не засиживались. Мы с сестрой спать не хотели, а Е. Е. обрывал наши игры, говорил: «Закругляйтесь, пора отдыхать». «Идите вшей смойте», — шутя говорил Е. Е. в день нашего приезда, но на эту «жесткую» шутку мы не обижались.

Тетя и сестра спали в гостиной на раздвижном диване, я — на одноместном диване наверху в огромной мастерской, в которой вкусно пахло масляными красками. Здесь же, в мастерской, на деревянной стенке стеллажа для работ, он делал отметки карандашом, измеряя наш рост, смотрел, насколько мы подросли в очередной приезд.

Сейчас понимаю, что я счастливый человек, в том числе и потому, что мне довелось спать на диване в мастерской великого художника.

За обеденным столом я всегда сидел напротив Е. Е. Он ел в очках, т. к. одновременно смотрел телевизор, почитывал, зарисовывал. Иногда поверх очков мог посмотреть на меня. Этот взгляд просвечивал, как рентген. Такого же мнения была и сестра. Она говорила: «Ой, Сергей, дядька Евсей как посмотрит из-под очков, аж страшно становится!» Этот взгляд пробивал насквозь, лукавить было бессмысленно. В нем чувствовалась большая и светлая сила.

Жена Е. Е., Валентина Лаврентьевна, была человеком гостеприимным, мягким, приятным в общении. С моей точки зрения, она была красивая женщина. Яркая брюнетка с выразительным красивым лицом, хорошо сложена. Я сделал вывод, что они очень подходили друг другу. В моем присутствии никогда не разговаривали на повышенных тонах, учитывая вспыльчивый, экспрессивный характер Е. Е.

Е. Е. за столом любил слушать теткины рассказы про земляков, деревенские новости. Он сам провоцировал эти рассказы, спрашивал: «Как там у вас?» Тетка Матрена была с большим чувством юмора, и ее рассказы были очень колоритные. Е. Е. любил простой народный юмор, искренне, до слез, смеялся теткиным рассказам. Он любил свою малую родину, которая вдохновляла и питала его творчество.

Человек он был немногословный, даже замкнутый. Есть такое понятие «поболтать». Это не о нем. Говорил он только по сути и был очень точным в высказываниях. Говорил только тогда, когда был предмет разговора. Его речь

была минималистичной, точной, простой, ясной, краткой. Выражение лица было таким, как будто он немного чем-то недоволен, озабочен, взволнован. Но делать вывод о том, что он находится в состоянии негатива, — неправильно. Скорее это было состояние сосредоточенности. Иногда этот серьезный образ мог отпугивать человека, который хотел бы заговорить с ним. Но стоило преодолеть эту робость, и Е. Е. раскрывался перед собеседником как человек необычайно теплый, добрый и очень располагающий.

Вторую половину ленинградских каникул мы проводили в Петро-Славянке у дяди Ивана, а в день отъезда приезжали к Е. Е. на Суворовский. Он на такси отвозил нас на вокзал и провожал домой. Перед нашим выходом из квартиры Е. Е., как правило, давал тетке Матрене деньги. Это были крупные купюры по пятьдесят или сто рублей.

Как-то за ужином наша тетя Мотя поинтересовалась у Е. Е., что он привозит из-за границы. Он ответил: «В основном книги». Мы удивленно переглянулись, а тетка сказала по-деревенски: «Клёпки няма — тяжесть такую перть!», на что Е. Е. отреагировал как-то негативно, что-то буркнув.

Мать Е. Е., моя бабушка, меня очень любила, я ее тоже. Она умерла 18 апреля 1982 года. Я служил в армии 1980—1982 гг. Демобилизовался 18 мая 1982 г., спустя месяц после ее смерти. Мама и сестра мне рассказали, что перед смертью она очень хотела меня видеть: «Побачить бы внука...» Бабушка всегда заботилась обо мне. Во время приездов Е. Е. в Уваровичи она несколько раз просила его: «Не забудь про внука, помоги ему устроиться на учебу».

Е. Е., будучи в Уваровичах, начал пробовать меня на предмет моих способностей к изобразительному искусству. В двух километрах от нашего поселка был кирпичный завод, рядом — озерцо и лесок. Там мы часто проводили первую половину дня, а к обеду приходили домой. По приходу домой он просил меня нарисовать акварелью мои впечатления. Затем оценивал. Однажды мы вернулись с «кирпичного», обед был еще не готов. Был знойный летний день. Е. Е. попросил меня ему попозировать. Я был в майке и красных штанах. Он сказал: «Сядь к окну и нарисуй улицу. Я сделаю набросок». Из этого возникла работа «Юный художник». Когда увидел ее, я вспомнил эти 10—15 минут моего позирования. Я был в восторге!

Задатков живописца Е. Е. во мне, видимо, не почувствовал, а вот архитектора — разглядел. С 10 лет я придумывал и сам мастерил хоккейную амуницию (вратарские щитки, ловушки для шайбы, вратарские маски, клюшки, хоккейные ворота), строил будки для собак, шалаши, скворечники и т. п.

В 1977 году я поступил на факультет архитектуры в Академию художеств в Ленинграде. Это другой этап воспоминаний и отношений.

Перед экзаменами был просмотр творческих работ абитуриентов для допуска к вступительным экзаменам. Работы мои были, мягко говоря, не сильные. Помню огромный зал, залитый светом на первом этаже Академии. На полу разложено много акварелей, графики абитуриентов. Высокий, красивый столичный молодой человек принимал эти работы. На моих работах он увидел фамилию Моисеенко и спросил: «Часом не родственник?» Я ответил: «Да, племянник». Вдруг такие эмоции! Восторг, уважение, другое отношение! Тогда я понял, что мой дядя не просто хороший художник.

На вступительные экзамены я приехал в рубашке с короткими рукавами. Е. Е. счел, что на экзамены лучше идти в пиджаке, и предложил мне самый маленький пиджак из своего гардероба. Он был мне очень велик, тем не менее, мы решили, что, несмотря на минусы, в нем много плюсов. В пиджаке были большие внутренние карманы, в которые можно было положить шпаргалки. В этом пиджаке с плеча моего великого дяди я успешно сдал вступительные экзамены. Ура!

Первые три года учебы были для меня очень тяжелые. Я ушел в армию на два года. После возвращения восстановился на учебу. Армия меня закалила, я

вырос, изменился, мне стало легко и интересно учиться. Я хорошо учился, получал повышенную стипендию. Преподаватель факультета профессор архитектуры Михаил Александрович Штример, останавливая меня в коридоре академии, говорил:

«Е. Е. интересовался — как там племянник? Я ему отвечал — все замечательно — из него получится архитектор».

Во время учебы я узнавал всякие интересные детали о Е. Е. По Академии ходили разные байки.

Со скульптором М. К. Аникушиным у Е. Е. были приятельские отношения, а со знаменитым живописцем А. А. Мыльниковым они были конкурентами в профессии. У каждого была живописная мастерская в Академии, и их студенты конкурировали между собой. В пылу Мыльников говорил нерадивому студенту: «Будешь плохо учиться — пойдешь во двор!» Дело в том, что мастерская Е. Е. находилась на территории Академического сада — во дворе Академии, а не в здании.

Е. Е. был очень занятой человек, я тоже увлекся учебой, студенческой жизнью, и виделись мы нечасто. Как-то летом Е. Е. пригласил меня на свою дачу в Юки в 30 км от Ленинграда. Валентина Лаврентьевна на даче приготовила великолепный обед. Был конец сентября — время сбора урожая яблок. Я старался снять все яблоки с верхушек и нечаянно поломал ветку яблони. Дяде это очень не понравилось, он попросил работать аккуратнее.

Юки — это сказочное место! Живописный рельеф, озера, хвойный лес. Эту идиллию разрушало одно обстоятельство — молодежь со страшным ревом гоняла по извилистым дорогам поселка на популярных в те годы мотоциклах «Ява». Это было очень шумно, небезопасно, и Е. Е. это очень раздражало.

Уваровичи. Е. Е. гостит у нас. Вечер. Пора ложиться спать. Моя мама стелет ему на диване и кладет подушку так, что если лечь — ноги окажутся к иконам. Е. Е. тут же перекинул подушку и сказал: «К образам нужно ложиться головой!»

У нас в хате всегда был самогон, т. к. тетя и мама гнали его, а сами не пили. Евсею часто предлагали за обедом пятьдесят граммов к аппетиту. Я помню, как он поднимал советскую граненую чарку и со словами «какая гадость», выпивал ее и закусывал.

Однажды летом он приехал к нам на пять дней погостить. Все эти пять дней с утра до вечера шел дождь. За окнами было темно, как ночью. Он просидел все эти дни у окна за чтением книги, которую привез с собой. Это была самая неудачная его поездка в Уваровичи.

Очередной его приезд в Уваровичи. Лето. Мне лет двенадцать. Мы на поле за поселком играли в футбол. Вдруг слышу крик сестры: «Сергей, дядька приехал!» Я предложил пацанам пойти посмотреть на моего ленинградского дядьку. В нашей ватаге был мальчик, который приехал к бабушке из Москвы. В футбол мы играли его кожаным черно-белым новым, очень красивым мячом. Все вместе мы подбежали к нашему дому. На улице возле палисадника стоял Е. Е. Я, на каких-то радостях, хватаю этого московского мальчика и валю его на траву, демонстрируя дяде свою силу и ловкость. К слову сказать, мальчик был полненький и неповоротливый. Ожидаю от дяди одобрения своей «удали», но его реакция была резко отрицательной. Воспитательный момент я тогда остро почувствовал.

Я рос без отца в женской среде — бабушка, мама, тетя и сестра. Мама была очень мягким человеком, многого от меня не требовала. На этом фоне мужчина, к тому же такой серьезный, как Е. Е., был для меня очень суровым воспитателем. Я всегда прислушивался к его словам и наставлениям. Много раз он повторял для меня одну фразу: «Нужно много читать».

Очередной наш поход на «кирпичный». В этот раз Е. Е. решил пообедать в березняке рядом с озером. Мы взяли с собой из дома вареной картошки, вареных

С сестрой, матерью, теткой и племянниками Сергеем и Валентиной. Уваровичи. 1967 г.
(Из личного фотоархива семьи Моисеенко.)

яиц, хлеба и привезенные им из Ленинграда плоскую баночку дефицитных сардин и маленькую плоскую бутылочку армянского коньяка. Погода была тихая, солнечная. Мы гуляли, собирали сыроежки. Наступило время обеда, мы накрыли поляну. Запах столичных сардин и коньяка остался в моей памяти на всю жизнь. Мне было 12 лет, поэтому я попробовал только сардины.

В семидесятых годах у нас в Уваровичах в центре поселка была летняя танцплощадка с эстрадой за металлической оградой — «клетка». Наша хата стояла на окраине, в километре от центра — ближе к полю. Летними тихими вечерами громкая музыка дискотеки была слышна на весь поселок. Часто звучала популярная песня Ю. Антонова «Для меня нет тебя прекрасней». Е. Е. было интересно, как выглядит эта дискотека вблизи. По темноте, часов в десять вечера, мы с ним пошли в центр посмотреть на дискотеку. Подошли очень близко. В «клетке» негде было яблоку упасть. Молодежь танцевала, многие были под хмельком. Е. Е. обронил: «Мне кажется, много пьяных». Я сказал, что так всегда. Ему это очень не понравилось, и мы быстро ушли.

Перед вступительным экзаменом по живописи Е. Е. поставил у себя в мастерской на Суворовском натюрморт и предложил мне его написать акварелью. Мне нужна была бумага для палитры. Рядом на столе лежала стопка листов с легкими линейными карандашными набросками Е. Е. По своему недомыслию я посчитал, что могу использовать лист-другой в качестве палитры. Когда Е. Е. поднялся посмотреть, как у меня дела, и увидел испачканные эскизы, он был очень раздражен моей легкомысленностью. Тогда я понял, что у него в мастерской нет ни листочка, который валялся бы просто так. Везде был идеальный порядок, и все было подчинено делу.

Лето 1976 года. Мы гостим у Е. Е. с сестрой и тетей Мотей. В Питере белые ночи. Как-то после позднего ужина часов 10 вечера Е. Е. предложил мне прогуляться с ним перед сном. Мы прошли через двор Смольного монастыря к Неве, к Охтинскому мосту. Машин уже практически не было — пустые улицы. С набережной открывался потрясающий вид на мост и город. В этот момент по мосту

У родного дома. 1967 г.

на платформе большого грузовика провозили новый, искореженный в аварии «жигуленок» ярко-синего цвета. Я очень живо на это отреагировал и старался привлечь к этому и его внимание. Его эта сцена не только не заинтересовала, а скорее раздражала. Вокруг была такая красота, а я выхватил из этого пейзажа самую негативную картину. Я понял, что именно об этом подумал тогда Е. Е.

Во время моей учебы на втором курсе мы с ним как-то встретились в коридоре Академии, и он предложил мне приехать к нему на Суворовский — показать свои учебные рисунки. На архитектурном факультете моду на технику рисования задавали СХШатики (выпускники Ленинградской средней художественной школы при Академии художеств). Тон в рисунке они набирали техникой перекрестного штриха, так называемой «сеточкой». Мне казалось, что это была очень красивая и единственно возможная техника штрихования. Е. Е. посмотрел мои рисунки и сказал: «А что это за гнусная сеточка, ересь какая-то, черт подери!» Я был растерян. Как теперь рисовать? Все мои студенческие ориентиры и авторитеты были разрушены! Я поехал работать дальше и осмысливать его слова.

Однажды во время учебы я зашел в мастерскую Е. Е., расположенную в академическом дворике. Во время нашего разговора в мастерскую вошел молодой человек. Он попросил Е. Е. посмотреть и оценить его живописные работы. Расставил 8—10 холстов вдоль стены на полу. Мне работы понравились, но что-то меня в них смущало. «Вы знаете что-нибудь о тепло-холодности?» — спросил Е. Е. И действительно, все работы были написаны в желто-коричневой гамме, независимо от сюжета. Это было быстрое и точное попадание в проблему. Я удивился, как он молниеносно выявил главный недостаток в творчестве молодого художника.

Очень запомнился один эпизод. Как-то я без предварительного звонка приехал к Е. Е. на Суворовский. Дверь в квартиру не была заперта. Я прошел в гостиную и окликнул: «Есть кто дома?» Ко мне быстро спустился по лестнице из мастерской Е. Е., совершенно не такой, каким я его всегда видел. Он был сам не свой, как «контуженный», простите за жесткое слово. Казалось, что он меня не видит и не слышит. Каким-то несвойственным ему голосом он сказал: «Суп будешь?» Я ответил — да. Он налил по тарелке супа, и мы сели за стол. Пока мы ели, я видел, как он выходил из этого состояния, как будто отходил от наркоза, возвращался в реальность. Видимо, мой внезапный визит прервал его напряженную творческую работу. Я понял тогда его слова, которые он произносил не один раз: «Искусство требует тебя всего».

В 1977 году мне опять посчастливилось оказаться в мастерской Е. Е. на Суворовском. В мастерской было светло. Передо мной стояла на мольберте работа «Мальчики. Купание лошадей» — огромный холст, примерно 1,5х2м на стадии

рисунка углем. Мне было 17 лет, за плечами не имелось никакого художественного образования. Я глянул и замер от восторга! Долго стоял с открытым ртом. В этих линиях была такая точность, решительность, уверенность, сила, энергия! Мне посчастливилось увидеть промежуточную стадию работы. Я почувствовал почерк большого мастера!

В 1974 году Е. Е. был удостоен Ленинской премии. В 1975 году о нем был снят фильм «Монолог художника». Большая часть фильма снималась на малой родине художника в п. Уваровичи. Е. Е. о предстоящих съемках нас не предупредил, т. к. телефона ни у нас, ни у соседей не было. В то время в деревне телефон был большой роскошью.

Снимали в августе. Съемки длились три дня. Было солнечно. С погодой киношникам повезло, т. к. съемки были в основном на улице. В один из дней к нашей хате подъехало несколько автомобилей. На нашей Комсомольской улице автомобиль был редкостью, ездили только крестьяне на лошадях с телегой. Тетя и мама были удивлены, если не сказать напуганы такой картиной. Тетка даже буркнула: «Маня, можа, банда якая?« Во двор зашли человек пять, среди них одна женщина. Представились: «Документалисты с Ленфильма, будем снимать фильм о Е. Е.». Самым главным среди них был режиссер Семен Аранович. Он мне запомнился темной пышной шевелюрой, темными усами, черной рубашкой, смуглым лицом.

Первый день был ознакомительный, они ходили по саду, огороду, зашли в хату, прошлись по улице, по окрестностям. Я лазил по деревьям и срывал для них яблоки, груши — угощал. Тетя и мама приготовили обед, накормили гостей. Очень запомнилось, что все, включая женщину-оператора, все время курили. В то время были популярны болгарские сигареты «Родопи». Все пятеро курили именно их. Окурки бросали на землю. К концу съемок наши двор, сад и огород были усеяны окурками. Вечером киношники уезжали в Гомель, где ночевали в гостинице, а утром приезжали на день снимать.

На второй день съемок Е. Е. еще не приехал из Ленинграда (его участие планировалось на третий съемочный день). Снимали нашу хату, улицу, бабушку, тетку, маму, нас с сестрой, соседей. Лавочки на нашем курчаке все три дня были заполнены зрителями. Соседи побросали на время свои огороды, хозяйство и внимательно контролировали все, что происходило в районе нашего двора. После съемок мне даже пришлось поправлять забор, т. к. три дня на нем, как воробьи, сидели соседские дети.

На третий день утром слышу с улицы крик моего друга: «Едут!» Я выскочил и увидел, как к нашим воротам подъезжают три одинаковых светло-зеленых автомобиля «Волга » ГАЗ 24 такси. Такой картины в деревне никогда не видели! Это было как в кино! Счастью не было предела! А когда вместе с киношниками появился Е. Е., мы чуть не заплакали! Кульминацией последнего дня съемок стало застолье в нашей хате, которое очень колоритно показано в фильме.

Основной объем работы группой был выполнен, поэтому после съемок они присоединились к нашему застолью. Было шумно, очень душевно. Эта сцена сильно врезалась в память. Под вечер все встали из-за стола, быстро собрали аппаратуру, сели в машины и уехали. Как будто ничего и не было... Опять гробовая деревенская тишина... Спустя время фильм «Монолог художника» показали сельчанам в нашем Уваровичском Доме культуры. Мы с сестрой были в восторге, что стали героями кино.

После смерти матери (1982 г.) Е. Е. в Уваровичи больше не приезжал. Она похоронена на старом кладбище рядом с мужем Изотом в пределах одной ограды. Матрена Сергеевна умерла в возрасте 86 лет. Столько же прожила моя мама, которая умерла в июне 2015 года. Бабушка и мама — долгожительницы в нашем роду.

У бабушки были очень серьезно больны ноги. С раннего детства я ее запомнил передвигающейся с трудом, при помощи палочки. Именно поэтому она ни

разу не приезжала в Ленинград в гости к сыновьям. Она даже в церковь в поселке не могла сходить, хотя была верующей. Изот Прокофьевич был очень культурным, образованным и трудолюбивым человеком. Он работал в колхозе главным бухгалтером и обеспечивал семью. Свою мать Е. Е. очень правдиво изобразил в одной из своих работ: в профиль, опершуюся на палочку, в жилетке, на фоне вербы. По дому она тоже не могла полноценно работать. Хорошо, что все мы жили вместе, мама и тетка выполняли домашнюю работу. У бабушки не было любимых и нелюбимых детей — она всех очень любила. В последние годы к больным ногам прибавилась еще одна проблема со здоровьем. С какой-то периодичностью появлялись отечность на лице и отдышка. В уваровичской больнице ей поставили диагноз и прописали лекарство. Купить его у нас было невозможно, так как оно было импортным и, как позже выяснилось, дорогим. Е. Е. покупал его в Ленинграде и маленькой бандеролью высылал бабушке. К счастью, оно ей очень помогало. Тетка в письмах Евсею Евсеевичу всегда благодарила его за это. Так было последние лет 10 ее жизни.

Все посылки, денежные переводы, письма были адресованы на имя матери Е. Е., Матрены Сергеевны. К слову, денежные переводы были всегда на большие суммы — 200—300 рублей, в то время как мама, работая в швейном цеху, получала 100—120 рублей, а тетка, работая поваром, — и того меньше. У бабушки из-за болезни был небольшой стаж работы, и ее пенсия была совсем маленькой.

Матрена Сергеевна была очень искренне предана своей семье, своему роду, всех очень любила, за всех переживала, молилась. Она объединяла нашу семью. Повторюсь, я ее очень любил. Я был ребенком, но очень остро помню это чувство.

Сказать, что Е. Е. проводил со своей матерью особенно много времени, я не могу. Скорее, приезжая в Уваровичи, он получал удовольствие от всего: от того, что на родине, от того, что в деревне, от того, что с матерью, с сестрами, с племянниками, с соседями... со своим детством. Я помню, как на лавочке в тени Е. Е. с матерью проводили время, о чем-то беседуя.

Бабушка была малограмотной деревенской женщиной, но часто малограмотность и деревенскость легко уживаются с мудростью в одном человеке. Я жил в деревне 20 лет и не раз в этом убеждался. Кто-то удивится: как могла малообразованная деревенская женщина родить такого большого художника? Где логика? Не все подвластно человеческой логике, и это неплохо, значит, не все так просто.

Бабушка, тетя и мама были людьми религиозными. В праздники тетя и мама ходили в церковь, а бабушка по болезни не могла. В семье никогда не кричали, не ругались, не сквернословили. Я вырос без отца, но эту пустоту судьба заполнила семейной духовностью, некой тишиной, в которой мне было хорошо. Я не жалею, что родился в деревне «на земле», а не в городе «на асфальте». В конце нашей деревенской улицы начинается бесконечное, до горизонта поле. Это же поле видел в своем детстве Е. Е. Я узнаю наше поле в его пейзажах, в его картинах.

Мои воспоминания о Е. Е. такие же светлые и теплые, как те солнечные летние дни, проведенные с ним в детстве в Уваровичах.

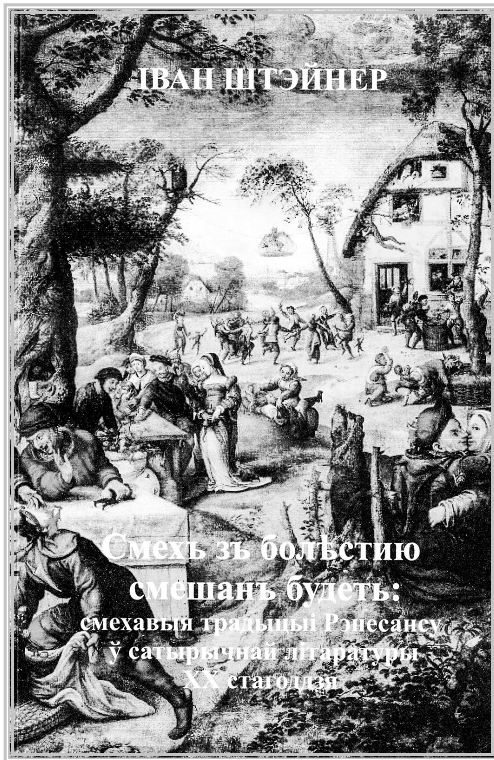
Он говорил: «Все мы родом из детства». Это правда. Самые яркие мои воспоминания о нем именно из детства, даже не из моего прекрасного студенчества.

Эти воспоминания придают сил, творческой энергии, наполняют светом и счастьем. Я благодарен, что судьба дала мне возможность соприкасаться с этим простым и великим человеком.

Публикация Надежды УСОВОЙ.

С точки зрения рецензента

Возвращение к забытым традициям литературоведения



Современное литературоведение в последние годы переживает далеко не лучшие времена. Такое положение дел, как правило, объясняется объективными причинами, главной из которых является экономический фактор. О субъективных же причинах, напрямую связанных с деятельностью самих исследователей литературы, деликатно принято умалчивать. Все это приводит к тому, что современные монографии, переполненные модными словами школ западного литературоведения, в большинстве случаев становятся китайской грамотой не только для обычного читателя, но и для представителей академической науки. Складывается впечатление, что критика, словно забыв о своем основном предназначении — оценивать и истолковывать литературные произведения, выступая посредником между автором и читателем, — делает все, чтобы отпугнуть любителя изящной словесности от книги. Шаблонная фраза «книга рассчитана на широкий круг читателей», завершающая аннотацию едва ли не каждой монографии, воспринимается сейчас не иначе как горькая ирония исследователя над тем, кто рискнул заняться изучением литературы. Глотком свежего воздуха для современного читателя стала монография доктора филологических наук, профессора, члена-корреспондента Международной академии Евразии Ивана Федоровича Штейнера «Смехъ зъ болѣстию смешанъ будеть: смехавыя традыцыі Рэнесансу ў сатырычнай літаратуры XX стагоддзя» (М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. — Гомель: ГДУ імя. Ф. Скарыны, 2017. — 141 с.), выход которой в свет можно по праву назвать знаковым событием для национального литературоведения в ушедшем 2017 году.

В последние годы исследовательские предпочтения И. Ф. Штейнера претерпели существенные изменения. Если ранее предметом всестороннего осмысления автора были «знакавыя постаці нацыянальнай паэзіі і прозы» (В. Короткевич, А. Рязанов и др.), то на новом витке научной деятельности его привлекает антропологический аспект тематики произведений белорусской

литературы. Вышедшая в свет монография И. Ф. Штейнера стала логическим продолжением его предшествующего литературоведческого опыта, посвященного осмыслению одной из вечных тем мировой литературы — темы голода: «Валадар над усім: канцэпт голаду ў беларускай і сусветнай літаратуры» (2016 г.). Новая исследовательская манера Ивана Федоровича привела к закономерному изменению композиционного построения его работ. Литературоведческим эссе, лишь пунктирно связанным между собой в рамках книги, на смену приходят монографии, каждый раздел которых подчинен и объединен общим замыслом.

В центре внимания новой работы И. Ф. Штейнера — белорусская сатирическая литература XX века. Основные тенденции ее развития автор анализирует, опираясь на наиболее показательный в этом плане художественный материал — пьесу «Тутэйшыя» Я. Купалы, роман А. Мрыя «Запіскі Самсона Самасуя», повесть Л. Савёнка «Запіскі эмігранта, альбо Дзённік Ів. Ів. Чужанінава», «Сказ пра Лысую гару» Н. Гилевича, «Бацька ў калаўроце» Р. Семашкевича, «Не плач, душа мая» В. Дубинки, «Прыгоды Рабунькі» и «Дзённікі Рабунькі» А. Наварича. Примечательно, что практически все эти произведения, за исключением двух первых, фактически обойдены вниманием в отечественном литературоведении. Следуя поставленной перед собой задаче — исследовать смеховые традиции Ренессанса в национальной литературе XX века, — И. Ф. Штейнер, мастерски используя лучшие достижения современной компаративистики, подкрепляет свои выводы примерами из текстов классиков зарубежной литературы (Э. Роттердамский, Ф. Рабле, Т. Мор, Вольтер и др.). Профессиональное обнаружение общих тенденций, аналогий и сопоставлений позволяет читателю взглянуть по-новому на анализируемые в монографии произведения и в конечном итоге ощутить национальную самобытность белорусского смеха.

Любая попытка изучить экзистенциальную природу смеха в литературе заведомо представляет собой рискованный исследовательский эксперимент. Ведь не случайно бесследно пропал второй том Аристотеля, в котором содержались авторские размышления о смехе. Смех как одно из архетипических начал человеческого бытия носит загадочный и еще далеко непознанный характер. Амбивалентная природа смеха, позволяющая ему с уникальной способностью проявляться в жизни человека как в виде неосознанной реакции на тот или иной раздражитель, так и в качестве оружия сознательной критики противоречий действительности, ставит исследователя перед трудноразрешимой проблемой, суть которой лаконично была сформулирована И. Ф. Штейнером следующим образом: «Мае смех сацыяльныя і нацыянальныя адрозненні, ці ён універсальны?»

Вывод И. Ф. Штейнера о том, что экзистенциальная природа смеха в искусстве неизменна, но специфика духовной эволюции конкретной нации придает универсальному смеху неповторимые черты, которые невозможно объяснить единой теорией, не может вызвать сомнения даже у самого придирчивого читателя: «Можна гаварыць аб балюча-надзённых праблемах сучаснасці і разам з тым праз асвятленне прыватнага і адзінкавага, выпадковага і часовага вылучыць пастаяннае, заканамернае, што дазваляе паказаць партрэт усяго чалавецтва». Тем самым концепция автора демонстирирует существенную точку соприкосновения с классическим литературоведческим подходом, предложенным в свое время Д. Лихачевым: «Сущность смешного остается во все века одинаковой, однако преобладание тех или иных черт в «смеховой культуре» позволяет различать в смехе национальные черты и черты эпохи».

Исторический экскурс, представляющий собой детальную проработку размышлений над заявленной дилеммой церковных и светских мыслителей различных эпох и культур (Соломон, ап. Павел, Платон, М. Монтень и др.), становится предостережением от видимой простоты в понима-

нии этого вопроса, позволяет читателю осознать актуальность, сложность и масштабность поднятых в монографии вопросов, задуматься вслед за автором над целой чередой закономерно возникающих вопросов: «Што такое смех, якім з усіх жывых на Зямлі Бог надзяліў толькі чалавека? Чаму смех заўсёды са слязьмі звязаны? Навошта “пры смеху баліць сэрца, а канцом радасці бывае смутак” (Саламон)?»

«Христос никогда не смеялся». Монография И. Ф. Штейнера не случайно открывается этой наполненной глубоким смыслом строкой, волновавшей умы не одного поколения людей, начиная со святителя Иоанна Златоуста. В отличие от В. Розанова, превратившего ее в главный аргумент выражения своей ненависти к Н. Гоголю, а заодно и возможность поколебать нравственный авторитет самого Сына Божьего, И. Ф. Штейнер, отталкиваясь от этой мысли, демонстрирует необходимость рассмотрения концепта смеха диалектически. Показательные примеры из Священного Писания, приведенные исследователем на первых страницах монографии (например, «Блажени плачущие ныне, яко возсмеетеся» (Лк. 6:21)), позволяют ему продемонстрировать читателю коренную взаимосвязь, существующую между смехом и плачем, о чем красноречиво свидетельствуют слова великого просветителя и первопечатника Ф. Скорины, заботливо вынесенные автором в заглавие своей работы: «Смехъ зъ болѣстию смешанъ будеть». На основании этого вывода И. Ф. Штейнер предлагает рассматривать два вида смеха в национальной традиции — светлый, облагораживающий, очищающий душу человека, и светский, насмешливый, «несущий людям радость».

В течение многих лет безусловным ориентиром для литературоведов, обратившихся к изучению проблемы смеха в восточнославянской литературной традиции, являлась работа «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» М. Бахтина и коллективное исследование Д. Лихачева, А. Панченко и Н. Понырко «Смех в Древней Руси». Несомненным достоинством монографии И. Ф. Штейнера является тот факт, что ее автор не стремится механически перенести наработки известных предшественников на белорусскую почву. Отталкиваясь от уже имеющихся в науке выводов, подчас полемизируя с ними, Иван Федорович создает новаторскую, оригинальную концепцию возникновения и развития смехового начала в национальной литературе.

Уже в первом разделе монографии автор формулирует основную гипотезу работы: «З пункту гледжання канцэпту смеху беларуская літаратура — самая хрысціянская ў свеце, бо яна ўяўляецца суцэльным плачам». В ходе обоснования эта гипотеза принимает вид четко выстроенной и основательно обоснованной концепции. При этом И. Ф. Штейнер не ограничивается теоретическими размышлениями конкретных авторов анализируемых текстов о смехе как одной из констант человеческого бытия. Исследователь показывает место этого концепта в менталитете народа, в самом строении национальной культуры.

Дальнейшее внимание И. Ф. Штейнер сосредотачивает на поиске тех общественно-политических и культурных причин, которые привели к возрождению смехового начала в национальной литературе прошлого века, обстоятельно рассуждая о том, что подтолкнуло многих писателей того времени вновь обратиться к классической европейской сатирической традиции. В этой связи нельзя не приветствовать детальный анализ избранных автором текстов белорусской литературы в последующих разделах монографии. Широкий фактический материал позволяет Ивану Федоровичу достаточно убедительно продемонстрировать, что новый виток интереса к смеховому началу был обусловлен переломным характером самой эпохи, когда разрушение традиционных способов хозяйствования и управления привело к кардинальным изменениям в сознании общества и морали чело-

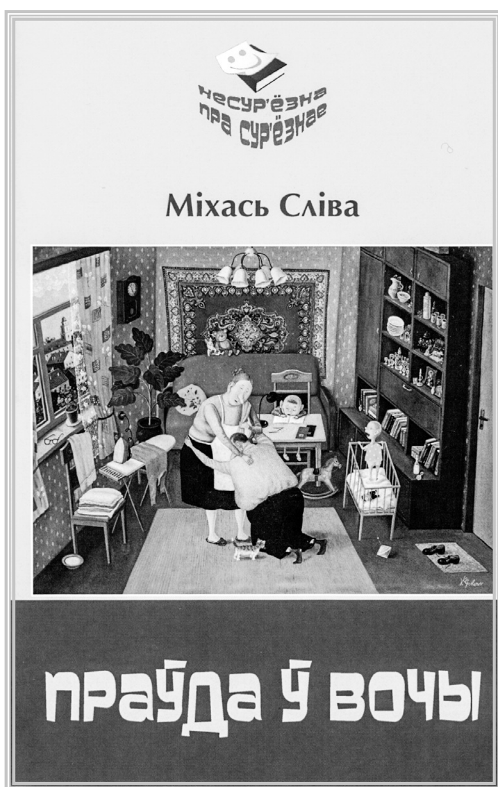
века. При этом читатель, который уже изрядно устал от традиционного в рамках монографий рассмотрения отдельного художественного произведения как завершенного фрагмента-главы, приятно удивится избранному И. Ф. Штейнером способу расположения материала: «Як і кожная сапраўдная Багіня, Дурасць мае шэраг уласных весталак, сярод якіх у першую чаргу згадваюцца **Філаўтыя** (Самалюбства), **Калавія** (Лёстка, Падхалімства), **Місапопія** (Ляноцтва), **Гедонэ** (Насалода), **Трыфэ** (Абжорства), **Анойя** (Вар'яцтва)». Именно эти «адданыя служкі» станут главными героями последующих разделов монографии, открывая новые грани в характерах действующих лиц произведений белорусских писателей. В результате при прочтении исследования И. Ф. Штейнера возникает целостная картина развития национальной сатирической литературы XX века, которая страница за страницей выстраивается в сознании читателя из хаотичных, на первый взгляд, фрагментов квалифицированного и изощренного анализа текстов.

Рассуждать о сложных вещах предельно просто и доступно — так можно охарактеризовать творческую манеру И. Ф. Штейнера. Свободное владение материалом, эрудированность и начитанность позволяют исследователю создавать многоуровневый текст, в подлинном смысле этого слова рассчитанный на широкий круг читателей. В этом убеждаешься воочию во время презентаций монографий И. Ф. Штейнера, которые традиционно проходят в стенах УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины». В ходе обсуждения работ автора своими мыслями и впечатлениями от прочитанного делятся как гуманитарии, так и, казалось бы, поглощенные своими собственными научными интересами представители технических и медицинских наук. Возрождая уже почти забытые к началу XXI века традиции литературоведения для всех, ярким олицетворением которых в свое время были, например, такие работы, как «Алхимия слова» Я. Парандовского и «Займальная літаратура» О. Лойко, Иван Федорович не только способствует повышению уровня престижа печатного научного слова в стране, но и обозначает ориентиры, на которые должны опираться новые поколения исследователей.

Александр БЕРЕЗКО

С точки зрения рецензента

Юмор и сатира: талантливо



Одно из оригинальных детищ Лилианы Анцух уверенно находит все новых и новых друзей. Имею в виду серию «Несур'ёзна пра сур'ёзнае», выходящую в издательстве «Четыре четверти». Друзья же эти — как сами писатели, охотно предлагающие свои произведения для этой оригинальной библиотечки юмора и сатиры, так и читатели, которые, познакомившись с очередной книгой, все более убеждаются в том, что белорусы смешить и смеяться умеют. Еще одно подтверждение тому — только что вышедший сборник юмора и сатиры Михася Сливы «Праўда ў вочы». Кажется, четырнадцатый в этой серии. И давно не первый у самого М. Сливы. Впрочем, важно не само это обстоятельство. И не то, что, как знает читатель просвещенный, литератор, живущий в Рогачеве, успешно соревнуется в мастерстве с известным украинским писателем Остапом Вишней. Белорусский автор и выбрал себе именно такой литературный псевдоним: мол, у вас есть Вишня, а у нас будет Слива.

Главное то, что М. Слива — очень талантливый юморист и сатирик. Он замечает как некоторые человеческие слабости, так и различные недостатки, встречающиеся в нашей жизни, и дает им такую точную оценку, что хочешь — смейся, хочешь — плач.

Об этом свидетельствуют рассказы представленные в разделе «Рабы кахання», в который вошла и юмореска, давшая название книге. Она посвоему поучительна, ибо сюжет ее взят, что говорится, из самой повседневной жизни. В любом коллективе есть немало желающих осудить поведение некоторых сослуживцев. Зачастую их упрекают в том, что они — несмелые, боятся, где нужно, сказать человеку, что называется, правду-матку в глаза. Так воспринимает коллектив и своего коллегу экономиста Семенова: он не возмущается грубостью директора, для всех хочет оставаться добрым. А принципы-то где? «Усю гэтую размову чуў сам эканаміст, бо яго кабінет быў побач, а гукаізаляцыя дрэнная». Прошло немного времени, и он через день-другой сделал выводы. Сначала «перепало» бухгалтеру. Потом Семенов «у размове з сакратаркай у прысутнасці

начальніка аддзела кадраў выказаў» претензии директору. Договорился до того, что тот «яшчэ большы лайдак, чым менеджар Ганна Патапаўна». Вся «соль» юморески, как и следовало ожидать, в ее завершении: «А неўзабаве начальнік аддзела кадраў Рамізін зайшоў у кабінет эканаміста і паведаміў, што праз месяц з ім заканчваецца кантракт. Але ўжо вядома рашэнне дырэктара, што на новы тэрмін ён падпісаны не будзе...» Такие юморески, как «Рэцэпт для пахудання», «Год каня», «Нос-вяшчун», «Так вось і жывём», «Рабы кахання» и другие, привлекают умением М. Сливы анализировать такие жизненные ситуации, когда, казалось бы, нечто новое о них сказать уже трудно, поскольку к подобным ситуациям обращались и другие авторы. Однако «трудно» — не значит, что нельзя. Мастерство всегда способно сделать невозможное. Говоря «несур’ёзна пра сур’ёзнае», писатель следует принципу, согласно которому, в литературе всегда можно сказать свое слово. Да и как же иначе, если «Кругом людзі, людзі, людзі…». Пусть себе и с некоторыми недостатками.

Незаметно я перешел к другому разделу, который так и называется: «Кругом людзі, людзі, людзі…». В нем в основном представлены произведения в форме небольших диалогов. Или даже монологов. Однако краткость, как говорится, сестра таланта. В разделе немало впечатляющих юморесок, зарисовок, как, например, эта — «Старажыл» (название самим автором произведения взято в кавычки). Думаю, что нелишним будет привести ее полностью:

«Карэспандэнт прыехаў у вёску, дзе людзі жылі па восемдзесят-дзевяноста і больш гадоў. Сустракае старэнькага зморшчанага дзядка. Той на добрым падпітку, з цыгаркай у зубах, рукі калоцяцца. Карэспандэнт звяртаецца да яго:

— Прабачце, але ж у вашым узросце курыць шкодна!

— Курыў, куру і буду курыць! — адказвае мужчына.

— І піць таксама нельга! — даводзіць карэспандэнт.

— Піў, п’ю і буду піць!

— Можа, яшчэ і жанчынамі цікавіцеся?

— Жанчыны ў мяне былі, ёсць і будуць! — упэўнена адказвае вясковец.

— Цікава, колькі ж вам гадоў?

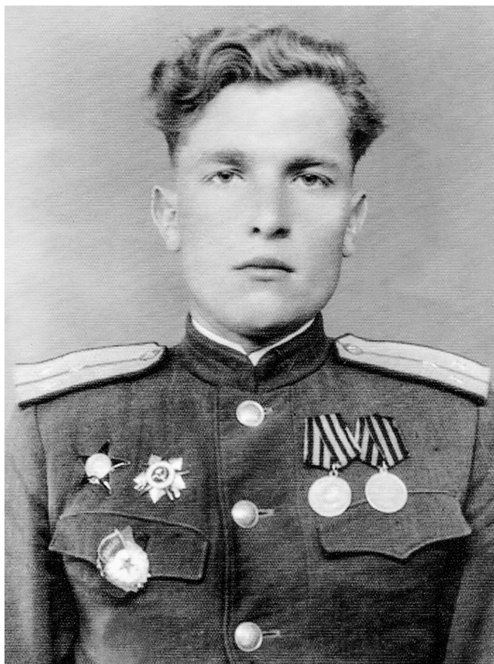
— Учора споўнілася трыццаць пяць».

Думаем, даже уже одной этой юморески достаточно, чтобы взяться за чтение новой книги Михася Сливы. А если учесть, что оригинальных, мастерски написанных произведений в ней большинство, то тем паче она заслуживает внимания.

Глеб ВАНКЕВИЧ

Память

На пути к подвигу



Крашенинников Павел Федорович. 1945 г.

На Российском военно-историческом сайте зафиксировано несколько подвигов моего отца Крашенинникова Павла Федоровича, 1924 г.р., призванного в РККА (на войну) в сентябре 1942 г. с оборонного предприятия добровольцем, к восемнадцати годам успевшего окончить Саранское пехотно-пулеметное училище и отправленного на фронт командиром взвода ПТР (этим орудием стреляли в основном по танкам). Среди всех его боевых действий, означенных как подвиг, связанных, в первую очередь, с операцией «Багратион» по освобождению одиннадцати белорусских городов, настало время остановиться на боях на территории Земландского полуострова в Восточной Пруссии, на подступах к Кенигсбергу, в самом логове фашистского зверя, за что он был награжден орденом Красной Звезды.

Зимой 1945 года Третьим Белорусским фронтом был захвачен плацдарм Восточной Пруссии в русле реки Шешупе, где находились неприступные оборонительные сооружения (доты и дзоты) противника. Невдалеке располагался городок Пилькаймен, прикрывающий прямую дорогу на Кенигсберг. В наступление шли ночными атаками — ордена Александра Невского 490-й Минский полк Краснознаменной стрелковой 192-й Оршанской дивизии. Немцы располагались на высоком западном берегу реки Даймы, а наши — на восточном, низком, более подверженном обстрелу. По всему было видно, что для многих предстоящий бой, возможно, станет последним. Молчаливая решительность охватила бойцов.

— Вот она — земля немецкая! Еще недавно фашист топтал нашу землю, творил расправу на захваченной территории, а теперь мы очистили нашу страну от фашистского зверя и прорвались в самое его логово, — рассуждал, теребя непослушный вихор, боевой друг Павла Борис, такой же молодой взводный.

— Да, зрели на этой окаянной земле злодейские планы Вермахта покорения стран и народов. Кенигсберг — это значит, самое высшее, что есть у немцев, оплот вождей, военная столица. Костьми ляжем, а возьмем этот неприступный город, — отвечал ему Павел, старательно заводя наручные часы, подарок погибшего от ран командира в госпитале, еще после первого ранения.

— Стереть бы это фашистское логово вообще с лица земли, чтоб и пылинки от него не осталось! — не унимался Борис.

— Нет, командованием решено его

На переформировании. Павел в центре сверху, в кубанке.

освободить от фашистской нечисти и преобразовать в мирный город. Жители там, старинный университет и могила великого философа Канта, — Павел надел на руку заведенные часы и деловито поправил планшет с картами.

При сильном тумане 13 января наши войска получили приказ командования о наступлении на городок Пилькаймен, город-крепость, защищающий подступы к Кенигсбергу. Первая атака Минского полка, однако, успехом не увенчалась, и поэтому в поддержку в наступление были брошены штрафники. Немцы стояли стеной. Ярость обеих сторон перехлестнула через край, завязался страшный рукопашный бой.

Старший лейтенант Крашенинников со своим взводом приняли на себя самую крупную траншею немецкого подразделения. Азарт рукопашного боя охватил бойцов. И уже сражение подходило к концу, когда сильный удар прикладом обрушился на голову взводного. Павел упал и повторным ударом был бы наверняка добит, если бы верный солдат-богатырь Боровский не упредил и успел заколоть фашиста. Взвод выбил противника из траншеи, взял семерых пленных. Вскоре начальник штаба капитан Костарев их допросил. Все пленные оказались рядовыми вспомогательных служб, санитарами, поварами. Опытные солдаты противника все как один полегли в сражении.

Взятием города бои не завершились. Предстояло провести штурм оборонных заводов, которые мощной цитаделью предстали перед взором наступавших.

Не одну ночь по заданию командования старший лейтенант Крашенинников делал вылазки, и, занимая секретную позицию, тщательно составлял схему-карту построек военного объекта, что впоследствии явилось важным фактором успеха в бою. По сведениям разведки, территорию завода охраняли 300 автоматчиков. Наш батальон спешно подтягивал свои огневые средства, в том числе две самоходки.

Амбразуры с огневыми точками противника обрушили шквал огня на вырвавшийся вперед Минский полк вперемежку со штрафниками. Взвод лейтенанта Крашенинникова первым ворвался в подвалы и помещения нижних этажей завода, приняв на себя самый мощный удар. Не ожидая такой стремительности и прекрасной ориентации в пространстве, немцы были шокированы и стали массово сдаваться в плен. Однако враг вскоре пришел в себя и попытался оказать сопротивление, но подошедшие наши самоходки завершили успех операции.

Капитан Костарев на этот раз выстроил взятых в плен 72 человека в две шеренги.

— Хайль Гитлер? — задал он им вопрос.

— Гитлер капут! — прозвучал единый ответ, и чуть позже лишь один кто-то выкрикнул сорванным голосом:

— Хайль!

— Веди его, Осядко, в штаб, похоже, офицер, наконец, попался, — распорядился командир.

Молодого командира взвода стрелкового полка Павла Крашенинникова долго еще пошатывало от полученного им удара прикладом в рукопашной, но в медсанбат он не обращался, так же как и многие «помятые» в том бою.

Воодушевленные внушительным успехом, части нашей армии продвигались вперед, когда 18 февраля пришла печальная весть о гибели командующего Третьим Белорусским фронтом генерала армии Черняховского у городка Мельзак на подступах к Кенигсбергу. С горечью бойцы почтили память любимого полководца.

Готовился грандиозный штурм «звериного логова». Командовал этой операцией Маршал Советского Союза Василевский.

Наш взвод в составе Минского полка 192-й дивизии вел упорные бои уже в пригороде, районе Метгетен, где находились знаменитые подземные оборонные заводы, четыре дня переходившие из рук в руки. Особо кровопролитные бои шли в районе станции Повайнен, где располагалось предместье Зейрапен.

Тяжело ранило командира батальона капитана Солдаткина. Истекающий кровью командир передал командование старшему лейтенанту Крашенинникову. Довести до конца и завершить этот бой успешно пришлось уже Павлу. И вот новый комбат вскоре докладывал итоги боевых действий и состояние личного состава: сколько «красных», то есть раненых, сколько «черных», убитых, сам уже будучи «красным».

Пошатываясь, не стирая с лица кровь, по колено в воде, с трудом шли те, кто выдержал этот бой и сломил противника. Навстречу им спешила свежая подмога. Последнее, что сказал, теряя сознание, Павел спешившему навстречу своему другу: «Борис, сверни мне закурить…»

Павел с часами, подарком командира.

В бою между Зейрапеном и станцией Повайнен при штурме Кенигсберга 15 апреля 1945 года гвардии старший лейтенант Павел Крашенинников получил тяжелое двойное ранение — в голову и предплечье. И один из осколков, попавших в голову, извлечен был только в 2000 году! Раненого комбата доставили в штаб и немедленно отправили в госпиталь, где, находясь на излечении, он и встретил Победу. Борис с Боровским посещали его, и после войны их дружба продолжалась.

За участие в этой операции отец был награжден орденом Красной Звезды и медалью «За взятие Кенигсберга».

Прожил Павел Федорович большую и нелегкую жизнь и никогда не пасовал перед трудностями, имея военную закалку. Он свято пронес память о войне и передал эстафетой свои боевые награды, дневники, стихи и записи детям и внукам. Умер отец в январе 2016 года на девяносто втором году жизни. Все, кто знал Павла Федоровича, могут отметить его небезучастность к людям, стремление поддержать в трудную минуту, особый такт, дружелюбие и душевность общения.

Светлана КРЯЖЕВА

ТРАХИМЁНОК Сергей Александрович. Родился в 1950 г. в г. Карасук Новосибирской области. Окончил Свердловский юридический институт. Доктор юридических наук. Член союзов писателей России и Беларуси. Автор многих книг прозы, сценариев кино- и видеофильмов. Живет в Минске.

КАРИЗНА Владимир Иванович. Родился в 1938 г. в д. Закружка Минского района. Окончил Белорусский государственный университет. Поэт, переводчик. Автор многих книг поэзии и сборников песен, а также текста Государственного Гимна Республики Беларусь. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь и Премии профсоюзов Беларуси. Живет в Минске.

ИВАНОВ Максим Сергеевич. Родился в 1976 г. в Минске. Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета. Работает в Белтелерадиокомпании. Печатался в республиканских периодических изданиях. Живет в Минске.

ЧАРКАЗЯН Ганад Бадриевич. Родился в 1946 г. в Армении. Окончил Белорусский политехнический институт. Поэт, прозаик, переводчик. Пишет на курдском и армянском языках. Автор книг поэзии и прозы «Прочность», «Цвет доброты», «Пространство и время», «Тоска по дому», «Опередить смерть» и др. Живет в Минске.

ВАШКЕВИЧ Эльвира Викторовна. Родилась в 1967 г. в Минске. Окончила Минский радиотехнический институт. Автор более двадцати книг для детей и взрослых, среди которых «Королева Квамоса», «Волчья схватка», «Белая нить», «Дорога к Серебряным Водопадам», «Приключения плюшевого медвежонка» и др. Живет в Минске.

СТАНКЕВИЧ Роза. Родилась в г. Карлово (Болгария). Окончила Софийский университет имени святого Климента Охридского. Литературовед, поэт. Печаталась в журналах «Всемирная литература», «Нёман», «Роднае слова», автор книг «Краткостишия», «Опити за хайку», «Беларусь – судьба моя» и др. Живет в г. Карлово (Болгария).

Джо АЛЕКС (Сломчинский Мацей). Родился в 1920 г. в Варшаве (Польша). Польский писатель, переводчик и драматург. Автор псевдоангло-саксонских детективов и милицейских повестей, среди которых «Я третий нанесла удар», «Лабиринты смерти», «Пусть найдут своих врагов», «Черные корабли», «Серая тень» и др. Кавалер Ордена Возрождения Польши. Умер в 1998 году в Кракове (Польша).